Александр Дугин

Александр Дугин

Четвертая политическая теория

Россия и политические идеи XXI века

Санкт-Петербург
Амфора
2009

УДК 32.001
ББК 66.0
Д 80

Дугин А.

Д 80 Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века / Александр Дугин. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2009. — 351 с.

ISBN 978-5-367-01089-3

Книга известного лидера Евразийского движения разъясняет принципы и основания Четвертой политической теории, отвечающей на вызовы Постмодерна и приходящей на смену главным идеологиям XX века.

УДК 32.001
ББК 66.0

ISBN 978-5-367-01089-3

Предисловие
ЧЕТВЕРТАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Сегодня в мире складывается впечатление, что политика кончилась — по крайней мере та, которую мы знали. Либерализм упорно бился со своими политическими врагами, предлагавшими альтернативные рецепты, — с консерватизмом, монархизмом, традиционализмом, фашизмом, социализмом, коммунизмом — и наконец, под занавес XX в., победил всех. Логично было бы предположить, что политика станет либеральной, а все ее противники, оказавшись на периферии, начнут переосмыслять стратегии и формировать новый фронт: *периферия против центра* (Ален де Бенуа). Но в начале XXI в. всё пошло по другому сценарию.

Либерализм, всегда настаивавший на минимализации *Политического*, после своей победы решил вообще отменить политику. Возможно, чтобы не допустить формирования политической альтернативы и сделать свое правление вечным или из исчерпанности политической повестки дня в силу отсутствия врагов, которые, по Карлу Шмитту, необходимы для должного конституирования политической позиции. В любом случае либерализм повел дело к тому, чтобы свернуть политику. При этом изменился и сам он —

перейдя от уровня идей, политических программ и деклараций на уровень вещей, войдя в плоть социальной реальности, которая стала либеральной, но не политически, а бытовым, «естественным» образом. В результате такого поворота истории свою актуальность утратили все политические идеологии, которые бурно враждовали друг с другом в течение последних столетий. Консерватизм, фашизм и коммунизм, а также их побочные разновидности проиграли, а либерализм, победив, немедленно мутировал в быт, потребительство, индивидуализм, постмодернистский стиль фрагментированного субполитического бытия. Политика стала биополитикой, переместилась на индивидуальный и субиндивидуальный уровень. Получается, что сошли со сцены не только проигравшие политические идеологии, но *политика* как таковая, в том числе и либеральная. Поэтому-то пробуксовывает формирование альтернативы. Те, кто не согласен с либерализмом, оказались в сложной ситуации: победивший враг растворился и исчез; борьба идет с воздухом. Как заниматься политикой, когда политики нет?

Выход только один: отказаться от классических политических теорий — проигравших и выигравших, и напрячь воображение, схватить реальности нового глобального мира, расшифровать корректно вызовы Постмодерна и создать нечто новое — по ту сторон политических битв XIX и XX в. Такой подход есть приглашение к разработке Четвертой политической теории — по ту сторону коммунизма, фашизма и либерализма.

Чтобы подойти к разработке этой Четвертой политической теории, необходимо:

- переосмыслить политическую историю последних веков с новых позиций, за рамками привычных идеологических клише старых идеологий;

- осознать глубинную структуру возникающего на наших глазах глобального общества;
- корректно расшифровать парадигму Постмодерна;
- научиться оппонировать не политической идее, программе или стратегии, но «объективному» положению вещей, самой социальной ткани аполитичного, фрактурализированного (пост)общества;
- наконец, выстроить автономную политическую модель, предлагающую путь и проект в мире тупиков и бесконечного рециклирования одного и того же (пост-история, по Ж. Бодрияру).

Данная книга посвящена именно этому — заходу на разработку Четвертой политической теории через обзор первых трех политических теорий, а также вплотную приблизившихся к Четвертой идеологий национал-большевизма и евразийства. Это не догма, не законченная система, не готовый проект. Это приглашение к политическому творчеству, изложение интуиций и догадок, анализ новых условий и попытка переосмысления прошлого.

Четвертая политическая теория мыслится нами не как одна работа или авторский цикл, а как направление широкого спектра идей, исследований, анализов, прогнозов и проектов. Каждый, кто мыслит в этом направлении, может привнести нечто свое. Так или иначе на этот призыв откликаются все новые и новые интеллектуалы, философы, историки, ученые, мыслители.

Показательно, что книга крупнейшего французского интеллектуала Алена де Бенуа, также выходящая на русском языке в издательстве «Амфора» — «Против либерализма», — имеет подзаголовок — «К Четвертой политической теории». На эту тему наверняка много что есть сказать и бывшим правым, и бывшим левым, да, наверное, и самим либералам, осмысляющим качественное изме-

нение своей политической платформы, откуда политика испаряется.

Для нашей страны Четвертая политическая теория имеет, помимо всего прочего, и огромное практическое значение. Интеграция в глобальное сообщество переживается большинством россиян как драма, как утрата идентичности. Либеральная идеология в 1990-е годы была почти полностью отторгнута населением. Но вместе с тем интуитивно понятно, что обращение к нелиберальным политическим идеологиям XX в. — к коммунизму и фашизму — в нашем обществе маловероятно, да и сами эти идеологии уже исторически оказались несостоятельными в противостоянии либерализму, не говоря уже о моральных издержках тоталитаризма.

Поэтому, чтобы заполнить вакуум, России нужна новая политическая идея. Либерализм не подходит, а коммунизм и фашизм неприемлемы. Следовательно, нам нужна Четвертая политическая теория. И если для кого-то это вопрос свободы выбора, реализация политической воли, которая всегда может быть направлена как на утверждение, так и на отрицание, то для России это вопрос жизни и смерти, гамлетовский вопрос.

Если Россия выбирает «быть», то это автоматически означает — *созидать Четвертую политическую теорию*. В противном случае остается «не быть» и тихо сойти с исторической арены, раствориться в глобальном, созданном и управляемом не нами мире.

Часть 1
ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Глава 1
Четвертая политическая теория

Конец XX века — конец эпохи Модерна

XX в. кончился, но только сейчас мы по-настоящему начинаем осознавать это. XX в. был *веком идеологий*. Если в прежние столетия в жизни народов и обществ огромную роль играли религии, династии, сословия, государства-нации, то в XX в. политика переместилась в область сугубо *идеологическую*, перекроив карту мира, этносы и цивилизации на новый лад. Отчасти политические идеологии воплощали в себе прежние, более глубокие цивилизационные тенденции. Отчасти были совершенно *новаторскими*.

Все политические идеологии, достигшие пика своего распространения и влияния в XX в., были *порождением Нового времени*, воплощали, хотя и по-разному и даже с разным знаком, *дух Модерна*. Сегодня мы стремительно *покидаем эту эпоху*. Поэтому все чаще говорят о «кризисе идеологий», даже о «конце идеологий»[1] (так, в Конституции РФ наличие государственной идеологии прямо отрицается). Самое время заняться этим вопросом более внимательно.

---

[1] *Bell D.* The End of Ideology. Harvard University Press, 1960.

Три главные идеологии и их судьба в XX веке

Основными идеологиями XX века были:

- *либерализм* (правый и левый),
- *коммунизм* (включая как марксизм, так и социализм и социал-демократию),
- *фашизм* (включая национал-социализм и иные разновидности «третьего пути» — национал-синдикализм Франко, «хустисиализм» Перона, режим Салазара и т. д.).

Они бились между собой не на жизнь, а на смерть, формируя, по сути, всю драматическую и кровавую политическую историю XX в. Логично присвоить этим идеологиям (политическим теориям) порядковые номера — как по их значимости, так и по порядку их возникновения, что и было сделано выше.

Первая политическая теория — либерализм. Он возник первым (еще в XVIII веке) и оказался самым устойчивым и успешным, победив в конце концов своих соперников в исторической схватке. Этой победой он доказал помимо всего прочего и состоятельность своей претензии на полноту наследства эпохи Просвещения. Сегодня очевидно: *именно либерализм точнее всего соответствовал эпохе Модерна*. Хотя ранее это оспаривалось (причем драматично, активно и иногда убедительно) другой политической теорией — коммунизмом.

Коммунизм (равно как и социализм во всех разновидностях) справедливо назвать *Второй политической теорией*. Она появилась позже либерализма — как *критическая реакция* на становление буржуазно-капиталистической системы, идейным выражением которой был либерализм.

И наконец, *фашизм есть третья политическая теория*. Претендуя на свое толкование духа Модерна (тоталитаризм многие исследователи, в частности Ханна Арендт[1], справедливо относят к политическим формам Модерна), фашизм обращался вместе с тем к идеям и символам *традиционного общества*. В одних случаях это порождало эклектику, в других — стремление консерваторов возглавить революцию, вместо того чтобы сопротивляться ей и повести общество в противоположном направлении (Артур Мёллер ван ден Брук, Д. Мережковский и т. д.).

Фашизм возник *позже* других больших политических теорий и исчез *раньше* их. Альянс Первой политической теории и Второй политической теории и самоубийственные геополитические просчеты Гитлера подбили его на взлете. Третья политическая теория погибла «насильственной смертью», не увидев старости и естественного разложения (в отличие от СССР). Поэтому этот кровавый вампирический призрак, оттененный аурой «мирового зла», столь притягателен для декадентских вкусов Постмодерна и до сих пор так пугает человечество.

Фашизм, исчезнув, освободил место для сражения Первой политической теории со Второй. Это проходило в форме «холодной войны» и породило стратегическую геометрию «двуполярного мира», просуществовавшего почти полстолетия. В 1991 году Первая политическая теория (либерализм) *победила* Вторую (социализм). Это был закат мирового коммунизма.

Итак, к концу XX в. из трех политических теорий, способных мобилизовать многомиллионные массы на всем пространстве планеты, осталась *только одна* — либеральная. Но когда она осталась одна, все в унисон заговорили о «конце идеологий». Почему?

---

[1] *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.

Конец либерализма и Постлиберализм

Вышло так, что *победа либерализма (Первой политической теории) совпала с его концом.* Но этот парадокс кажущийся.

Либерализм изначально представлял собой *идеологию.* Не такую догматическую, как марксизм, но не менее философскую, стройную и отточенную. Он идеологически противостоял марксизму и фашизму, ведя с ними не просто технологическую войну на выживание, но отстаивая право на *монопольное формирование образа будущего*. Пока другие конкурирующие идеологии были живы, либерализм оставался и креп именно *как идеология*, т. е. как совокупность идей, воззрений и проектов, свойственных историческому *субъекту*. У каждой из трех политических теорий был свой субъект.

Субъектом коммунизма был *класс*. Субъектом фашизма — *государство* (в итальянском фашизме Муссолини) или *раса* (в национал-социализме Гитлера). В либерализме субъектом выступал *индивидуум*, освобожденный от всех форм *коллективной идентичности*, от всякой «принадлежности» (l'appartenance).

Пока идеологическая борьба имела *формальных* противников, целые народы и общества (хотя бы теоретически) могли *выбрать*, к какому субъекту себя отнести — к классовому, расовому (государственному) или индивидуальному. Победа либерализма решила этот вопрос: *нормативным субъектом в пределах всего человечества стал индивидуум.*

Тут-то и возникает феномен *глобализации,* дает о себе знать модель *постиндустриального* общества, начинается эпоха *Постмодерна*. Отныне индивидуальный субъект более не результат выбора, но некая *общеобязательная данность*. Человек освобожден от «принадлежности», идеоло-

гия «прав человека» становится *общепринятой* (по меньшей мере — в теории) и фактически общеобязательной.

Человечество, состоящее из индивидуумов, естественным образом тяготеет к *универсальности*, становится *глобальным* и *единым*. Так рождается проект «*мирового государства*» и «*мирового правительства*» (глобализм).

Новый уровень технологического развития позволяет достичь независимости от классовой структуризации индустриальных обществ (постиндустриализм).

Ценности рационализма, научности и позитивизма распознаются как «завуалированные формы тоталитарных репрессивных стратегий» (большие нарративы) и подвергаются критике — с параллельным прославлением полной свободы и независимости индивидуального начала от каких бы то ни было сдерживающих факторов, в том числе от рассудка, морали, идентичности (социальной, этнической, даже гендерной), дисциплины и т. д. (Постмодерн).

На этом этапе либерализм *перестает* быть Первой *политической теорией*, но *становится* единственной *постполитической практикой*. Наступает «конец истории», политика заменяется *экономикой* (мировым рынком), государства и нации вовлекаются в плавильный котел мировой глобализации.

Победив, либерализм исчезает, превращаясь в нечто иное — в Постлиберализм. У него нет более политического измерения, он не является делом свободного выбора, но становится своего рода «*судьбой*» (откуда тезис постиндустриального общества: «экономика — это судьба»).

Итак, *начало XXI в. совпадает с моментом конца идеологий, причем всех трех*. У них разный конец — Третью политическую теорию уничтожили в период «юности», Вторая умерла от дряхлости, Первая переродилась в нечто *иное* — в Постлиберализм, в «глобальное рыночное общество». Но в любом случае в том виде, в котором все три политиче-

ские теории существовали в XX веке, они более не пригодны, не действенны, не релевантны. Они ничего не объясняют и не помогают нам разобраться в происходящем и ответить на глобальные вызовы.

Из этой констатации вытекает потребность в *Четвертой политической теории.*

Четвертая политическая теория как противостояние статус-кво

Четвертая политическая теория не может быть дана нам сама собой. Она *может возникнуть, а может и не возникнуть.* Предпосылкой ее возникновения является *несогласие.* Несогласие с Постлиберализмом как с универсальной практикой, с глобализацией, с Постмодерном, с «концом истории», со статус-кво, с инерциальным развитием основных цивилизационных процессов на заре XXI в.

Статус-кво и инерция вообще не предполагают никаких политических теорий. Глобальный мир должен управляться только экономическими законами и универсальной моралью «прав человека». Все политические решения заменяются *техническими.* Техника и технология замещают собой все остальное (французский философ Ален де Бенуа называет это «la gouvernance», «управленьице»). Место *политиков*, принимающих *исторические решения*, занимают *менеджеры* и *технологи*, оптимизирующие *логистику* управления. Массы людей приравниваются к единой массе индивидуальных предметов. Поэтому постлиберальная реальность (точнее, виртуальность, все более вытесняющая собой реальность) ведет прямиком к *полному упразднению политики.*

Могут возразить: либералы «врут», когда говорят о «конце идеологий» (в этом состояла моя полемика с философом А. Зиновьевым), «на самом деле» они остаются вер-

ны своей идеологии и просто отказывают в праве на существование всем остальным. Это не совсем так. Когда либерализм из идейной установки становится единственным содержанием *наличного социального и технологического бытия*, это уже не «идеология», это *бытийный факт,* это «объективный» порядок вещей, оспаривать который не просто трудно, а нелепо. *Либерализм в эпоху Постмодерна переходит из сферы субъекта в сферу объекта*. Это в перспективе приведет к полной замене *реальности виртуальностью.*

Четвертая политическая теория мыслится альтернативой Постлиберализму, но не как одна идейная установка в отношении другой идейной установки, а *как идея, противопоставляемая материи*; как возможное, вступающее в конфликт с действительным; как *еще* не существующее, предпринимающее атаку на *уже* существующее.

При этом Четвертая политическая теория не может быть продолжением ни Второй политической теории, ни Третьей. Конец фашизма, как и конец коммунизма, были не просто случайными недоразумениями, но выражением вполне ясной *логики истории*. Они бросили вызов духу Модерна (фашизм почти открыто, коммунизм завуалировано — смотри рассмотрение советского периода как особого «эсхатологического» издания традиционного общества у М. Агурского[1] или С. Кара-Мурзы[2]) и проиграли.

Значит, борьба с постмодернистской метаморфозой либерализма в форме Постмодерна и глобализма должна быть *качественно иной*, основываться на *новых* принципах и предлагать *новые* стратегии.

И тем не менее отправной точкой этой идеологии — возможной, но не гарантированной, не фатальной, не пред-

[1] *Агурский М. С.* Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.

[2] *Кара-Мурза С.* Советская цивилизация: от начала до наших дней. М.: Алгоритм, 2008.

определенной, проистекающей из свободной воли человека, из его духа, а не из безличных исторических процессов — является именно *отрицание самой сущности Постмодерна*.

Однако эта сущность (равно как и обнаружение неочевидной ранее подоплеки самого Модерна, который настолько полно реализовал свое содержание, что *исчерпал* внутренние возможности и перешел к режиму ироничного рециклирования прежних этапов) есть нечто совершенно новое, неизвестное ранее и лишь предугаданное интуитивно и фрагментарно на прежних этапах идеологической истории и идеологической борьбы.

Четвертая политическая теория — это проект «крестового похода» против:

- Постмодерна,
- постиндустриального общества,
- реализовавшегося на практике либерального замысла,
- глобализма и его логистических и технологических основ.

Если Третья политическая теория критиковала капитализм *справа*, а Вторая *слева*, то на новом этапе этой *прежней политической топографии более не существует*: по отношению к Постлиберализму невозможно определить, *где право, а где лево*. Есть только две позиции — *согласие* (центр) и *несогласие* (периферия). Причем и то, и другое — *глобальны*.

Четвертая политическая теория — это концентрация в общем проекте и общем порыве всего того, что оказалось *отброшенным*, повергнутым, униженным в ходе строительства «общества зрелищ» (Постмодерна). «Камень, который отбросили строители, тот самый сделался главою угла» (Евангелие от Марка, 12:10). Философ Александр Се-

кацкий справедливо указывает на важность «маргиналий» для формирования нового философского эона, предлагая в качестве метафоры выражение «метафизика мусора».

Битва за Постмодерн

Четвертая политическая теория имеет дело с новым перерождением старого врага. Она оспаривает либерализм, как и Вторая и Третья политические теории прошлого, но оспаривает его *в новом состоянии*. Принципиальная новизна этого состояния заключается в том, что только либерализм из всех трех великих политических идеологий отстоял право на наследие духа Модерна и получил право *формировать «конец истории» на основе своих предпосылок*.

Конец истории мог бы теоретически быть и иным: «планетарный рейх» (в случае победы нацистов), «мировой коммунизм» (если бы оказались правы коммунисты). Но «конец истории» оказался именно *либеральным* (о чем одним из первых догадался философ А. Кожев[1], а затем его идеи воспроизвел Ф. Фукуяма[2]). Но раз так, то любые *апелляции к Модерну* и его предпосылкам, к чему в той или иной степени призывали представители Второй (в большей мере) и Третьей политических теорий, утрачивают свою *релевантность*. Битву за Модерн они проиграли (ее выиграли либералы). Поэтому тема Модерна (как, впрочем, и модернизации) может быть *снята с повестки дня*. Начинается битва за Постмодерн.

И вот тут у Четвертой политической теории открываются новые перспективы. Тот Постмодерн, который сего-

---

[1] *Кожев А. В.* Введение в чтение Гегеля: Лекции по Феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе. СПб.: Наука, 2003.

[2] *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.

дня реализуется на практике (постлиберальный Постмодерн), *сам* аннулирует строгую логику Модерна — после того как цель достигнута, этапы приближения к ней теряют свое значение. Давление идеологического корпуса становится менее жестким. *Диктатура идей сменяется диктатурой вещей*, кодов доступа (login-password), штрихкодов. В ткани постмодернистской реальности возникают *новые дыры*.

Как в свое время Третья политическая теория и Вторая политическая теория (понятая как эсхатологическая версия традиционализма) пытались «оседлать Модерн» в своей борьбе с либерализмом (Первой политической теорией), сегодня *есть шанс проделать нечто аналогичное с Постмодерном*, используя именно эти «новые дыры».

Против прямолинейных идеологических альтернатив либерализм выработал безупречно действующие средства, на чем и основана его победа. Но именно она и несет в себе наибольший *риск* для либерализма. Надо только высчитать эти новые точки опасности для мировой глобальной системы, расшифровать коды доступа, чтобы *взломать* систему. По меньшей мере, попытаться. События 9/11 в Нью-Йорке демонстрируют, что это возможно и технологически. Сетевое общество может кое-что дать и его убежденным противникам. В любом случае необходимо в первую очередь *понять Постмодерн* и новую ситуацию не менее глубоко, чем Маркс понял структуру промышленного капитализма.

В Постмодерне, в ликвидации программы Просвещения и наступлении общества симулякров Четвертая политическая теория должна черпать свое «черное вдохновение», воспринимая это как *стимул к борьбе*, а не как фатальную данность. Из этого можно сделать некоторые практические выводы относительно структуры Четвертой политической теории.

Переосмысление прошлого и те, кто проиграл

Если Вторая и Третья политические теории неприемлемы в качестве отправных точек для противостояния либерализму, особенно в том, как они сами себя понимали, к чему призывали и как действовали, ничто не мешает *переосмыслить сам факт их проигрыша как нечто позитивное*. Раз логика истории Нового времени привела к Постмодерну, то он и составлял тайную сущность Нового времени, открывшуюся лишь в его конце.

Вторая и Третья политические теории осознавали себя как претендентов на выражение духа Модерна. И эти претензии с треском провалились. Все связанное с этими неоправдавшимися намерениями для созидателей Четвертой политической теории в прежних идеологиях наименее интересно. Но сам факт, что они проиграли, стоит отнести скорее к их *достоинству*, чем к *недостатку*. Раз они проиграли, то доказали тем самым, что *не принадлежат к духу Модерна*, который, в свою очередь, привел к постлиберальной матрице. И именно в этом их *плюсы*. Более того, это означает, что представители Второй и Третьей политических теорий — сознательно или бессознательно — *стояли на стороне Традиции*, хотя и не делали из этого необходимых выводов или не признавали вовсе.

Вторую и Третью политические теории необходимо *переосмыслить*, выделив в них то, что подлежит отбросить, а что имеет в себе ценность. Как законченные идеологии, настаивающие на своем *буквально*, они полностью *непригодны* — ни теоретически, ни практически, но некоторые маргинальные элементы, как правило не реализовавшиеся и оставшиеся на периферии или в тени (снова вспомним «метафизику мусора»), могут оказаться неожиданно чрезвычайно ценными и насыщенными смыслом и интуициями.

Но в любом случае Вторую и Третью политические теории необходимо переосмыслить в *новом* ключе, с *новых* позиций и только после *отказа в доверии* тем идеологическим конструкциям, на которых держалась их «ортодоксия». *Их ортодоксия — это самое неинтересное и бесполезное в них.* Куда более продуктивно было бы их перекрестное прочтение: «Маркс через позитивный взгляд справа» или «Эвола через позитивный взгляд слева». Но такого увлекательного «национал-большевистского» начинания (в духе Н. Устрялова или Э. Никиша) самого по себе недостаточно, так как механическое сложение Второй политической теории и Третьей политической теории само по себе нас никуда не приведет. Лишь ретроспективно мы сможем очертить ту общую для них область, которая была *жестко противоположна либерализму*. Это методологически мероприятие полезно как разминка перед полноценной выработкой Четвертой политической теории.

По-настоящему важное и решающее прочтение Второй и Третьей политических теорий возможно только на основании уже сложившейся Четвертой политической теории, где главным — хотя и радикально отрицаемым как ценность! — объектом выступают Постмодерн и его условия: глобальный мир, gouvernance («управленьице»), рыночное общество, универсализм прав человека, «реальная доминация капитала» и т. д.

Возврат Традиции и теологии

Традиция (религия, иерархия, семья) и ее ценности были низвергнуты на заре Модерна. Собственно, все три политические теории мыслились как искусственные идеологические конструкции людей, осмысляющих (по-разному) «смерть Бога» (Ф. Ницше), «расколдовывание мира» (М. Вебер), «конец сакрального». В этом состоял *нерв Мо-*

вого времени: на место Бога приходил человек; на место религии — философия и наука; на место Откровения — рациональные, волевые и технологические конструкции.

Но если в Постмодерне Модерн исчерпывается, то вместе с этим заканчивается и период прямого «богоборчества». *Людям Постмодерна религия не враждебна, но безразлична*. Более того, определенные аспекты религии, как правило относящиеся к регионам ада («бесовская текстура» философов-постмодернистов), довольно притягательны. В любом случае эпоха гонения на Традицию окончена, хотя, следуя за самой логикой Постлиберализма, это приведет, скорее всего, к созданию *новой мировой псевдорелигии*, основанной на обрывках разрозненных синкретических культов, безудержном хаотическом экуменизме и «толерантности». И хотя такой поворот событий в чем-то *еще страшнее* прямого и незамысловатого атеизма и догматического материализма, ослабление гонений на Веру может стать *шансом*, если носители Четвертой политической теории будут последовательны и бескомпромиссны в защите идеалов и ценностей Традиции.

То, что было поставлено вне закона эпохой Модерна, сегодня смело можно утверждать в качестве политической программы. И это уже не выглядит столь нелепо и провально, как некогда. Хотя бы потому, что вообще все в Постмодерне выглядит нелепо и провально, включая наиболее «гламурные» стороны: герои Постмодерна не случайно «фрики» и «уродцы», «трансвеститы» и «вырожденцы» — это закон стиля. На фоне мировых клоунов никто и ничто не будет выглядеть «слишком архаичным», даже люди Традиции, игнорирующие императивы Нового времени. Справедливость этого утверждения доказывают не только серьезные успехи исламского фундаментализма, но и возрождение влияния крайне архаичных протестантских сект (диспенсационалисты, мормоны и т. д.) на политику США (Буш начал войну в Ираке, потому что, по его словам, «Бог

сказал мне, ударь по Ираку!» — вполне в духе его протестантских учителей-методистов).

Итак, Четвертая политическая теория может спокойно обращаться к тому, что *предшествовало современности*, и черпать оттуда свое вдохновение. Признание «смерти Бога» перестает быть «обязательным императивом» для тех, кто хочет оставаться на волне актуальности. Люди Постмодерна уже настолько примирились с этим событием, что уже не могут понять: «Кто-кто, вы говорите, умер?» Но для разработчиков Четвертой политической теории точно так же можно забыть о самом этом «событии»: «Мы верим в Бога, но игнорируем тех, кто учит о Его смерти, как игнорируем речи безумцев».

Так возвращается теология. И становится важнейшим элементом Четвертой политической теории. А когда она возвращается, Постмодерн (глобализация, Постлиберализм, постиндустриальное общество) легко распознается как «*царство антихриста*» (или его аналогов в других религиях — «даджал» у мусульман, «эрев рав» у иудеев, «кали-юга» у индусов и т. д.). И теперь это не просто мобилизующая массы *метафора*, это религиозный факт, *факт Апокалипсиса.*

Миф и архаика в Четвертой политической теории

Если для Четвертой политической теории атеизм Нового времени перестает быть чем-то обязательным, то и теология монотеистических религий, которая вытеснила в свое время иные сакральные культуры, также не будет истиной в последней инстанции (вернее, может быть, а может и не быть). Теоретически же *ничто не ограничивает глубину обращения к древним архаическим ценностям*, которые, корректно распознанные и осмысленные, вполне могут занять определенное место в новой идеологической

конструкции. Освобождаясь от необходимости подстраивать теологию под рационализм Модерна, носители Четвертой политической теории могут вполне пренебречь теми богословскими и догматическими элементами, которые в монотеистических обществах (особенно на поздних этапах) были затронуты рационализмом, что, впрочем, и привело к появлению на развалинах христианской культуры Европы вначале деизма, а потом атеизма и материализма в ходе поэтапного развертывания программы Нового времени.

Не только высшие сверхразумные символы веры могут снова быть взяты на щит, но и те *иррациональные* моменты культов, обрядов и легенд, которые смущали богословов на прежних этапах. Если мы отбрасываем прогресс как идею, свойственную эпохе Модерна (а она, как мы видим, закончилась), то все древнее обретает для нас ценность и убедительность *уже потому, что оно древнее*. Древнее — значит, хорошее. И чем древнее, тем лучше.

Самым древним из творений является рай. К его новому обретению в будущем должны стремиться носители Четвертой политической теории.

Хайдеггер и «событие»

И наконец, можно наметить саму глубокую — *онтологическую*! — основу Четвертой политической теории. Тут следует обратиться не к теологиям и мифологиям, но к глубинному философскому опыту мыслителя, который сделал уникальную попытку выстроить *фундаментальную онтологию* — самое обобщающее, парадоксальное, глубокое и пронзительное учение о бытии. Речь идет о Мартине Хайдеггере.

Концепция Хайдеггера вкратце такова. На заре философской мысли люди (точнее европейцы, еще точнее —

греки) *ставят вопрос о бытии в центре своего внимания*. Но, тематизируя его, они рискуют сбиться в нюансах сложнейшего отношения между бытием и мышлением, между чистым бытием (Seyn) и его выражением в сущем (Seiende), между человеческим бытием (Dasein) и бытием сами по себе (Sein). Этот сбой происходит уже в учении Гераклита о фюзисе и логосе, далее он наглядно виден у Парменида, и наконец у Платона, поставившего между человеком и сущим идеи и определившего истину как соответствие (референциальная теория знания), он достигает кульминации. Отсюда рождается *отчуждение*, что постепенно ведет к появлению «исчисляющего разума», а затем и к развитию техники. Мало-помалу человек теряет чистое бытие из виду и становится на путь *нигилизма*. Сущность техники (основанной на техническом отношении к миру) выражает этот постоянно накапливаемый нигилизм. В Новое время эта тенденция достигает своей кульминации — *техническое развитие* (Gestell) *окончательно вытесняет бытие* и возводит на царство «ничто». Либерализм Хайдеггер ненавидел люто, считая его выражением «вычисляющего начала», которое лежит в основе «западного нигилизма».

Постмодерн, до которого Хайдеггер не дожил, и есть во всех смыслах *окончательное забвение бытия*, «полночь», где ничто (нигилизм) начинает проступать из всех щелей. Но его философия не была безысходно пессимистичной. Он полагал, что само *ничто есть обратная сторона самого чистого бытия*, которое — таким парадоксальным образом! — напоминает о себе человечеству. И если правильно расшифровать логику развертывания бытия, то мыслящее человечество может спастись, причем *молниеносно*, в тот самый миг, когда *риск будет максимальным*. «Там, где есть самый большой риск, там лежит спа-

[1] *Хайдеггер М.* Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высшая школа, 1991.

сение», — цитирует Хайдеггер стихи Гельдерлина[1].

Это внезапное возвращение бытия Хайдеггер называет особым термином Ereignis, «*событие*». Оно происходит точно *посреди мировой полночи*, в самой черной точке истории. Сам Хайдеггер постоянно колебался относительно того, достигнута эта точка или «*все еще нет*». Вечное «все еще нет»...

Для Четвертой политической теории философия Хайдеггера может оказаться той главной *осью*, на которую будет нанизано все остальное — от переосмысления Второй и Третьей политических теорий до возвращения теологии и мифологии.

Таким образом, в центре Четвертой политической теории, как ее магнетический центр, располагается вектор приближения к Ereignis («событию»), в котором воплотится *триумфальный возврат бытия* именно в тот момент, когда человечество окончательно и бесповоротно забудет о нем, да так, что испарятся последние следы.

Четвертая политическая теория и Россия

Сегодня многие интуитивно догадываются, что в «дивном новом мире» мирового глобализма, Постмодерна и Постлиберализма *России нет места*. Мало того что мировое государство и мировое правительство постепенно отменят все национальные государства вообще. Дело еще и в том, что *вся русская история есть диалектический спор с Западом и западной культурой*, борьба за отстаивание своей (подчас схватываемой лишь интуитивно), *русской истины, своей мессианской идеи, своей версии «конца истории»*, как бы это ни выражалось — через московское православие, светскую империю Петра или мировую коммунистическую революцию. Лучшие русские умы ясно виде-

ли, что Запад движется к бездне, и сегодня, глядя на то, куда привела мир неолиберальная экономика и культура Постмодерна, мы вполне можем убедиться, что эта интуиция, толкавшая поколения русских людей на поиск альтернативы, была совершенно обоснованной.

Сегодняшний мировой экономический кризис — это только начало. Самое страшное впереди. Инерция постлиберальных процессов такова, что изменение курса невозможно — «*раскрепощенная техника*» (О. Шпенглер) будет искать для спасения Запада все более эффективных, но чисто *технических*, технологических средств. Это новый этап наступления Gestell, распространение на все пространство планеты нигилистического пятна мирового рынка. Идя от кризиса к кризису, от пузыря к пузырю (тысячи американцев выходят в дни кризиса на демонстрации с лозунгом «Дайте нам новый пузырь!» — куда уж откровеннее), глобалистская экономика и структуры постиндустриального общества делают ночь человечества все более и более черной, такой черной, что мы постепенно забываем, что это ночь. «Что такое свет?» — спрашивают себя люди, никогда его не видевшие.

Ясно, что России надо идти иным путем. Своим. Но тут-то и вопрос. *Уклониться от логики Постмодерна в одной «отдельно взятой стране» так просто не удастся*. Советская модель рухнула. После этого идеологическая ситуация изменилась *необратимо*, как и стратегический баланс сил. Чтобы Россия смогла спастись сама и спасти других, недостаточно придумать какое-то техническое средство или обманный ход. Мировая история имеет свою логику. И «конец идеологий» не случайный сбой, а начало нового этапа. По всей видимости, последнего.

В такой ситуации будущее России *напрямую зависит от наших усилий по выработке Четвертой политической теории*. Локально перебирая варианты, которые предо-

ставляет нам глобализация в режиме лишь поверхностной коррекции статус-кво, мы далеко не уйдем, только протянем время. Вызов Постмодерна чрезвычайно серьезен: он коренится в логике забвения бытия, в отступлении человечества от своих бытийных (онтологических) и духовных (теологических) истоков. Ответить на него «шапкозакидательскими» инновациями или пиаровскими суррогатами невозможно. Следовательно, чтобы решить насущные проблемы — глобального экономического кризиса, противодействия однополярному миру, сохранения и укрепления суверенитета и т. д., необходимо обратиться к философским основаниям истории, сделать *метафизическое усилие*.

Трудно сказать, как будет развертываться процесс выработки этой теории. Ясно лишь одно: это не может быть индивидуальным делом или занятием ограниченного круга лиц. Усилие должно быть *соборным*, коллективным. И в этом вопросе нам очень могут помочь представители других культур и народов (как Европы, так и Азии), которые столь же остро осознают эсхатологическое напряжение нынешнего момента и также отчаянно ищут выхода из мирового тупика.

Но заранее можно утверждать, что Четвертая политическая теория, основанная на отвержении нынешнего статус-кво в его практическом и теоретическом измерении, в русском издании будет ориентирована на «русский Ereignis». На то «событие», единственное и неповторимое, которым жили и которого ждали многие поколения русских людей, от истоков нашего народа до нынешнего наступления последних времен.

Часть 2
КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ

Глава 2
Либерализм и его метаморфозы

Das Liberalismus ist ein weltliches Verhängnis

В 1932 г. немецкий национал-большевик Эрнст Никиш, чьи идеи были чрезвычайно близки как русским национал-большевикам (Устрялов), так и евразийцам, написал книгу с показательным названием «Гитлер — злой рок для Германии» («Hitler — ein deutsches Verhängnis»). Книга прошла почти незамеченной, но спустя несколько лет привела его прямой дорогой в концлагерь. Он оказался абсолютно прав — Гитлер на самом деле оказался именно роковой фигурой для Германии. Роковой — значит, неслучайной, обоснованной, укорененной в ходе вещей, сопряженной с логикой судьбы, но воплощающей темный ее аспект. И в этой книге, и в других своих работах Никиш повторял: «В человеческом обществе нет фатальности, присущей природе — фатальности смены сезонов, природных бедствий. Достоинство человека состоит в том, что он всегда может сказать „нет“. Всегда может восстать. Всегда может подняться на борьбу даже с тем, что кажется неотвратимым, абсолютным, непобедимым. И даже если он проигрывает, он дает пример другим. И другие приходят на его место. И также говорят „нет“. Поэтому самые роковые и фатальные явления можно победить силой духа».

Никиш боролся с нацизмом и нацистами, ранее и точнее других предсказав, чем будет чревато для Германии, для человечества их кровавое правление. Он не сдался, он бросил вызов «злому року», не опустил рук. И самое важное: противостоял он с горсткой своих единомышленников-антинацистов такой силе, которая казалась непобедимой. Группа последователей Никиша — один из них национал-большевик Харро Шульце-Бойзен — стала ядром «Красной Капеллы». Самого его, почти полностью ослепшего, освободили из концлагеря в 1945 г. советские войска. Физически победы, за которую он отдал свою жизнь, он не увидел, но до конца своих дней оставался уверенным в том, что злому року человеческой истории необходимо противостоять, даже если он проистекает из ее глубинных маховиков.

Сегодня то же самое можно сказать о либерализме как идеологии, победившей на Западе и распространяющей свое влияние — множеством старых и новых способов — на весь мир, с опорой на мощь гипердержавы № 1 — США. Снова кажется, что эта мощь неотвратима, не случайна, следует фундаментальным роковым закономерностям и спорить с этой силой бесполезно. Но снова, как и в случае Эрнста Никиша, находятся люди, готовые произнести ту же формулу, только на сей раз применительно не к отдельной стране, а ко всему человечеству: «Либерализм — злой рок человеческой цивилизации». Борьба с ним, противостояние ему, опровержение его ядовитых догм есть моральный императив всех честных людей планеты. Во что бы то ни стало мы должны аргументированно и обстоятельно снова и снова повторять эту истину даже тогда, когда это представляется бесполезным, неуместным, неполиткорректным, а порой и опасным.

Либерализм как резюме западной цивилизации и его определение

Для того чтобы адекватно понять сущность либерализма, надо осознать, что он не случаен, что его появление в истории политических и экономических идеологий основывается на фундаментальных процессах, происходящих во всей западной цивилизации. Либерализм — не просто часть истории этой цивилизации, но ее наиболее чистое и рафинированное выражение, ее результат. Это принципиальное замечание требует от нас более строгого определения либерализма.

Либерализм — это политическая экономическая философия и идеология, воплощающая в себе главные силовые линии Нового времени, эпохи Модерна:

- понимание *человеческого индивидуума как меры вещей*;
- убежденность в *священном характере частной собственности*;
- утверждение *равенства возможностей* как морального закона общества;
- уверенность в «*договорной*» («контрактной») основе всех социально-политических институтов, включая государство;
- упразднение любых государственных, религиозных и сословных *авторитетов*, которые претендуют на «общеобязательную истину»;
- *разделение властей* и создание общественных систем контроля над любыми властными инстанциями;
- создание «*гражданского общества*» без сословий, наций и религий вместо традиционных государств;
- главенство *рыночных отношений* над всеми остальными формами политики (тезис «экономика — это судьба»);

- убежденность в том, что исторически путь *западных* народов и стран есть универсальная модель развития и прогресса для всего мира, которая должна быть в императивном порядке взята за эталон и образец.

Именно эти принципы лежали в основе исторического либерализма, развивавшегося философами Локком, Миллем, Кантом, позже И. Бентамом, Б. Констаном вплоть до неолиберальной школы XX века Фридриха фон Хайека и Карла Поппера. Адам Смит, последователь Локка, на основании идей своего учителя, примененных к анализу хозяйственной деятельности, заложил основы политической экономики, ставшей политической и экономической «Библией» эпохи Модерна.

«Свобода от»

Все принципы философии либерализма и само это название основаны на тезисе «свободы» — «liberty». При этом сами философы-либералы (в частности, Дж. Стюарт Милль) подчеркивают, что «свобода», которую они отстаивают, — это понятие строго отрицательное. Более того, они разделяют свободу *от* (чего-то) и свободу *для* (чего-то), предлагая использовать для них два разных английских слова — «*liberty*» и «*freedom*». «Liberty» подразумевает *свободу от чего-то*, отсюда как раз и происходит название «либерализм». За такую свободу и бьются либералы, на ней-то они и настаивают. А что касается «свободы для», то есть смысла и цели свободы, тут либералы замолкают, считая, что каждый индивидуум сам может найти применение свободы — или вообще не искать для нее никакого применения. Это вопрос частного выбора, кото-

рый не обсуждается и не является политической или идеологической ценностью.

Напротив, «свобода от» описана подробно и имеет догматический характер. Освободиться либералы предлагают *от*:

- *государства* и его контроля над экономикой, политикой, гражданским обществом;
- *церкви* с ее догмами;
- *сословных* систем;
- любых форм *общинного* ведения хозяйства;
- любых попыток *перераспределять* теми или иными государственными или общественными инстанциями результаты материального или нематериального труда (формула либерального философа Филиппа Немо, последователя Хайека: «Социальная справедливость глубоко аморальна»);
- *этнической* принадлежности;
- какой бы то ни было *коллективной идентичности*.

Можно подумать, что мы имеем дело с какой-то версией анархизма, но это не совсем так. Анархисты — по крайней мере такие, как Прудон, — считают альтернативой государству свободный общинный труд с полной коллективизацией его продуктов и жестко выступают против частной собственности, тогда как либералы, напротив, видят в рынке и священной частной собственности залог реализации их оптимальной социально-экономической модели. Кроме того, теоретически считая, что государство рано или поздно должно отмереть, уступив место мировому рынку и мировому гражданскому обществу, либералы по прагматическим соображениям поддерживают государство, если оно является буржуазно-демократическим, способствует развитию рынка, гарантирует «гражданскому

обществу» безопасность и защиту от агрессивных соседей, а также предотвращает «войну всех против всех» (Т. Гоббс).

В остальном же либералы идут довольно далеко, отрицая практически все традиционные социально-политические институты — вплоть до семьи или половой принадлежности. В предельных случаях либералы выступают не только за свободу абортов, но и за свободу от половой принадлежности (поддерживая права гомосексуалистов, транссексуалов и т. д.). Семья, как и иные формы социальности, считаются ими чисто договорными явлениями, которые, как и иные «предприятия», обусловливаются юридическими соглашениями.

В целом же либерализм настаивает не только на «свободе от» Традиции, сакральности (если говорить о предшествующих формах традиционного общества), но и на «свободе от» обобществления и перераспределения, на которых настаивают левые — социалистические и коммунистические — политические идеологии (если говорить о политических формах, современных либерализму или даже претендующих на то, чтобы его сменить).

Либерализм и нация

Либерализм зародился в Западной Европе и Америке в эпоху буржуазных революций и укреплялся по мере того, как постепенно ослабевали западные политические, религиозные и социальные институты предшествующих имперско-феодальных периодов — монархия, церковь, сословия. На первых этапах либерализм сочетался с идеей создания современных наций, когда под «нацией» в Европе стали понимать возникшие на контрактной основе единообразные политические образования, противостоя-

щие более древним имперским и феодальным формам. «Нация» понималась как совокупность граждан государства, в котором воплощается контакт населяющих его индивидуумов, объединенных общей территорией проживания и общим экономическим уровнем развития хозяйства. Ни этнический, ни религиозный, ни сословный фактор значения не имели. Такое «государство-нация» (Etat-Nation) не имело ни общей исторической цели, ни определенной миссии. Оно представляло собой своего рода «корпорацию» или предприятие, которое создается по взаимному соглашению его участников и теоретически может быть на таких же основаниях и распущено.

Европейские нации вытесняли религию, этносы и сословия на обочину, считая это пережитками «темных веков». В этом отличие либерального национализма от иных его версий — здесь не признается никакой ценности за этно-религиозной или исторической общностью, акцент ставится лишь на выгоды и преимущества коллективного договора индивидуумов, учредивших государство по конкретным прагматическим соображениям.

Вызов марксизма

Если с демонтажем феодально-монархических и клерикальных режимов у либералов всё шло довольно гладко и никаких идеологических альтернатив уходящее европейское Средневековье противопоставить либералам не могло, то в недрах философии Нового времени появилось движение, оспаривавшее у либералов право первенства в процессах модернизации и выступавшее с мощной концептуальной критикой либерализма не с позиций прошлого (справа), но с позиций будущего (слева). Такими были социалистические и коммунистические идеи, получившие

свое наиболее системное воплощение в марксизме.

Маркс внимательно проанализировал политическую экономику Адама Смита и, шире, либеральной школы, но сделал из этих идей совершенно оригинальный вывод. Он признал их частичную правоту — в сравнении с феодальными моделями традиционного общества, — но предложил идти дальше и во имя будущего человечества опровергнуть ряд важнейших для либерализма постулатов.

Марксизм в либерализме:

- *отрицал отождествление субъекта с индивидуумом* (считая, что субъект имеет коллективно-классовую природу);
- признавал *несправедливой систему присвоения прибавочной стоимости* капиталистами в процессе рыночного хозяйствования;
- считал «свободу» буржуазного общества завуалированной *формой классового господства*, скрывающего под новыми одеждами механизмы эксплуатации, отчуждения и насилия;
- призывал к *пролетарской революции и отмене рынка* и частной собственности;
- полагал целью *обобществление имущества* («экспроприацию экспроприации»);
- утверждал в качестве смысла социальной свободы коммунистического будущего *творческий труд* (как реализацию человеческой «свободы для»);
- критиковал буржуазный национализм как форму *коллективного насилия* над беднейшими слоями своих стран и как инструмент межнациональной агрессии во имя эгоистических интересов национальной буржуазии.

Так, марксизм на два столетия превратился в главного идеологического соперника и противника либерализма, атакуя его системно, идеологически последовательно

и подчас добиваясь серьезных успехов (особенно в XX в., с появлением мировой социалистической системы). В какой-то момент казалось, что именно левые силы (марксисты и социалисты) выигрывают спор за наследие современности и за «ортодоксию» Нового времени, и многие либералы начинали верить, что социализм — это неизбежное будущее, которое существенно скорректирует либеральную политическую систему, а в перспективе, возможно, и вовсе ее упразднит. Отсюда берут начала тенденции «социального либерализма», который, признавая некоторые «моральные» тезисы марксизма, стремился сгладить его революционный потенциал и примирить две основные идеологии Нового времени за счет отказа от их наиболее жестких и резких утверждений. Ревизионисты со стороны марксизма, в частности правые социал-демократы, двигались в том же направлении из противоположного лагеря.

Наибольшей остроты вопрос о том, как относиться к социалистам и левым, у либералов достиг в 1920—1930-е годы, когда коммунисты впервые доказали серьезность своих исторических намерений и возможность захвата и удержания власти. В этот период появляется неолиберальная школа (Л. фон Мизес, Хайек, чуть позже Поппер и Арон), формулирующая очень важный идеологический тезис: либерализм — это не переходная стадия от феодализма к марксизму и социализму, это совершенно законченная идеология, обладающая эксклюзивной монополией на наследие Просвещения и Нового времени; сам марксизм — это никакое не развитие западной мысли, но регрессивный возврат под «модернистскими лозунгами» к феодальной эпохе эсхатологических восстаний и хилиастических культов. Неолибералы доказывали это как системной критикой немецкого консерватора Гегеля, так и ссылками на тоталитарный советский опыт и призывали вернуться к корням — к Локку и Смиту, жестко стояли на своих принципах и кри-

тиковали социал-либералов за их уступки и компромиссы.

Неолиберализм как теория яснее всего был сформулирован в Европе (Австрия, Германия, Англия), но свое масштабное воплощение получил в США, где либерализм преобладал в политике, идеологии и экономической практике. И хотя в эпоху Рузвельта и в США были сильны социал-либеральные тенденции (эпоха New Deal, влияние Кейнса и т. д.), неоспоримое преимущество было у либеральной школы. В теоретическом смысле это направление получило наибольшее развитие в Чикагской школе (М. Фридман, Ф. Найт, Г. Саймонс, Дж. Стиглер и др.).

После Второй мировой войны начался решающий этап борьбы за наследие Просвещения: либералы с опорой на США вступили в последний бой с марксизмом, олицетворяемым СССР и его союзниками. Европа заняла промежуточное место в войне идеологий; в ней преобладали социал-либеральные и социал-демократические настроения.

Решительная победа либералов в 1990-е годы

Крах СССР и наше поражение в «холодной войне» с идеологической точки зрения означали окончательное распределение ролей в битве за судьбу наследия Просвещения, в войне за образ будущего. Именно в силу того, что СССР проиграл и распался, стало ясно, что историческая правота была на стороне либералов и особенно неолибералов, которые отказывали социализму и коммунизму в претензии на «будущее» как «прогрессивного завтрашнего дня». Советское общество и другие социалистические режимы оказались тщательно замаскированными изданиями архаических структур, перетолковавшими на свой лад «мистически», «религиозно» понятый марксизм.

Этот важнейший момент политической истории человечества впервые расставил точки над «i» в главном вопросе

современности: какая из двух главных идеологий XX в. наследует прошлое (дух Просвещения) и автоматически получит будущее (право на доминацию в идеологическом устройстве завтрашнего дня). Вопрос о цели исторического процесса был принципиально решен.

В середине XX в. французский философ, гегельянец русского происхождения Александр Кожев полагал, что гегелевский «конец истории» ознаменуется мировой коммунистической революцией. Так же полагали и традиционалисты (Р. Генон, Ю. Эвола), отрицавшие Просвещение, защищавшие Традицию и предрекавшие «конец света» через победу «четвертой касты» («шудр»-пролетариев). Но в 1991 г. с крахом СССР стало понятно, что «конец истории» будет носить не марксистскую, но либеральную форму, о чем и поспешил уведомить человечество американский философ Фрэнсис Фукуяма, провозгласив «конец истории» как планетарную победа рынка, либерализма, США и буржуазной демократии. Марксизм из возможной альтернативы и проекта будущего превратился в незначительный эпизод политической и идеологической истории.

С этого момента не просто начинается взлет либерализма, причем в его наиболее ортодоксальных фундаменталистских англосаксонских и антисоциальных формах, но и обнажается фундаментальный факт идеологической истории человечества: именно либерализм есть судьба. А значит, его тезисы, его философские, политические, социальные и экономические принципы и догмы следует рассматривать как нечто универсальное и абсолютное, не имеющее альтернативы.

На пороге «американского века»

По результатам политической истории XX в. обнаружилось, что либерализм выиграл битву за современность, по-

бедив всех своих противников — и справа, и слева. Огромный цикл периода Нового времени завершился триумфом либеральной идеологии, которая получила отныне монополию на контроль и управление историческим развитием. У либерализма не осталось симметричного врага, масштабного субъекта с адекватным историческим самосознанием, убедительной и связной идеологией, серьезными силовыми и материальными ресурсами, сопоставимой технологической, экономической и военной базой. Всё, что еще противостояло либеральной идеологии, представляло собой хаотическую совокупность простых помех, погрешностей, одним словом — «шумов», по инерции сопротивляющихся строителям «нового либерального порядка». Это было не соперничество альтернативных цивилизационных и геополитических субъектов, но реактивное и пассивное сопротивление неорганизованной среды; так, структура почв, ручьи, карстовые пустоты или болотистая местность мешают строителям дороги — речь идет не о проталкивании иного маршрута, на котором настаивает альтернативная компания, а о сопротивлении материала.

В такой ситуации США как цитадель мирового либерализма перешли в новое качество. Отныне Штаты стали не просто одной из двух сверхдержав, но единственной планетарной мощью, резко оторвавшейся от конкурентов. Французский критик США Юбер Видрин предложил называть Америку отныне не сверхдержавой, а гипердержавой (*hyperpower*), подчеркивая ее одиночество и ее асимметричное превосходство. С идеологической точки зрения победа либерализма и возвышение США — это не случайное совпадение, таковы две стороны одного и того же явления. США победили в «холодной войне» не потому, что накопили больше потенциала и вырвались в технологическом соревновании, но потому, что основывались на либеральной идеологии, доказавшей и свою техническую со-

стоятельность, и свою историческую правоту в идеологической войне, подводящей баланс Нового времени. И подобно тому, как либерализм обнаружил свое судьбоносное измерение, США получили наглядное подтверждение своего мессианства, которое в форме идеологии *Manifest Destiny* еще с XIX в. было символом веры американской политической элиты.

Яснее всего такое положение дел осознали американские неоконсерваторы. По словам одного из их главных идеологов Уильяма Кристола, «XX в. был веком Америки, а XXI в. станет американским веком». Вдумаемся в это утверждение: какая разница между «веком Америки» и «американским веком»? «Век Америки» означает, что в тот период идеология либерализма боролась с конкурентами (остаточным традиционализмом, фашизмом, социализмом и коммунизмом) и наголову разбила их. Америка, бывшая одной из нескольких мировых сил, превратилась в единственную. И теперь, по мысли неоконсерваторов, США предстоит утвердить американскую модель — «american way of life» — в качестве общеобязательного мирового образца. США на глазах перестают быть национальным государством и становятся синонимом Мирового правительства. Вся планета отныне должна превратиться в «мировую Америку», «мировое государство» (World State). Это и есть «американский век», проект глобализации американской модели в мировом масштабе. Не просто колонизация или новая форма империализма, такова программа тотального внедрения одной-единственной идеологической системы, скопированной с американской либеральной идеологии. Америка отныне претендует на повсеместное распространение унитарного кода, который проникает в жизнь народов и государств тысячами различных путей — как глобальная сеть — через технологии, рыночную экономику, политическую модель либеральной демократии, информационные

системы, штампы массовой культуры, установление прямого стратегического контроля американцев и их сателлитов за геополитическими процессами.

Американский век задуман как переплавление существующей мировой модели в новую, выстроенную строго по американским образцам. Условно этот процесс называется «демократизацией» и направлен на несколько конкретных географических анклавов, в первую очередь проблемных с точки зрения либерализма. Так появились проекты «Великого Ближнего Востока», «Великой Центральной Азии» и т. д. Смысл всех их состоит в выкорчевывании инерциальных национальных, политических, экономических, социальных, религиозных и культурных моделей и их замене на операционную систему американского либерализма. Причем не столь важно, идет ли речь о противниках США или об их сторонниках: переформатированию подлежат и друзья, и враги, и те, кто хочет остаться нейтральными. В этом смысл «американского века»; либерализм, победивший формальных врагов, принимается за свое углубленное внедрение. И теперь уже недостаточно быть на стороне США в локальных конфликтах (как вели себя многие страны с далеко не либеральными идеологиями — такие, как Пакистан, Саудовская Аравия и Турция). Отныне либерализм должен проникать в глубь всех обществ и стран без исключения и любое сопротивление будет, по мысли неоконсерваторов, сломлено — так происходило в Сербии, Ираке или Афганистане.

Критики такого подхода в самих США — например, классический консерватор Патрик Бьюкенен — утверждают: «Америка приобрела весь мир, но потеряла саму себя». Впрочем, неоконсерваторов это не останавливает, поскольку США они воспринимают не только как национальное государство, но и как авангард либеральной идеологии. И не случайно американские неоконсерваторы вышли,

сколь это ни парадоксально, из троцкизма. Подобно тому, как троцкисты настаивали на мировой коммунистической революции, беспощадно критикуя сталинизм и идею построения социализма в одной стране, современные неоконсерваторы призывают к мировой либеральной революции, категорически отказываясь от призывов «изоляционистов» ограничиться пределами США и их исторических союзников. Именно неоконсерваторы, задающие тон в современной американской политике, наиболее глубоко осознают идеологический смысл судьбы политических учений на заре XXI в. Неоконсервативные круги США наиболее адекватно осознают смысл происходящих в мировом масштабе изменений. Для них «идеология» остается важнейшим предметом внимания, хотя и превращается сегодня в «мягкую идеологию», или «soft power» (мягкое могущество).

Либерализм и Постмодерн

Переходя от формального противостояния альтернативным идеологиям к новой фазе самовнедрения в мировом масштабе, либеральная идеология меняет свой статус. В эпоху Модерна либерализм всегда сосуществовал с нелиберализмом, а значит, был объектом выбора. Как в современных компьютерных технологиях, где теоретически можно выбрать компьютер с операционной системой Microsoft, MacOS или Linux. Победив своих соперников, либерализм приобрел монополию на идеологическое мышление, он стал единственной идеологией, не допускающей рядом с собой никаких иных. Можно сказать, что от уровня программы он перешел на уровень операционной системы, ставшей чем-то само собой разумеющимся. Заметьте, приходя в магазин и выбирая компьютер, мы чаще всего не уточняем: «Дайте мне компьютер с софтом фирмы

Microsoft». Мы просто говорим: «Дайте мне компьютер». И по умолчанию нам продают его с операционной системой фирмы Microsoft. Так и с либерализмом: он внедряется в нас сам по себе, словно нечто общепринятое, которое оспаривать кажется нелепо и бессмысленно.

Содержание либерализма меняется, переходя от уровня высказывания на уровень языка. Либерализм становится не собственно либерализмом, но подразумеванием, молчаливым согласием, консенсусом. Это соответствует переходу от эпохи Модерна к Постмодерну. В Постмодерне либерализм, сохраняя и даже увеличивая свое влияние, всё реже выступает осмысленной и свободно принятой политической философией, он становится бессознательным, само собой разумеющимся, инстинктивным. Такой инстинктивный либерализм, претендующий на то, чтобы превратиться в неосознаваемую большинством «матрицу» современности, постепенно приобретает гротескные черты. Из классических принципов либерализма, ставшего подсознанием («мировым резервным подсознанием», по аналогии с долларом, «мировой резервной валютой»), и рождаются гротескные образы постмодернистской культуры. Это уже своего рода постлиберализм, вытекающий из полной победы классического либерализма, но уводящий его к экстремальным выводам.

Так возникает панорама постлиберального гротеска:

- мерой вещей выступает не индивидуум, а *постиндивидуум, «дивидуум»*, случайное игровое ироничное сочетание частей человека (его органов, его клонов, его симулякров — вплоть до киборгов и мутантов);
- частная собственность обожествляется, «трансцендентализируется» и превращается из того, чем человек владеет, в *то, что владеет самим человеком*;
- равенство возможностей превращается в *равенство созерцания возможностей* («общество спектакля» — Ги

Дебор);

- вера в контрактный характер всех политических и социальных институтов перерастает в *приравнивание реального и виртуального*, мир становится техническим макетом;
- *исчезают все формы внеиндивидуальных авторитетов* вообще, и любой индивидуум волен думать о мире всё что ему заблагорассудится (кризис обобщающей рациональности);
- принцип разделения властей превращается в идею постоянного электронного референдума (электронный парламент), где каждый интернет-пользователь постоянно голосует по поводу любого решения, что приводит к умножению властей до количества отдельных граждан (*каждый сам себе «ветвь власти»*);
- «гражданское общество» *полностью замещает собой государство* и превращается в мировой космополитический melting pot («плавильный котел»);
- от тезиса «экономика — это судьба» переходят к тезису *«цифровой код — это судьба»*, поскольку и труд, и деньги, и рынок, и производство, и потребление — всё становится виртуальным.

Иные из либералов и неоконсерваторов сами ужаснулись той перспективе, которая открылась по результатам идеологической победы либерализма — при переходе к постлиберализму и Постмодерну. Так, Фукуяма, автор тезиса о либеральном «конце истории», в последние десятилетия призывает Запад и США «сдать назад» и задержаться на предыдущей фазе «старомодного», классического либерализма — с рынком, государством-нацией и привычной научной рациональностью, чтобы избежать скольжения в постлиберальную бездну. Но в этом он противоречит сам себе: логика перехода от обычного либерализма к либерализму

Постмодерна — это не произвол и не волюнтаризм, она вписана в саму структуру либеральной идеологии, поскольку постепенное освобождение человека от всего того, что им не является (от всех внечеловеческих и надындивидуальных ценностей и идеалов), не может рано или поздно привести к освобождению человека от него самого. И самый страшный кризис индивидуума начинается не тогда, когда он сражается с альтернативными идеологиями, отрицающими человека как высшую ценность, но тогда, когда он достигает своей убедительной и необратимой победы.

Либерализм в современной России

Если сопоставить всё вышесказанное о либерализме с тем, что под этим понимают в России, придется признать, что у нас никакого либерализма нет. Либералы есть, а либерализма нет. До начала 1990-х годов в России формально преобладала марксистская идеология, взрастившая подавляющее большинство тех людей, которые так или иначе сегодня влияют на решения власти. Принципы либерализма, во-первых, были чужды инстинктивным устоям российского общества, жестко преследовались идеологическими органами в СССР, были либо неизвестны, либо карикатурно и фрагментарно истолкованы. Единственное содержание «либерализма» в России в 1990-е — свобода от русско-советских политико-экономических традиций и некритическое, невежественное и пародийное подражание Западу. Практически никто в позднесоветской элите не выбирал либерализм сознательно и последовательно: до последнего момента распада СССР вожди российских либералов дежурно славословили КПСС, идеи Маркса, план, социализм, а олигархи промышляли в Комитете комсомола или сотрудничали с КГБ. Либерализм

как политическая идеология никого не интересовал, за него не было заплачено ни гроша. Такой неоплаченный «кривой» либерализм утвердился в 1990-е в качестве эрзац-идеологии постсоветской России. Но вместо освоения либеральных принципов его сторонники и проповедники занимались карьеризмом, приватизацией, устраивали личные делишки — в лучшем случае выполняя указания западных кураторов по развалу советской и российской государственности. Это был идеологический распад прежнего уклада без какого бы то ни было построения нового. Даже сомнительную «свободу от» никто по-настоящему не выбирал.

Когда пришел Путин и попытался свернуть процессы распада России, он по большому счету не встретил идеологического сопротивления. Ему противодействовали либо конкретные экономические кланы, интересы которых он ощутил, либо наиболее активная и глубоко увязшая в шпионаже агентура влияния в пользу Запада. Подавляющее большинство либералов немедленно переписалось в «сторонники Путина», подлаживаясь под индивидуальные патриотические симпатии нового вождя. Даже знаковые фигуры российского либерализма — Гайдар, Чубайс и т. д. — вели себя как банальные оппортунисты: на идеологическое содержание реформ Путина им было наплевать.

Либерализм в Россию, несмотря на весь период 1990-х, проник очень неглубоко и не породил политического поколения подлинных убежденных либералов. Он действовал на Россию преимущественно извне, что и привело в конце концов к обострению отношений с США, к обструкции Путина и его курса на Западе, а также ответной Мюнхенской речи.

Но поскольку сознательных либералов в критический переломный момент в России оказалось не больше, чем сознательных коммунистов в конце 1980-х, то и Путин не

настаивал на их идеологической травле, занимаясь сдерживанием лишь распоясавшейся либеральной олигархии и обнаглевшей от безнаказанности прямой агентуры влияния. Интуитивно стремясь сохранить и восстановить суверенитет России, Путин вошел в конфликт с либеральным Западом и его глобализационными планами, но в альтернативную идеологию свои действия не оформил. Во многом еще и потому, что внутри России убежденных либералов в достаточном количестве не оказалось.

Настоящим либералом является тот, кто поступает в соответствии с основными принципами либерализма, — включая те случаи, когда это может привести к серьезным последствиям, репрессиям и даже лишению жизни. Если же либералами люди оказываются лишь тогда, когда либерализм становится разрешенным, модным или даже обязательным, будучи готовыми при первом осложнении отказаться от этих взглядов, подобного рода «либерализм» никакого отношения к настоящему не имеет. Кажется, это понял, отсидев определенный срок на зоне, «икона» современных российских либералов Ходорковский. Но в этом, мне кажется, он среди других либералов, оставшихся пока на свободе, одинок.

Крестовый поход против Запада

Как бы сегодня либерализм ни претендовал на свою безальтернативность, в человеческой истории всегда есть выбор. Ведь пока есть человек, он свободен выбирать. И то, что выбирают «все», и то, что не выбирает «никто». Либерализм (впрочем, и США, и Запад) сегодня не предлагает предпочесть его в качестве одной из альтернатив, он навязывает это решение как единственно возможное. И здесь не обычный произвол: логика политической исто-

рии Нового времени на самом деле подтверждает обоснованность такого подхода.

Конечно, можно представить себе, что многие люди на планете запоздали с осознанием происшедшего в конце XX — начале XIX в. и по инерции верят в социализм, коммунизм или даже религию. Кто-то не принимает либерализм и по иным локальным и индивидуальным соображениям — например, осознав, что в такой системе он оказался среди «лузеров». Но это не имеет большого значения: все системные и основательные альтернативы сломлены и чье-то периферийное, смутное и не осмысленное толком в политико-идеологических терминах недовольство ни на что не повлияет.

И тем не менее даже в новой фазе своего само собой разумеющегося навязывания либерализм (и постлиберализм) может (и должен — я в это верю!) быть отвергнут. И если за ним стоят вся мощь инерции Нового времени, дух Просвещения и логика политической и экономической истории европейского человечества в последние века, он должен быть отвергнут вместе с Новым временем, Просвещением и европейским человечеством в целом. Более того, только осознание либерализма как рока, как судьбы, как фундаментального явления, охватывающего ход западноевропейской истории, и позволит по-настоящему сказать либерализму «нет». Его следует отвергнуть в качестве глобального метафизического фактора, а не как частность, случайную ересь или искажение нормального развития. Путь, на который встало человечество в Новое время, привел именно к либерализму. И к отвержению Бога, Традиции, общины, этноса, империи, царства. Завершается такой путь вполне логично: решив освободиться от всего сдерживающего, человек Нового времени достиг логического предела — он на глазах освобождается от самого себя.

Логика мирового либерализма и глобализации тянет нас в бездну постмодернистского растворения в виртуальности. Наша молодежь уже одной ногой стоит там: коды либерального глобализма эффективнее внедряются на бессознательном уровне — через привычки, рекламу, гламур, технологии, сетевые модели. Привычной теперь является утрата идентичности — и уже не просто национальной или культурной, но и половой, а вскоре окажется и человеческой. И правозащитники, не замечающие трагедии целых народов, которые приносит в жертву своим жестоким планам «новый мировой порядок», завтра будут вопить о нарушении прав «киборгов» или «клонов».

Отказ людей принимать либерализм вполне понятен и его можно встретить повсюду. Но он останется бессильным и неэффективным ровно до той поры, пока мы не осознаем, что имеем дело не со случайностью, а с закономерностью, не с временным отклонением от нормы, но с фатальной, неизлечимой болезнью, истоки которой следует искать в те периоды, когда многим всё казалось безоблачным и ясным и человечество вступает в эпоху прогресса, развития, свободы и равноправия. А это просто синдром приближающейся агонии. Либерализм есть абсолютное зло — не только в своем фактическом воплощении, но и в своих фундаментальных теоретических предпосылках. И его победа, его мировой триумф только подчеркивает и обнаруживает те зловещие черты, которые ранее были завуалированы.

«Свобода от» есть самая отвратительная формула рабства, поскольку она искушает человека на восстание против Бога, против традиционных ценностей, против нравственных и духовных устоев его народа и его культуры.

И даже если все формальные битвы либерализм выиграл и действительно на пороге «американский век», настоящая битва еще впереди. Но она состоится только после

того, когда подлинный смысл происходящего будет по-настоящему осознан, когда в должной мере и в должных пропорциях окажется уясненным метафизическое значение либерализма и его роковой победы. Одолеть это зло можно, только вырвав его с корнем, и я не исключаю, что для такой победы потребуется стереть с лица земли те духовные и физические ореолы, где возникла мировая ересь, настаивающая на том, что «человек есть мера вещей». Только мировой Крестовый поход против США, Запада, глобализации и их политико-идеологического выражения — либерализма — способен стать адекватным ответом.

Выработка идеологии этого Крестового похода, безусловно, дело России, но не самой по себе, а совместно со всеми мировыми силами, которые так или иначе противостоят «американскому веку». Впрочем, в любом случае эта идеология должна начинаться с признания фатальной роли либерализма, обобщающего путь Запада с того момента, когда он отказался от ценностей Бога и Традиции.

Глава 3
Демократия: священная или светская?

В отношении демократии существует множество ложных мифов. Большинство уверено, что это наиболее современная, развитая, «цивилизованная» форма политического устройства, основанная на принципе политического равенства всех относящихся к конкретному обществу индивидуумов. Всё это, мягко говоря, не совсем так.

Демократия как архаическое явление: коллективный экстаз

Демократия — наиболее древняя, архаичная, примитивная и, если угодно, «варварская» форма политической организации. Древнейшие общества, встречающиеся нам в истории, были построены именно на демократическом принципе. Основные решения относительно судьбы племени или даже целого этноса принимались всегда коллективно, на основе всеобщего мнения полномочных членов общества. Старейшины родов, воины, жрецы, так называемые «господа огня» (домовладельцы) составляли стихийный «парламент» древних народов. У германцев это называлось «тинг», у славян — «вече», и даже римское выражение Res Publica несет в себе отголосок древних коллективных сборищ латинских племен, обсуждавших фундаментальные для жизни общины «вещи» (res — по-латински «вещь», что близко по смыслу русскому «вече» и немецкому ting, или ding, — по-немецки также «вещь»).

В основе демократии лежит принцип коллективной формы принятия решений, причем сама процедура должна учитывать максимально широкий спектр представителей общества. Но именно этот принцип является неотъемлемой частью древних архаических обществ, где индивидуум еще не выделился в самостоятельную величину и главным действующим лицом истории выступал «дух этноса», чаще всего понимаемый либо как «тотем», либо как «дух», либо как «этническое божество». Именно для того, чтобы позволить этой сверхиндивидуальной инстанции напрямую вмешиваться в судьбу коллектива, и были введены демократические процедуры. На «вече» требовалось найти решение, которое не мог принять ни один из участников по отдельности. Это решение ожидалось из «трансцендентной» инстанции, которая проявляла себя через собрание. Поэтому все собрания открывались ритуалами, в ходе которых призывались боги и духи. По сути, именно они, действуя через людей, и принимали решение. В этом и состоит буквальный смысл римской поговорки «Vox populi — vox Dei» («Глас народа — глас Божий»).

Итак, в основе демократии лежит архаическая мистика коллективного экстаза, когда община «выходит» из себя навстречу коллективному духу («Богу»), который, напротив, «приходит» к ней.

Демократия основана на неравенстве, «идиотес»

Демократия ни в коей мере не признает индивидуального равенства. В ней есть жесткая черта, разделяющая тех, кто допускается к соучастию в «политическом экстазе решения», а кто — нет. Поэтому реальными участниками демократических процедур во всех обществах признавались лишь конкретные социальные группы. В разных обществах их структура была различной, но принцип включения одних в демократический процесс и исключения из него других — фундаментальный признак всех типов демократий.

В воинственных германских племенах на «тинг» допускались только свободные воины и жрецы. Но поскольку практически все члены этих племен (включая жрецов) были воинами, то германская военная демократия, вероятно, наиболее прямая и широкая. Из нее исключались только рабы, захваченные при набегах, женщины, дети и, естественно, чужаки. В греческих полисах, где установилась демократическая модель, например в Афинах, чтобы соучаствовать в демократии, надлежало быть «гражданином» полиса, что предполагало возведение своего рода к мифическим истокам полиса (знатность), обладание некоторым материальным состоянием и соответствие определенному моральному облику. Бедняки, рабы и женщины из демократических процедур также исключались, а «инородцы», в том числе знатные приезжие из других полисов, назывались «идиотес» («исключенный», «негражданин»). В основе современного клинического термина «идиот» лежит политическое понятие, обозначающее того, кто жестко отстранен от соучастия в демократии.

Во всех типах демократии отбор ее полноправных участников призван обеспечить беспрепятственную возможность «духу» («Богу», «богам») коллектива вмешиваться в судьбу общества.

Политическая модернизация: от демократии к тирании

В истории Запада, да и некоторых других цивилизаций, модернизация политической системы шла через отказ от демократии, чаще всего в пользу аристократии и монархии. Хотя и в этом случае священный характер власти сохранялся, индивидуальное рассудочное начало становилось всё более зримым. Политические решения принимались в большей степени уже личностями или отдельной личностью и тем самым приобретали всё более рациональный и чисто человеческий характер. Уходя от архаической демократии, цивилизация избегала соседства с богами, миром, где человеческое и божественное переплетались до неразличимости. Поэтому-то Аристотель и писал, что «демократия чревата тиранией». Тирания сменяет собой демократию — как более современный тип политического устройства, где впервые четко проявляется отдельный индивидуум, в нашем случае — тиран. В этом процессе «божественное» очеловечивается.

Парадокс Возрождения: «вперед в древнее»

Как же тогда понимать то обстоятельство, что в Новое время, в эпоху просвещения и прогресса, Европа обратилась именно к демократии, следы которой затерялись в западных обществах уже более двух тысячелетий назад? Ведь действительно, между древними демократическими Афинами и современными европейскими парламентскими

республиками многие века истории Запада знаменовались монархически-аристократическими политическими системами. Ответ коренится в эпохе Возрождения.

Этот период ответственен за многие парадоксы, которые дали о себе знать в последующем. В эпоху Возрождения европейский гений решил отбросить рациональные нормативы схоластики и освободить человеческое измерение. Обычно это толкуется как шаг вперед. Мало кто обращает внимание, что сами деятели Ренессанса в качестве образца брали именно древнего платонического человека и отбрасывали католические догматы не ради светской научности (которой еще не существовало), а ради магических, алхимических, герметических и мистических учений. Иными словами, они призывали к глубокой архаике, к экстатической практике переживания всецелой сакральности мира. И Марсилио Фичино, и Джордано Бруно, и Микеланджело были страстными поборниками платонизма, Древней Греции, искателями египетских мистерий и знатоками Каббалы. От этого наследия и идет в Европе интерес к демократии. Политическая демократия была обнаружена вместе с Плотином и Гермесом Трисмегистом, вместе с философским камнем и древними, казалось, безвозвратно покинувшими мир «богами».

Архаические признаки демократий Нового времени: суфражистки и Гитлер

Поэтому и в новой европейской истории то тут, то там мы встречаемся со всплесками архаического начала. Демократия сама становится чем-то «священным». Попробуйте только в беседе со среднестатистическим современным европейцем или американцем усомниться в демократии — увидите, что будет. Вы станете «изгоем», «негражданином»,

«идиотес». Сегодня это многим может показаться странным, но женщины в западном обществе получили право голосовать только через три века после введения демократических процедур в Европе — еще в конце XIX и начале XX века движение «суфражисток» (от *франц.* suffrage — «голосование») требовало «разрешить европейским женщинам голосовать наравне с мужчинами». В американской демократии чуть более ста лет назад еще действовал как расовый принцип (в правах были ограничены коренные жители Америки, индейцы, и завезенные из Африки рабы), так и имущественный ценз (наличие немалого состояния!), что ограничивало круг «избранных», допущенных к демократии. Американская политическая система дополнялась обширной деятельностью масонских лож и иных тайных обществ, которые обеспечивали и обеспечивают до сих пор американской демократии ее «священное» содержание. И наконец, совсем уже парадоксальный пример — становление нацистской Германии. Как получилось, что в развитой, современной, цивилизованной и просвещенной европейской стране в XX веке — веке цивилизации и прогресса — на основании абсолютно демократических процедур, при всеобщем народном одобрении к власти пришел человек, который восстановил в Германии даже не средневековый, но еще более архаический дух — с массовыми ритуалами, иррациональными паранаучными исследованиями и жесткой расовой сегрегацией? Здесь снова, как и во всех демократиях, в полной мере обнаружился принцип «отделения» — одни были допущены до экстатической практики, другие из нее строго отстранялись.

Глобальная демократия как царство антихриста

Демократия XXI в. внешне выдает себя за наиболее со-

временную политическую систему, пытается включить в себя всех индивидуумов, без различий в гражданстве, половой принадлежности, материальной обеспеченности, расовой и этнической специфике. Она опирается на теорию «прав человека». Но и в этом случае ни рациональности выбора, ни значения индивидуальности, ни равенства влияния на принятие решений нет и в помине. Разумность одного человека гасится безумием другого, и сквозь все попытки «модернизировать» демократию снова и снова проявляется ее древняя, извечная, абсолютно архаическая и в конечном счете иррациональная сущность (что «рационального» есть в обращении к расплывчатому экстатическому «духу»?!). Только теперь через проекты всемирного гражданского общества говорит не дух полиса, племени или народа, но некая иная, «обобщенная», «общечеловеческая» сущность, которую христианская традиция склонна трактовать как «князя мира сего». А нечленораздельное бормотание планетарных масс берутся толковать всё те же жреческие коллегии, выступающие сегодня под масками поборников «открытого общества» или «глобализации». И можно догадаться, кому они на самом деле служат.

Глава 4
Трансформации левых идеологий в XXI веке

Левая философия в кризисе

В отличие от ситуации, которая царила в сфере политических идей и проектов сто лет назад, говорить о наличии какого-то четко определяемого пространства для левого (социального, социалистического или коммунистического) проекта сейчас нет возможности. Дело в том, что в конце XX в. произошел фундаментальный кризис ожиданий, связанных с левым движением, левыми идеями, левой фи-

лософией и левой политикой. Это прежде всего связано с крахом СССР и распадом социалистического лагеря, а также с падением влияния и престижа европейского марксизма, который в определенный период стал практически «запасной идеологией» Западной Европы.

Вместе с тем и в лучшие времена левый проект не был чем-то единообразным и универсальным, а судьба реализации левых идей в конкретной политической практике разных народов показала, что даже с чисто теоретической точки зрения внутри самой левой политической философии существует несколько основных тенденций, изучать которые следует по отдельности.

Левая политическая философия изначально была задумана как фундаментальная, обобщающая и систематизированная критика либерал-капитализма. В середине XX в. возникло такое явление, как систематическая критика левого проекта (как со стороны либералов — Хайек, Поппер, Арон и т. д., так и со стороны неомарксистов и фрейдомарксистов), с самой левой идеологией философские школы проделали то же самое, что левый проект проделал с либерал-капитализмом сто—сто пятьдесят лет назад.

Три разновидности левой идеологии

С позиций сегодняшнего исторического опыта можно выделить три основных направления в левой политической философии, которые либо продолжают на новом витке прежние идеологические разработки, либо переосмысляют прошлое, либо предлагают что-то радикально новое. Это:

- *старые левые* («ветеро-гошисты»: от «ветеро-» (vetérant) — «старый» и «гошист» — от *франц.* «gauche» — «левый», «gauchiste» — «левак»);
- *левые националисты* («национал-коммунисты», «на-

ционал-большевики» или «национал-гошисты»);
- *новые левые* («неогошисты», постмодернисты).

Первые две тенденции существовали с конца XIX в. и на протяжении всего века XX, а в определенном качестве наличествуют и в сегодняшнем мире. Третье направление появилось в 1950—1960-е годы и развилось из критики старых левых, постепенно сформировавшись в течение постмодернизма, повлиявшего в большой мере на эстетику, стилистику и философию современного западного общества.

Старые левые сегодня (тупики ортодоксии, перспективы эволюционной стратегии и пролиберальный ревизионизм)

Старые левые в настоящее время делятся на несколько направлений:

- марксисты-ортодоксы;
- социал-демократы;
- пост-социал-демократы (сторонники «третьего пути», по Гидденсу).

Европейские марксисты-ортодоксы

По инерции они существуют в европейских странах, а также в США и странах третьего мира, продолжая отстаивать основные положения марксистского учения. Часто имеют политические воплощения в коммунистических партиях, исповедующих соответствующую идеологию. В большинстве случаев эти марксисты-ортодоксы слегка

смягчают (в духе еврокоммунизма) радикальность учения Маркса, отказываясь от призывов к революционному перевороту и установлению диктатуры пролетариата. Наиболее устойчивой формой марксистской ортодоксии оказалось троцкистское движение (IV Интернационал), которое почти не было затронуто распадом СССР и крахом советской системы, поскольку изначально исходило из жесткой критики советского строя.

Характерно, что наиболее ортодоксальные последователи Маркса встречаются в тех странах, где пролетарских социалистических революций не произошло, хотя сам Маркс предсказывал, что именно в наиболее развитых индустриально странах со сложившейся капиталистической экономикой этим революциям и суждено сбыться. Европейский марксизм в каком-то смысле смирился с тем, что марксистские предвидения реализовались не там, где должны были по всей логике реализоваться, а там, где они (следуя строгой линии Маркса—Энгельса), напротив, ни в коем случае осуществиться не могли. Отвергая советский опыт как историческую натяжку, эта разновидность старых правых практически не верит в успех марксистских пророчеств, но продолжает отстаивать свои взгляды скорее как верность «моральному чувству» и «идеологической традиции», нежели всерьез рассчитывая на революционное восстание пролетариата (которого в современном западном мире как класса, видимо, уже не существует — до такой степени он слился с мелкой буржуазией).

Самый главный недостаток западных марксистов-ортодоксов состоит в том, что они продолжают оперировать терминами индустриального общества, в то время как западноевропейское и особенно американское общество перешло на качественно новую стадию — постиндустриального (информационного) общества, о котором у классиков марксизма почти ничего не сказано, за исключением смут-

ных интуиций молодого Маркса о «реальной доминации капитала». Последняя — при отсутствии или провале социалистических революций — может прийти на смену «формальной доминации капитала», характерной для индустриального периода. Но и эти фрагментарные замечания у ортодоксов, как правило, не вызывают большого интереса и не ставятся в центр их внимания.

Постепенно прогностическое и политологическое значение такого старомарксистского дискурса сходит на нет, а значит, говорить об их идеях как о «проекте» — «левом проекте» — невозможно. При этом их критические замечания в адрес капиталистической системы, моральные взгляды, солидарность с обездоленными и критика либерализма могут вызывать определенный интерес и симпатию. Почти всегда представители этого направления относятся с недоверием к другим антилиберальным силам, закрыты для диалога и на глазах вырождаются в секту.

Европейские социал-демократы

Несколько отличаются от коммунистов-ортодоксов европейские социал-демократы. Это политическое течение также отпочковалось от марксизма, но уже с эпохи Каутского выбрало не революционный, а эволюционный путь, отказавшись от радикализма и поставив своей целью влиять в левом ключе (социальная справедливость, «государство благоденствия» — Etat-Provedance, Wellfare State и т. д.), парламентскими средствами и организованным профсоюзным движением. Эта версия старых левых достигла значительных результатов в европейских странах, в определенной мере предопределив социально-политический облик европейского общества — в резком отличии от США, где, напротив, безусловно преобладает праволибе-

ральная модель.

Смысл социал-демократического направления старых левых в настоящее время сводится к набору экономических тезисов, противоположных либеральным тенденциям. Социал-демократы выступают:

- за прогрессивный подоходный налог (либералы — за плоский);
- за национализацию крупных монополий (либералы — за приватизацию);
- за расширение ответственности государства в общественном секторе;
- за бесплатную медицину, образование, пенсионное обеспечение (либералы — за сокращение вмешательства государства в экономику, за частную медицину, образование и пенсионное страхование).

Эти требования социал-демократы стараются реализовать через парламентские электоральные механизмы, в критических случаях — через мобилизацию профсоюзов и общественных организаций, вплоть до стачек и забастовок.

Показательно, что для социал-демократии характерны либертарианские (не путать с либеральными!) лозунги:

- легализация легких наркотиков;
- защита сексуальных и этнических меньшинств и гомосексуальных браков;
- расширение индивидуальных прав и свобод граждан;
- развитие институтов гражданского общества;
- экология;
- смягчение уголовного законодательства (отмена смертной казни) и т. д.

Классические социал-демократы обязательно сочетают требования левой экономики (социальная справедливость, усиление роли государства) с расширением личных

прав и свобод граждан («права человека»), развитием демократии, интернационализма (сегодня принято говорить о «мультикультурализме» и «глобализации»).

Проектом классических социал-демократов, обращенным в будущее, является продолжение такой политики конкретных шагов по социально-политической эволюции в споре с правыми — как с либералами (в экономике), так и с национал-консерваторами (в политике). Чаще всего классические социал-демократы выступают также:

- за прогресс;
- за борьбу против архаических и религиозных предрассудков;
- за науку и культуру.

Вместе с тем серьезных теоретических разработок относительно новых условий постиндустриального общества в этом лагере не ведется, а критика классического марксизма и тематизация капитализма на новом историческом этапе (в отличие от постмодернистов и «новых левых») почти полностью отсутствуют.

Социалисты «третьего пути»

Еще одна версия старых правых — такое направление социал-демократов, которое перед лицом явного подъема либеральных идей в 1990—2000 годы решило пойти на компромисс с либерализмом. Теоретики этого направления (в частности, англичанин Энтони Гидденс) назвали его «третьим путем» — чем-то средним между классической европейской социал-демократией и американским (шире англосаксонским) либерализмом. Сторонники «третьего пути» предлагают найти компромисс между социал-демо-

кратами и либерал-демократами на основании общих идеологических корней, уходящих в Просвещение, и общего неприятия как консерватизма, так и левого экстремизма. Платформа компромисса выстраивается на взаимных уступках относительно конкретных договоренностей по поводу того, насколько социал-демократы согласятся понизить прогрессивный налог в сторону плоского, а либералы — повысить плоский в сторону прогрессивного. Относительно прав человека, гарантий меньшинствам и мультикультурализма принципиальных споров между ними и так нет (если не брать в расчет либерал-консерваторов, которые сочетают идею плоского подоходного налога с консервативными принципами семьи, морали, религии, как американские правые — республиканцы и «неоконы»).

Смысл проекта «третьего пути» по Гидденсу состоит в том, чтобы либералы и социал-демократы сотрудничали в деле построения европейского общества, основываясь на расширении личных свобод, сохранении института частной собственности, варьируя участие государства и механизмы перераспределения в каждом конкретном случае в заведомо установленных рамках. В отличие от классических социал-демократов и тем более европейских коммунистов, сторонники «третьего пути» с симпатией относятся к США и настаивают на укреплении атлантического сообщества (тогда как обычные левые — и старые, и новые — резко критикуют США и американское общество за либерализм, неравенство и империализм).

Если и есть настоящие ренегаты от левых движений, то это как раз последователи «третьего пути». Еще дальше, чем они, заходят разве что бывшие троцкисты (американские — основные теоретики неоконов — или европейские, например глава Еврокомиссии португалец Баррозу), которые поменяли свои взгляды от экстремистского коммуниз-

ма и революционного социализма на столь же радикальную защиту либерализма, рынка и экономического неравенства.

Левым проектом в случае социалистов «третьего пути» служит сохранение статус-кво.

Национал-коммунизм (концептуальные парадоксы, идеологические несоответствия, подземные энергии)

Совершенно особым явлением следует признать «национал-гошизм». В отличие от марксистской ортодоксии и социал-демократии это направление изучено гораздо слабее, и его корректная расшифровка — дело будущего. Дело в том, что сам национал-гошизм почти никогда не афиширует свою национальную составляющую, скрывая или даже громогласно отрицая ее. Следовательно, изучение прямого и откровенного дискурса самих национал-коммунистических движений, партий или режимов чаще всего осложняется тем фактом, что проговоренные тезисы либо соответствуют реальности наполовину, либо вообще не соответствуют ей. Осознанный, откровенный и цельный национал-гошистский дискурс мы встречаем только на периферии тех режимов и политических партий, которые, по сути, исповедуют и реализуют именно эту идеологическую модель, отказываясь, однако, в этом признаваться. Поэтому национал-гошизм уворачивается от лобового рационального исследования, предпочитая хранить половину этого явления: всё, что связано с «национал-», — в тени.

Сами национал-коммунисты считают себя «просто коммунистами», «марксистами-ортодоксами», строго следующими учению коммунистических классиков. Чтобы понять, о чем же идет речь на самом деле, достаточно привести такой критерий: социалистические (пролетарские) революции победили только в тех странах, которые Маркс

считал совершенно не готовыми к этому в силу:

- их аграрного характера;
- недоразвитости (а то и отсутствия) капиталистических отношений;
- малочисленности городского пролетариата;
- слабой индустриализации;
- сохранения основных социальных условий традиционного общества (то есть в силу их принадлежности к Премодерну).

И в этом состоит фундаментальный парадокс марксизма: там, где социализм должен был победить и где сложились для этого все условия, он не победил, хотя чисто теоретически именно там существовали и отчасти сохраняются до сих пор ортодоксально-марксистские течения и партии. А там, где социалистические революции победить, согласно Марксу, никак не могли, они как раз победили и восторжествовали. Это явное несоответствие прогнозам своего учителя сами победившие коммунисты — в первую очередь русские большевики — тщательно старались скрыть, заретушировать и никогда не подвергали концептуальному анализу, предпочитая волюнтаристски подстроить реальность под свои умозрительные конструкции — искусственно и механически подогнав общество, политику и экономику под абстрактные критерии. И лишь сторонние наблюдатели (симпатизанты или критики) заметили этот национал-коммунистический характер удавшихся марксистских революций и распознали их движущую силу и фактор, обеспечивший им успех и устойчивость в национальной архаической стихии, мобилизованной марксизмом как национально интерпретированным эсхатологическим мифом. Одним из первых это заметил Сорель, позже Устрялов, Савицкий, немцы Никиш, Петель, Лауффенберг,

Вольфхайм и т. д. — со стороны симпатизантов, Поппер, Хайек, Кон, Арон — со стороны критиков.

Национал-коммунизм царил в СССР, коммунистических Китае, Корее, Вьетнаме, Албании, Кампучии, а также во многих коммунистических движениях третьего мира — от мексиканских «чиапос» и перуанской «Камино луминосо» до Курдской рабочей партии и исламского социализма. Левые — социалистические — элементы присутствовали и в фашизме Муссолини, и в национал-социализме Гитлера, но в этом случае эти элементы были фрагментарны, несистематизированы и поверхностны, проявляясь больше в маргинальных или спорадических явлениях (левый итальянский фашизм в его ранней футуристской фазе и Итальянская социальная республика, левый антигитлеровский национал-социализм братьев Штрассеров или антигитлеровское подполье национал-большевиков Никиша и Шульце-Бойсена и т. д.). Хотя, казалось бы, по формальным признакам и названию мы должны отнести к этой категории национал-социализм, но социализма как такового в чистом виде там не было — скорее этатизм, помноженный на заклинание архаических энергий этноса и «расы». А вот в советском большевизме, очень точно распознанном сменовеховцем Николаем Устряловым как «национал-большевизм», совершенно наглядно присутствуют оба начала: и социальное, и национальное, хотя на сей раз именно «национальное» концептуального оформления так и не получило.

До сих пор многие политические движения, например в Латинской Америке, вдохновляются именно этим комплексом идей, а политические режимы Кубы, Венесуэлы или Боливии (Эво Моралес — первый правитель Южной Америки, имеющий индейское происхождение) или Ольянта Умала, сторонники которого близки к захвату власти в Перу, и иные национал-коммунистические движения яв-

ляются полноценными политическими реалиями. На них либо уже основывается государственный строй, либо это вполне может случиться в близком будущем. И везде, где у коммунизма есть реальный шанс, там мы имеем дело с левыми идеями, помноженными на национальные (этнические, архаические) энергии и осуществляющимися в условиях традиционного общества. По сути, это неортодоксальный марксизм, своего рода национал-марксизм (как бы он сам себя ни оценивал). А там, где есть все классические предпосылки для реализации (индустриальное общество, развитая промышленность, городской пролетариат и т. д.), там социалистические революции не происходили (за исключением эфемерной Баварской республики), не происходят и, скорее всего, не произойдут никогда.

Смысл левого национализма (национал-гошизма) состоит в мобилизации архаического начала (как правило, локального) на то, чтобы вырваться на поверхность и проявить себя в социально-политическом творчестве. Здесь вступает в дело социалистическая теория, которая служит своего рода «интерфейсом» для этих энергий, которые без него вынуждены были бы остаться строго локальным явлением, а благодаря марксизму — пусть своеобразно понятому и проинтерпретированному — эти национальные энергии получают возможность сообщаться с иными аналогичными по природе, но иными по структуре явлениями и даже претендовать на универсальность и планетарный размах, преобразуя благодаря социалистической рациональности разогретый национализм в мессианский проект.

Грандиозный опыт СССР показывает, насколько масштабным может быть национал-коммунистическая инициатива, создавшая почти на столетие фундаментальную головную боль для всей мировой капиталистической системы. А Китай и сегодня в новых условиях — всё больше акцентируя именно национальную составляющую своей

социально-политической модели — доказывает, что этот фундамент, своевременно и деликатно преобразованный, может оставаться конкурентоспособным даже после мирового триумфа либерал-капитализма. Опыт Венесуэлы и Боливии, со своей стороны, иллюстрирует, что национал-коммунистические режимы возникают и в наше время и демонстрируют свою жизнеспособность перед лицом серьезного давления. Северная Корея, Вьетнам и Куба попрежнему сохраняют свою политическую систему с советских времен, не предпринимая таких рыночных реформ, как Китай, и не сдавая своих позиций, как СССР.

С теоретической точки зрения в явлении национал-гошизма мы имеем дело с марксизмом, перетолкованным в духе архаических эсхатологических ожиданий, глубинной национальной мифологии, связанной с ожиданием «конца времен» и возвращения «золотого века» (карго-культы, хилиазм). Тезис о справедливости и «государстве правды», на которых построена социалистическая утопия, осознается религиозно, что пробуждает фундаментальные тектонические энергии этноса.

Есть ли сегодня у национал-гошизма проект будущего? В законченной форме нет. Этому препятствует ряд факторов:

- сохраняющийся шок от провала советского национал-коммунизма (русские евразийцы еще в 1920-е предсказывали этот провал в случае, если советское руководство не осознает важность обращения к национальной и религиозной стихии напрямую, повернувшись к ней лицом);
- отсутствие концептуализации и рационализации национальной составляющей в общем идейном комплексе национал-коммунистических движений и идеологий (подавляющее большинство людей этого идейного на-

правления искренне считают себя «просто марксистами» или «социалистами»);

- слабая институциональная коммуникация национал-большевистских кругов между собой в мировом масштабе (на эту тему практически не проходит серьезных и масштабных конференций, не издается теоретических журналов или они остаются чем-то маргинальным, не ведется философских разработок).

И тем не менее, на мой взгляд, у национал-гошизма вполне может быть глобальное будущее, поскольку у многих сегментов человечества архаические, этнические и религиозные энергии еще далеко не растрачены — чего не скажешь о жителях модернистического просвещенного и рационального Запада.

Новые левые (антиглобализм, постмодернистские маршруты, лабиринты свободы, к пришествию постчеловечества)

Полнее всего соответствует на сегодняшний день словосочетанию «левый проект» то, что принято называть «новыми левыми» («неогошизм»), или «постмодернизмом». Среди всего спектра левых идей в начале XXI в. именно это направление является не только самым ярким, но и самым продуманным, интеллектуально выверенным и систематизированным.

«Новые левые» появились в 1950—1960-е годы в Европе на периферии левого фланга марксистов, троцкистов и анархистов. Маркс для них был sine qua non, но вместе с тем они активно пользовались и иными теоретическими и философскими источниками, в отличие от «старых левых» без колебаний вводя заимствованные элементы в собственные теории. Поэтому марксизм в этом направлении активно расширялся, постоянно сопоставлялся с иными

философскими концепциями, развивался, переосмыслялся, подвергался критике — одним словом, стал объектом сконцентрированной рефлексии. Такое вольное отношение «новых левых» к марксизму дало двоякие результаты: с одной стороны — он размылся; с другой — существенно модернизировался.

На философию «новых левых» огромное влияние оказали так называемые «философы подозрения», к которым помимо Маркса относят Фрейда и Ницше. Через Сартра, классика «новых левых», в левое движение проникли глубокое влияние Мартина Хайдеггера и экзистенциалистская проблематика. Колоссальное значение оказал структурализм — от главного теоретика структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра до Леви-Стросса. В философском смысле «новые левые» и были структуралистами, а со второй половины 1980-х, развивая этот философский импульс дальше, они перешли к «постструктурализму», подвергнув систематической критической рефлексии уже свои собственные взгляды 1960—1970-х.

«Новые левые» отнеслись к марксизму со структуралистской позиции — то есть посчитали главной у Маркса идею о фундаментальном влиянии базиса (в обычном случае — буржуазного общества, тщательно скрытого от идеологического осознания) на надстройку. Марксовский анализ идеологии как «ложного сознания» стал для «новых левых» ключом к интерпретации общества, философии, человека, экономики. Но тот же самый ход мысли они обнаружили и у Ницше, возводившего весь спектр философских идей к изначальной «воле к власти» (это и был «базис» по Ницше), и у Фрейда, для которого «базисом» выступали «подсознание» и «бессознательные импульсы», коренящиеся в минеральных основах человеческой сексуальности и в ее первичных структурализациях в раннем детстве. На это накладывалась хайдеггеровская модель, где

«базисом» служил факт «чистого экзистирования» — Dasein («вот-бытие»). Все разновидности расшифровки «базиса» «новые левые» сводили к обобщающей схеме, где роль «базиса» как такового — независимо от конкретной философской тенденции — перенесена на понятие «структуры». «Структура» — это одновременно и производственные силы, отраженные в производственных отношениях, и подсознание, и «воля к власти», и Dasein.

Основная идея «новых левых» заключалась в том, что буржуазное общество есть результат многогранного «насилия» и «подавления» «надстройкой» (буржуазной политической системой, обыденным сознанием, властными элитами, общепринятыми философскими системами, наукой, обществом, рыночной экономикой и т. д.) «базиса» или «структуры» (также понятых чрезвычайно широко — включая «бессознательное», «пролетариат», «телесность», «массы», опыт аутентичной экзистенции, свободу и справедливость). Таким образом, «новые левые» в отличие от старых левых начали системное критическое наступление на капиталистическое общество сразу по всем направлениям — от политики (события мая 1968 г. в европейских столицах) до культуры, философии, искусства, самого представления о человеке, рассудке, науке, реальности. В ходе этой огромной интеллектуальной работы (на которую, кстати, ни старые левые, ни национал-гошисты не обращали ни малейшего внимания) «новые левые» пришли к выводу, что капитализм не только «социально-политическое зло», но и фундаментальное выражение глобальной лжи относительно человека, реальности, разума, общества, и, следовательно, в капиталистическом обществе как в результирующем моменте концентрируется вся история отчуждения. «Новые левые» реанимировали идеи Руссо относительно «доброго дикаря» и предложили развернутую панораму того идеального общества, где нет места ни экс-

плуатации, ни отчуждению, ни лжи, ни подавлению, ни вытеснению, по аналогии с архаическими группами, которым свойственна «экономика дара» (М. Мосс).

Анализ «новых левых» показал, что новое время не только не реализовало на практике свои «освободительные» лозунги, но и сделало диктатуру отчуждения еще более жесткой и отвратительной, хотя и скрытой за «демократическим» и «либеральным» фасадом. Так сложилась теория Постмодерна, основанная на том, что в самой основе картины мира, науки, философии и политических идеологий, сложившихся еще на заре эпохи Модерна или по ходу ее развития, лежат натяжки, погрешности, заблуждения и «расистские» предрассудки, которые даже теоретически блокируют возможность освобождения «структуры» («базиса») от диктатуры «надстройки». Это привело к пересмотру философской традиции Нового времени с «разоблачением» тех механизмов, которые концентрируют в себе узлы отчуждения. Подобная практика получила название «деконструкции», что предполагает внимательный и тщательный структурный анализ контекста, откуда произошла та или иная идея, с подробным вычленением содержательного ядра из пласта пафоса, морализаторства, риторических фигур и сознательных передергиваний. Фуко в «Истории безумия» и «Рождении клиники» показал, что современное отношение к психическим расстройствам и, шире, к болезни как таковой носит все признаки интеллектуального «расизма», «апартеида» и иных тоталитарных предрассудков, что становится очевидным в приравнивании больных к преступникам и структурном тождестве пенитенциарных и терапевтических учреждений, на первых этапах Нового времени бывших одним и тем же.

Буржуазное общество, несмотря на его мимикрию и «демократический» фасад, оказывается обществом «тоталитарным» и «дисциплинарным». Причем центром этой

либеральной диктатуры «новые левые» признают глубинные и почти никогда не ставящиеся под сомнения нормативные представления о рассудке, науке, реальности, обществе и т. д., а не только те или иные политические и экономические механизмы, которые есть далекое следствие более глубоких механизмов отчуждения.

В этом состоит главное отличие «новых левых» от «старых левых»: «новые левые» ставят под сомнение структуры рассудка, оспаривают основательность концепции реальности, разоблачают позитивную науку как мистификацию и диктатуру «академических кругов» (Фейерабенд, Кун), резко критикуют концепцию «человека» как «тоталитарную абстракцию». Они не верят, что можно что-то изменить путем эволюции в левом ключе существующей системы, но также оспаривают эффективность радикального марксизма, замечая: там, где он должен был победить, такого не происходит, а там, где побеждает, это не ортодоксальный марксизм (от Троцкого они заимствуют критику сталинизма и советского опыта).

Итак, «новые левые» формулируют обширный проект «правильного» будущего, в котором центральное место занимают:

- отказ от рассудка (призыв к сознательному выбору шизофрении у Делёза и Гваттари);
- отмена человека как меры вещей («смерть человека» у А.-Б. Леви, «смерть автора» у Р. Барта);
- преодоление всех сексуальных табу (свобода выбора пола, отмена запрета на инцест, отказ от признания извращений извращениями и т. д.);
- легализация всех типов наркотиков, включая тяжелые;
- переход к новым формам спонтанного и спорадического бытия («ризома» Делёза);
- разрушение структурированного общества и государст-

ва в пользу новых свободных анархических общин.

Политическим манифестом этих тенденций можно считать книгу А. Негри и М. Хардта «Империя», где даны упрощенные до примитивности тезисы современных «новых левых». Глобальную капиталистическую систему Негри и Хардт называют «Империей» и отождествляют с глобализмом и американским мировым господством. По их мнению, глобализм создает условия для универсальной планетарной «революции множеств», которые, используя всеобщий характер глобализма и его возможности коммуникации и распространения открытых знаний, создадут сеть мирового саботажа — для перехода от человека (выступающего субъектом и объектом насилия, иерархических отношений, эксплуатации и «дисциплинарных стратегий») к постчеловеку (мутанту, киборгу, клону, виртуалу), свободному выбирать пол, внешность и индивидуальную рациональность по своему произволу и на любой промежуток времени. Это, считают Негри и Хардт, приведет к освобождению креативных потенций «множеств» и однажды взорвет глобальное могущество «Империи». Эта тема неоднократно обыгрывалась в кинематографе в популярных фильмах «Матрица», «Бойцовский клуб» и т. д.

Антиглобалистское движение в целом ориентировано именно на подобный проект будущего. И такие мероприятия, как «Конференция в Сан-Паулу», где антиглобалисты впервые попытались наметить общую стратегию, свидетельствуют, что новый левый проект нащупывает формы конкретной политической реализации. Множество конкретных действий — гей-парады, экологические акции, антиглобалистские выступления и погромы, волнения эмигрантских предместий в европейских городах, бунты «автономов» по защите сквотов, широкие социальные протесты новых профсоюзов, всё более напоминающие карнавал,

движение за разрешение наркотиков, экологические акции протеста и т. д. — вписываются в это направление.

Более того, постмодернизм как художественный стиль, ставший мейнстримом современного западного искусства, выражает именно эту «новую левую» политическую философию, входя через картины, дизайн или фильмы Тарантино и Родригеса в наш быт, без предварительного политико-философского анализа, опережая сознательный выбор, навязывая нам себя помимо нашей воли. Этому сопутствует и повальное распространение виртуальных коммуникационных технологий, которые в самой своей системе несут неявное приглашение к Постмодерну, рассеянию на постчеловеческие, гедонистические фрагменты. SMS- и MMS-сообщения, блоги и видеоблоги Интернета, флешмобы и иные привычные занятия современной молодежи по сути представляют собой реализацию отдельных сторон «нового левого» проекта, пока, правда, контролируемого буржуазной системой, охотно наживающейся на моде — которую на сей раз задает не она, а ее скрытый противник.

Здесь следует сказать два слова об отношениях «новых левых», антиглобалистов к современным либералам и глобалистам. Как в свое время Маркс считал, что капитализм при всех его ужасах более прогрессивен, нежели феодализм и Средневековье (ведь он приближает приход социализма), так и современные постмодернисты и «новые левые», ожесточенно критикуя «Империю», до какой-то степени с ней солидарны, так как она, по их мнению, усугубляя отчуждение и ужесточая свою планетарную диктатуру, подспудно готовит «мировую революцию» множеств.

Левые в современной России

Теперь в заключение скажем несколько слов о положе-

нии дел с левыми силами в современной России. На практике мы видим, что «старых левых» в полноценном смысле слова у нас нет и в помине, как не было их и в советское время. Группа советских марксистов-диссидентов (Зиновьев, Щедровицкий, Медведев) не в счет, поскольку никакой заметной школы им создать не удалось.

Национал-коммунисты, напротив, представляют собой широкие и социальные, и психологические, и политические пласты, флагманом которых в наше время выступает КПРФ. Поскольку вся советская история — ознаменованная победой социализма (верный признак работы архаического начала) — есть история неосознанного национал-гошизма, то такая устойчивая тенденция не удивительна.

На первых этапах создания КПРФ Зюгановым (не без некоторого участия с моей стороны и Проханова, что выражалось в позиции газеты «День» («Завтра») в начале 1990-х) делались попытки осмыслить и концептуально оценить наличие национального компонента в советском мировоззрении (национал-большевизм), но эта инициатива вскоре была заброшена руководством КПРФ, занявшимся какими-то другими — видимо, более важными для него — делами. Впрочем, на уровне риторики и первичных реакций российские коммунисты во всех смыслах выступают как завзятые националисты-консерваторы, а подчас и «православные монархисты».

Более того, среднестатистические россияне — особенно среднего и старшего поколения — в большинстве своем бессознательные национал-гошисты. Они поддерживают этот комплекс идей всегда, когда представляется возможность (партия «Родина»), и истолковывают в таком ключе многое, что не имеет к этому никакого отношения (социал-консерватизм «Единой России», да и самого Путина). Те же маргинальные группы, которые, подражая европейскому неонацизму, пытаются вынести сочетание «национал-социализм» в свое название, как раз «национал-гошистами» ни-

когда не были, поскольку имитируют (как правило, от умственной неполноценности) гаджеты гитлеровского режима, как бы продолжая играть в солдатиков в песочнице или смотреть сериал «Семнадцать мгновений весны», восхищаясь черной, как крыло ворона, формой Броневого-Мюллера. Проект НБП, который я в свое время собирался превратить в аутентичный русский осознанный национал-гошизм с опорой на теории Устрялова, Никиша и левых евразийцев, увы, выродился к концу 1990-х в хулиганское, бессмысленное образование, а потом и вовсе перешел служить антироссийским оранжевым ультралиберальным силам, подкармливаемым Западом (что полностью противоречит базовым установкам «национал-большевизма», представляющего собой и в теории, и на практике осознанный левый — а значит, жестко антилиберальный, русский патриотический — следовательно, антизападный — проект).

«Новые левые» и постмодернисты в политическом спектре России практически не представлены, философский дискурс Постмодерна для них слишком сложен. Крохотная группка «сознательных» («представительских») антиглобалистов существует, но известна больше на Западе и ничего серьезного (ни в организационном, ни в теоретическом смысле) собой не представляет. В российском искусстве — в частности, на «Винзаводе» или в галерее Гельмана, а также в российском кино — постмодернистские тенденции, напротив, довольно отчетливо видны и их художественные выражения подчас внушительны. Книги Сорокина или Пелевина представляют Постмодерн в литературной форме.

Более того, среднестатистический художественный или даже технологический (что еще важнее!) продукт Запада несет в себе немалый заряд подспудного Постмодерна, заселяя тем самым российское культурное пространство активно действующими знаками, которые выковываются в творческих лабораториях «новых левых», а потом ставятся на поток глобальной индустрией, извлекающей из них

краткосрочную выгоду (и постепенно подтачивающей свои устои). Россия выступает здесь в роли инертного потребителя, не понимающего политического и идеологического значения того, что она приобретает автоматически — следуя моде или мировым трендам (забывая, что у каждого тренда есть, как говорят постмодернисты, тренд-сеттеры — те субъекты, которые запускают определенный тренд с особой целью).

Глава 5
Что такое консерватизм?

Мы — в Постмодерне

Процесс, который имеет действительно глобальный характер — это процесс *победившего модерна, переходящего в Постмодерн*. Есть центры, очаги, локусы, регионы, где этот процесс идет логично и последовательно. Это Запад, Западная Европа и, особенно, Соединенные Штаты Америки, где была историческая возможность создать в лабораторных условиях *оптимальное общество модерна* на основании тех принципов, которые разработала западноевропейская мысль. Создать с чистого листа, без отягощающих европейских традиций, на «пустом» месте — индейцев к людям, как известно, не относили. У Майкла Хардта и Антонио Негри в их книге «Империя»[1] показано, что американская Конституция изначально рассматривала негров как второсортных людей, а индейцев не рассматривала как людей вообще. Таким образом, специфическая американская система была идеальным местом для реализации максимальной свободы, но только для белых и за счет определенной эксклюзии всех остальных. В любом случае, Соединенные Штаты Америки являются авангардом свободы и ло-

---

[1] *Хардт М., Негри А.* Империя. М., 2004.

комотивом перехода к Постмодерну.

Полюс свободы и свобода выбора телеканалов

Мы говорили о полюсе, которым является западноевропейская цивилизация, но внутри пространства мысли, в философии, в географии человеческого духа полюсом однополярного мира является нечто другое, нежели США и Европа как чисто геополитические образования, а именно, идея *максимальной свободы*. И движение к достижению этой свободы является *смыслом человеческой истории*, как ее понимает западноевропейское человечество. Это понимание смысла истории западноевропейское общество сумело навязать всему остальному человечеству.

Итак, существует полюс однополярного мира — это полюс свободы, который дошел от модерна и сейчас переходит к новой стадии, к Постмодерну, где человек начинает освобождаться от самого себя, поскольку он сам себе препятствует, мешает и надоел. Он рассыпается на индивидуальные шизомассы, как описано в «Антиэдипе» Делёза.

Люди стали созерцателями телевизора, научились лучше и быстрее переключать каналы. Многие вообще не останавливаются, щелкают пультом, и уже не важно, что показывают — артистов или новости. Зритель Постмодерна в принципе ничего не понимает из того, что происходит, просто идет поток картинок, которые впечатляет. Телезритель втягивается в микропроцессы, становится недо-зрителем, «субспектатором», который смотрит не программы или каналы, а отдельные сегменты, секвенции программ. В этом отношении идеальным фильмом является «Дети шпионов-2» Родригеса. Он построен так, что в нем нет никакого смысла. Но отвлечься от него невозможно, потому что, как только нашему сознанию надоедает его смотреть,

в это время мгновенно появляется летающая свинья, и мы должны посмотреть, куда она летит. И точно так же, когда летающая свинья нам надоедает, в это время из кармана у главного героя вылезает маленький дракончик. Это произведение Родригеса безупречно. В принципе, приблизительно такого же эффекта достигает человек, который все время неутомимо щелкает пультом. Единственный канал, который работает в другом ритме — это «Культура», потому что там есть еще неспешные истории про композиторов, деятелей искусства, учащихся, театры — то есть остатки модерна. И если его убрать из списка, то дальше можно спокойно щелкать каналами, не ожидая встретить что-то такое, что идет не в том ритме, в котором нужно жить.

Парадоксы свободы

Итак, приходит Постмодерн. *Что ему может противостоять*? И можно ли сказать ему «нет»? Это принципиальный вопрос.

Кстати, исходя из того же либерального тезиса о том, что человек свободен, подразумевается, что он всегда способен сказать «нет», сказать *всему чему угодно*. Вот в этом-то и заключается опасный момент философии свободы, которая под эгидой абсолютизации свободы начинает *изымать свободу сказать «нет» самой свободе*. Западнолиберальная модель говорит: вы хотите противостоять нам? Пожалуйста, вы имеете право, но вы же стиральную машину назад не «распридумаете»? Стиральная машина является абсолютным аргументом сторонников прогресса. Ведь все хотят иметь — и негры, индейцы, и консерваторы, и православные — стиральную машину. И коммунисты тоже по другой логике говорили о необходимости и необратимости смены формации. Они говорили, что социализм

придет *после* капитализма. Социализм пришел, хотя у нас капитализма толком и не было, побыл какое-то время, уничтожил довольно много людей и исчез. Точно так же и со стиральной машиной. Если задуматься о метафизике стиральной машины, насколько она сопряжена с реальными ценностями философской системы, то можно будет прийти к выводу, что, в общем, человеческая жизнь возможна без стиральной машины и может быть вполне счастливой. Но для либерального общества это страшная вещь, почти святотатство. Все можно понять, но жизнь без стиральной машины? Это уже настоящее ненаучное высказывание: жизнь без стиральной машины невозможна. Ее нет. Жизнь и есть стиральная машина. В этом заключается действие силы либерального аргумента, который поворачивается тоталитарной стороной. В освобождении всегда есть элемент какого-то принуждения — это парадокс свободы. Хотя бы принуждения к тому, чтобы думать, что свобода — это *высшая ценность*. Представьте себе, один человек говорит: «свобода — высшая ценность». Другой возражает: «ничего подобного». Тогда первый отвечает: «Ты против свободы? За свободу убью».

В либерализме заложена идея, что альтернативы ему быть не может. И в этом есть какая-то правда. Если логос встал на пути свободы, если социальный логос втянулся в авантюру тотального освобождения, где же произошел первый толчок в этом направлении? Его нужно искать не тогда, когда пришел Декарт, Ницше или XX век, а где-то у досократиков. Хайдеггер видел этот момент в концепции «фюзис» и в полном раскрытии в учении Платона об идеях. Но важно другое — движение логоса к свободе неслучайно и тем не менее ему можно сказать «нет».

Консерватизм как отвержение логики истории

Есть тем не менее онтологическая возможность сказать «нет». И с этого начинается *консерватизм.*

Первое, что такое консерватизм? Это «нет», сказанное тому, что *есть* вокруг. Во имя чего? Во имя чего-то, что *было раньше.* Во имя того, что, собственно говоря, и преодолевалось в ходе социально-политической истории. То есть консерватизм есть занятие онтологической, философской, социально-политической, индивидуальной, нравственной, религиозной, культурной, научной позиции, которая отрицает тот ход вещей, с которым мы сейчас сталкиваемся, который мы идентифицировали и описали ранее.

Мы поговорим сейчас о консерватизме и о том, отталкиваясь от какой социально-философской топики, можно *отрицать саму логику истории*, приводящую к Модерну и Постмодерну. Мы берем Новое время с его линейным вектором прогресса и с его постмодернистическим искривлением, уводящим нас в лабиринты рассеяния индивидуальной реальности в ризоматическом субъекте или постсубъекте. Но можно включить сюда и ранние стадии, которые сделали эту тенденцию возможной и главенствующей. Консерватизм строит свою позицию на противопоставлении логике развертывания исторического процесса. А аргументом в этом противопоставлении служит феноменология модерна и — в наше время — Постмодерна, от неприятия которой консерватизм отталкивается. Но консерватизм как структура не сводится к оспариванию феноменов. Отрицательно оцененная феноменология здесь не более чем предлог. Консерватизм строит топику, отрицающую логику, работу и направленность исторического времени.

Консерватизм может выстраивать свою оппозицию историческому времени по-разному. У него есть три фундаментальные возможности обращения с концептуальным трендом — Модерн-Постмодерн. И с этого начинается систематизация или структуризация консерватизма. Это систематизация без каких либо предпочтений, потому что речь

идет о научном, а не об оценочном суждении.

Фундаментальный консерватизм: традиционализм

Первый подход — это так называемый традиционализм. Консерватизм вполне может быть традиционализмом. В некоторых политологических моделях традиционализм и консерватизм различают, как, например, у Мангейма. Но тем не менее стремление оставить все как было в традиционном обществе, сохранить этот уклад является, безусловно, консерватизмом.

Наиболее логичным традиционализмом — содержательным, философским, онтологическим и концептуальным — является тот, который критикует не различные стороны Модерна и Постмодерна, но отвергает фундаментальный вектор исторического развития — то есть, по сути, *оппонирует времени*. Традиционализм — это та форма консерватизма, которая утверждает: плохо не те отдельные фрагменты, которые вызывают наше отвержение — в современном мире, в современности *плохо все*. «Плоха идея прогресса, плоха идея технического развития, плоха философия субъекта и объекта Декарта, плоха ньютоновская метафора часовщика, плохи современная позитивная наука и построенное на ней образование, педагогика». «Эта эпистема, — рассуждает консерватор-традиционалист далее, — никуда не годится. Это тоталитарная, ложная, негативная эпистема, с которой нужно бороться». И дальше, если продолжать его мысль: «мне нравится только то, что было до начала модерна». Можно идти еще дальше и подвергнуть критике те тенденции, которые в самом традиционном обществе сделали возможным появление модерна. Вплоть до появления идеи линейного времени.

Такой традиционалистский консерватизм, после того как пали монархии, церковь была отделена от государства, когда все социально-политические, культурные, исторические народы приняли эстафету модерна, посчитали *несуществующим.* В России он был изведен воинствующими безбожниками. С какой-то точки зрения это действительно так. Так как он считался полностью изжитым, о нем почти перестали говорить, стоящих на этой позиции социальных групп практически не осталось, и вскоре он исчез даже из некоторых политологических реконструкций (у Мангейма). Поэтому мы его не видим, начинаем не с него. И напрасно. Если мы хотим проследить генеалогию консерватизма и выстроить законченную топику консервативных позиций, мы должны приоритетно изучить именно такой подход. В традиционализме мы имеем полноценный и наиболее законченный комплекс консервативного отношения к истории, обществу, миру.

В XX веке, когда, казалось бы, уже для такого консерватизма вообще не осталось никакой социальной платформы, внезапно появляется целая плеяда мыслителей, философов, которые, как ни в чем не бывало, начинают отстаивать эту традиционалистскую позицию — причем с радикальностью, последовательностью и упорством, не мыслимыми в XIX или XVIII веке. Это Рене Генон, Юлиус Эвола, Титус Бурхардт, Леопольд Циглер и все те, кого называют «традиционалистами» в узком смысле этого слова. Показательно, что в XIX веке, когда еще были монархии и церкви, когда еще Папа Римский что-то решал, людей со столь радикальными взглядами не было. Традиционалисты выдвинули программу *фундаментального консерватизма,* когда с Традицией дело обстояло совсем плохо. Таким образом, фундаментальный консерватизм смог сформироваться в философскую, политическую и идеологическую

---

[1] *Повель Л., Бержье Ж.* Утро магов. М.: Самотека, 2008.

модель, когда модерн уже практически завоевал все позиции, а не тогда, когда он только еще завоевывал и с ним активно боролись определенные политические и социальные силы.

У ряда политологов была попытка отождествить или связать в XX веке явление фундаментального консерватизма с фашизмом. Некто Луи Повель и Жак Бержье, авторы книги «Утро магов»[1], написали: «*фашизм есть генонизм плюс таковые дивизии*». Это, конечно, совершенно не так. Мы говорили о том, что фашизм — это скорее философия модерна, которая в значительной степени контаминирована элементами традиционного общества, но она не выступает ни против модерна, ни против времени. Более того, и Генон и Эвола жестко критиковали фашизм.

Генон и Эвола дали в своих работах исчерпывающее описание фундаментал-консервативной позиции. Они описали традиционное общество как вневременной идеал, а современный мир (модерн) и его основные принципы — как продукт упадка, деградации, вырождения, смешения каст, разложения иерархии, переноса внимания с духовного на материального, с небесного на земное, с вечного на преходящее и т. д. Позиции традиционалистов отличаются безупречной стройностью и масштабностью. Их теории могут служить образцом консервативной парадигмы в ее чистом виде.

Конечно, некоторые их оценки и прогнозы оказались неверными. В частности, оба предвосхищали победу «четвертой касты», то есть пролетариата (СССР) над «третьей кастой» (капиталистический лагерь), что оказалось неверно. Выступали против коммунизма, не совсем понимая, насколько много в нем было традиционных элементов. Некоторые их оценки нуждаются в коррекции. На одном конгрессе в Риме, посвященном 20-летию со смерти Эволы, мною была прочитана лекция «Evola — visto da sinistra» («Эвола — взгляд слева»), где предлагалось рассматривать

Эволу — а он себя считал правым, даже крайне правым — с левых позиций.

Фундаментал-консерваторы в наше время

В нашем обществе тоже есть фундаментал-консерватизм. Во-первых, тот же исламский проект — это фундаментал-консерватизм. Если его отслоить от негативной рекламы и посмотреть, как теоретически должны были бы чувствовать и мыслить мусульмане, которые ведут борьбу против современного мира, мы увидим, что они стоят на типичных позициях фундаментал-консерваторов. Они должны верить в букву каждого слова «Корана», игнорируя любые комментарии со стороны проповедников толерантности, порицающие их взгляды, находящие их жестокими и устарелыми. Если по телевизору фундаменталист сталкивается с таким комментатором, то приходит к простому умозаключению: телевизор вместе с этим комментатором нужно выбросить.

Есть такого же рода направления и в Америке — среди фундаменталистских протестантских групп. И, как ни странно, приблизительно таких взглядов придерживается значительный процент электората Республиканской партии США. А телепрограммы с этими протестантскими фундаменталистами, которые, с протестантской точки зрения, критикуют в Модерне и Постмодерне все что можно, не оставляя от него камня на камне, в США смотрят миллионы телезрителей. Существует огромное количество телепроповедников, таких как Джерри Фалвелл (старший), которые критикуют, по сути дела, современный мир во всех его основаниях и трактуют все события с точки зрения протестантской версии христианства.

Такого рода люди находятся и в православной, и в като-

лической среде. Они отрицают модерн структурно и полностью, считая предписания религии абсолютно актуальными, а современность и ее ценности — выражением царства антихриста, в котором ничего хорошего по определению быть не может. Эти тенденции развиты у русских старообрядцев. До сих пор на Урале есть «Параклитово согласие», которое отказывается от электрических лампочек. Лампочки — это «свет Люцифера», поэтому они используют только лучины и свечи.

Иногда это доходит уже до очень глубокого проникновения в суть вещей. Один старообрядческий автор утверждает, что «тот, кто будет кофий пить, на того коф лукавый нападет, а тот, кто будет чай пить, тот от Бога отчаится». Другие утверждают, что ни в коем случае нельзя есть гречневую кашу, потому что она «грешная». «Гречневая», «грешневая» — значит «грешная».

Кофе находилось под жестким запретом. Это, может быть, звучит глупо, но глупо для кого? Для рациональных современных людей. Действительно, «коф лукавый» — это глупо. Но представьте, что в мире фундаментальных консерваторов для такой фигуры, как «коф лукавый», вполне найдется место. Какой-нибудь старообрядческий конгресс может быть посвящен «кофу лукавому». На нем будет определяться, к какому разряду демонов он принадлежит. Ведь были «штанные соборы». Когда группа старообрядческой молодежи где-то в XVIII веке взяла моду носить клетчатые брюки, федосеевцы собрали в Кимрах собор, иногда называемый «штанный собор», где обсуждалось, отлучать ли от общения тех, кто носит клетчатые брюки, потому что тогда казалось, что клетчатые брюки неприлично носить христианину. Часть соборян признала, что отлучать, а другая — что нет. И эти изыскания на самом де-

---

[1] *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 1983.

ле не такие уж бредовые. Нам старообрядцы кажутся «отсталыми», но они не такие отсталые. Они другие, они действуют в пределах иной топики. Они отрицают время как прогресс. Для них время — регресс, а люди современности — жертвы одержимости дьяволом.

Здесь можно привести идеи Клода Леви-Стросса[1]. Он доказывает, что никакой «пралогики», о которой говорили Леви-Брюль и ученые-эволюционисты, изучавшие «примитивов», не существует и что общество аборигенов или структура индейских мифов столь же сложны по своим рациональным связям, таксономии перечисляемых и сопоставляемых предметов и явлений, столь же драматичны, как и известные современным европейцам культурные формы. Просто они другие. Мы имеем дело не с «предлогосом», а с *другим логосом*, где система отношений, нюансов, различений, диверсификаций, построения моделей работает в другой системе гипотез, но она по своей сложности и главному параметру структуры (отсюда и структурализм) абсолютно сопоставима с сознанием, мышлением и социальными моделями социализации и адаптации у развитых народов.

В фундаментальном консерватизме отречение от модерна имеет совершенно рациональную и систематизированную форму. Если мы встаем на эту точку зрения, мы видим, что абсолютно все сходится, все логично, рационально, но это другой логос. Это логос, в пространстве которого «коф лукавый», штанный собор, «Параклитово согласие», живущее при лучинах, — все то, что вызывает презрительную улыбку у человека современного, не вызывает никакой улыбки. Это совершенно иной режим существования.

Консерватизм статус-кво — либеральный консерватизм

Есть второй тип консерватизма, который мы назвали *консерватизмом статус-кво* или *либеральным консерватизмом*. Он — либеральный, потому что он говорит «да» тому главному тренду, который реализуется в модерне. Но на каждом этапе этого реализуемого тренда он старается затормозить: «мол, давайте помедленнее, давайте не сейчас, давайте отложим».

Либеральный консерватор рассуждает примерно так: хорошо, что есть свободный *индивидуум*, а вот уже свободный *постиндивидуум* — это слишком. Или вопрос с «концом истории». Фукуяма на первом этапе посчитал, что политика исчезла и что вот-вот она будет полностью заменена «глобальным рынком», в котором исчезнут нации, государства, этносы, культуры и религии. Но потом он решил, что надо бы притормозить и внедрить Постмодерн поспокойнее, без революций, потому что в революциях может появиться что-то нежелательное, что может сорвать план «конца истории». И тогда Фукуяма стал писать, что необходимо пока временно укреплять национальные государства — это уже либеральный консерватизм.

Либеральные консерваторы не любят левых. Правых, таких как Эвола и Генон, тоже, но этих они просто не замечают. Но как только они видят левых, они сразу встают в стойку.

Либеральный консерватизм отличается следующими качественными структурными характеристиками — *согласие* с общим трендом модерна, но *несогласие* с его наиболее авангардными проявлениями, которые кажутся слишком опасными и слишком вредными. Например, английский философ Эдмунд Берк вначале симпатизировал Просвещению, но после Французской революции отшатнулся от этого и развил либерально-консервативную теорию с фронтальной критикой революции и левых. Отсюда либерально-консервативная программа: отстаивать свободы, права,

независимость человека, прогресс и равенство, но другими средствами — эволюцией, а не революцией. Чтобы не дай бог выпустить из какого-нибудь подвала те спящие энергии, которые в якобинстве вылились в террор, потом в антитеррор и так далее.

Либеральный консерватизм, таким образом, принципиально не выступает против тех тенденций, которые составляют сущность Модерна и даже Постмодерна, хотя либеральные консерваторы перед лицом Постмодерна будут нажимать на педали тормоза гораздо больше, чем раньше. То есть здесь они могут в какой-то момент закричать даже: стой! Видя, что несет с собой Постмодерн, приглядываясь к ризоме Делёза, они явно чувствуют себя не в своей тарелке. Кроме того, они боятся, что ускоренный демонтаж модерна, который разворачивается в Постмодерне, может освободить премодерн. Вот об этом они пишут откровенно. Например, либерал Хабермас[1], бывший когда-то левым, говорит, что если «мы сейчас не сохраним жесткого духа Просвещения, верность идеалам свободного субъекта, нравственного освобождения, не удержим человечество на этой грани, то мы слетим не просто в хаос, а вернемся в тень традиции, смысл борьбы с которой представлял собственно модерн». То есть он опасается, что придут фундаментальные консерваторы.

Бен Ладен как знак

Фигура бен Ладена, независимо от того, есть ли он реально или его придумали в Голливуде, имеет фундаментальное философское значение. Это карикатурно оформ-

[1] *Хабермас Ю.* Модерн незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4.

ленная перспектива перехода в рамках Постмодерна к премодерну. Это зловещее предупреждение о том, что премодерн (традиция) как вера в те ценности, которые были свалены в кучу и вывезены на свалку еще в самом начале модерна, может подняться и всплыть. Физиономия бен Ладена, его жесты, его появление на наших экранах и в модных журналах — это *философский знак*. Это знак предупреждения человечеству со стороны либеральных консерваторов.

Симулякр Че Гевары

Либеральные консерваторы, как правило, не делают того анализа о соотношении либерализма и коммунизма, который проделали мы, и продолжают *бояться коммунизма*. Мы уже говорили, что события 1991 года — конец СССР — имеют колоссальное философское и историческое значение, у которого мало аналогов. Таких событий в истории бывает всего несколько, так как в 1991 году *либерализм доказал свое исключительное право на ортодоксальное наследие парадигме Нового времени*. А все остальные версии — и, самое главное, коммунизм — оказались девиациями на пути модерна, ответвлениями, ведущими к иной цели. Коммунисты думали, что идут дорогами модерна в сторону прогресса, но выяснилось, что они шли к какой-то иной цели, расположенной в ином концептуальном пространстве. Но некоторые либералы и сегодня полагают, что «коммунисты только временно сдали свои позиции» и могут вернуться.

Экстраполируя ложные страхи, современный антикоммунизм еще, наверное, в большей степени, чем современный антифашизм, порождает химеры, призраки, симулякры. Коммунизма нет (как давно нет и фашизма) — вместо этого остался карикатурный муляж, безопасный Че Гевара, рекламирующий мобильные телефоны или украшающий собой майки праздных и комфортных мелкобуржуазных

юношей и девушек. В эпоху Модерна Че Гевара — враг капитализма. В эпоху Постмодерна он на гигантских билбордах рекламирует мобильную связь. Вот в каком виде коммунизм может вернуться — в виде симулякра. Смысл этого рекламного жеста заключается в постмодернистском осмеивании претензий коммунизма на альтернативный логос в рамках модерна.

И тем не менее либеральный консерватизм, как правило, чужд этой иронии и не склонен шутить ни с «красным», ни с «коричневым». Причина этого в том, что либеральный консерватизм опасается релятивизации логоса в Постмодерне, будучи не уверенным, что враг уничтожен до конца. Ему грезится, что поверженный труп еще шевелится, и поэтому он не советует подходить к нему близко, издеваться, заигрывать.

Консервативная революция

Существует еще и третий консерватизм. С философской точки зрения, он — самый интересный. Это семейство консервативных идеологий, которые принято называть Консервативной революцией (КР). Это созвездие идеологий и политических философий рассматривает проблему соотношения консерватизма и модерна *диалектически*.

Одним из теоретиков Консервативной Революции был Артур Мёллер ван дер Брук, чья книга недавно у нас переведена на русский язык[1]. К этому направлению принадлежали такие мыслители, как Мартин Хайдеггер, братья Эрнст и Фридрих Юнгер, Карл Шмитт, Освальд Шпенглер, Вернер Зомбарт, Отмар Шпанн, Фридрих Хильшер, Эрнст Никиш и целая плеяда в основном немецких авторов, ко-

---

[1] *Мёллер ван ден Брук А.* Миф о вечной империи и Третий рейх. М.: Вече, 2009.

торых иногда называют «диссидентами национал-социализма», потому что большинство из них на каких-то этапах поддержали национал-социализм, но вскоре оказались во внутренней эмиграции, а некоторые даже в тюрьме. Многие из них участвовали в антифашистском подполье, помогали спасаться евреям. В частности, Фридрих Хильшер, крупнейший консервативный революционер и сторонник немецкого национального возрождения, помогал скрываться от нацистов известному еврейскому философу Мартину Буберу.

Консерваторы должны возглавить революцию

Можно описать общую парадигму консервативно-революционного мировоззрения следующим образом. В мире существует объективный процесс деградации. Это не просто стремление «злых сил» совершать каверзы, это силы судьбы, силы рока, которые ведут человечество по пути вырождения. Пиком вырождения, с точки зрения консервативных революционеров, является модерн. Пока все совпадает с традиционалистами. Но, в отличие от них, консервативные революционеры начинают задумываться: а почему так сложилось, что вера в Бога, который создал мир, в Божественный промысел, в сакральное, в миф превращается в определенный момент в собственную противоположность, почему она слабнет и *почему* побеждают враги Бога? И дальше у них возникает подозрение: может быть, тот замечательный золотой век, который отстаивают фундаментальные консерваторы, он сам по себе уже нес некий ген дальнейшего искажения? Может быть, не так все хорошо было и в религии? Может быть, те религиозные, сакральные, священные формы традиционного общества, которые мы еще можем разглядеть до наступления модерна, уже в самих себе несли определенный *элемент тления*?

И тогда консервативные революционеры говорят консервативным фундаменталистам: «Вы предлагаете вернуться в состояние, когда у человека проявились только первые симптомы болезни, когда началось только первое покашливание, а сегодня этот человек лежит уже при смерти, а вы констатируете, как хорошо ему было раньше. Вы противопоставляете человека кашляющего и человека умирающего. А мы же хотим докопаться, *откуда* пришла зараза, *почему* он начал кашлять? И тот факт, что, кашляя, он не умирает, а ходит на работу, нас не убеждает, что он цел и здоров. Где-то этот вирус должен был гнездиться и ранее...» «Мы верим, — продолжают консервативные революционеры, — что в самом источнике, в самом Божестве, в самой Первопричине заложено намерение организовать эту эсхатологическую драму». В таком видении модерн приобретает парадоксальный характер. Это не просто болезнь сегодня (в отрицаемом настоящем), это обнаружение в сегодняшнем мире того, что его подготовило в мире вчерашнем (столь дорогом для традиционалистов). Модерн от этого лучше не становится, а традиция теряет между тем свою однозначную позитивность.

Одной из главных формул Артура Меллера ван дер Брука было: «*раньше консерваторы пытались остановить революцию, но мы должны ее возглавить*». Это означает, что, солидаризовавшись, отчасти и по прагматическим мотивам, с *деструктивными* тенденциями модерна, надо выявить и распознать ту бациллу, которая изначально породила тенденции к дальнейшему упадку, то есть к модерну. Консервативные революционеры хотят не только *затормозить время* (как либеральные консерваторы) или *вернуться в прошлое* (как традиционалисты), но вырвать из структуры мира корень зла, упразднить время как деструктивное свойство реальности, исполнив какой-то тайный, парал-

лельный, неочевидный замысел самого Божества.

Dasein и Ge-Stell

Хайдеггеровская история философии построена по сходной модели. Дазайн (Dasein) как конечное и локализованное бытие человека на заре философии вступил на путь постановки вопроса о бытии, то есть о себе самом и окружающем. Одной из первых концепций, выражающих такое вопрошание, стало понятие «фюзис», уподобляющее бытие природе и осмысляющее его как череду «всходов». Второй концепцией была аграрная метафора «логоса» — понятия, образованного от глагола «легеин» — то есть «жать», — и позже получившая значение «мыслить», «читать», «говорить». Пара фюзис–логос, по Хайдеггеру, определяя бытие, включало его в слишком узкие рамки. Эти рамки еще более сузились в учении Платона об идеях. И далее европейское мышление только усугубляло отчуждение от бытия через нарастающий рационализм — вплоть до забвения мысли о бытии вообще. Это забвение на рубеже XIX–XX вв. вылилось в нигилизм. Общим термином, описывающим суть растущей доминации техники в хайдеггеровской философии, является «Ge-Stell», то есть «постав» — постановка все новых и новых отчуждающих и нигилистических моделей.

Но для Хайдеггера Ge-Stell не является случайностью. Он выражает собой то, что обратной стороной бытия является ничто как его внутреннее измерение. В аутентичном Дазайне бытие и ничто должны соприсутствовать. Но если человек делает акцент на бытии как на «всеобщем» (koinon), то есть только на том, что есть (идея «фюзис»), он упускает из виду ничто, которое напоминает ему о себе, приводя фи-

лософию к нигилизму — через Ge-Stell. Таким образом, современный нигилизм есть не просто зло, но весть бытия, обращенная к Дазайну, но поданная таким сложным способом. Поэтому задача консервативных революционеров не просто справиться с ничто и с нигилизмом модерна, но распутать клубок истории философии и расшифровать послание, содержащееся в Ge-Stell. Нигилизм модерна, таким образом, есть не просто зло (как для традиционалистов), но еще и знак, указующий на глубинные структуры бытия и заложенные в них парадоксы.

Невеселый конец спектакля

Консервативные революционеры настолько ненавидят настоящее, что они не довольствуются *только* противопоставлением ему прошлого. Они говорят: «настоящее омерзительно, но его надо дожить, довести, дотянуть до самого последнего конца».

Либеральный Постмодерн предполагает «*бесконечный конец*». «Конец истории» у Фукуямы — это не просто исчезновение; после конца истории продолжают осуществляться экономические трансакции, работать рынки, призывно мерцать отели, бары и дискотеки, функционировать биржи, выплачиваться дивиденды по ценным бумагам, светиться экраны компьютеров и телевизоров, выпускаться ценные бумаги. Истории нет, а рынки и телевизоры есть.

У консервативных революционеров все иначе. В конце истории они рассчитывают появиться с обратной стороны Дазайна, из смутного пространства «той стороны» и превратить постмодернистическую игру в *неигру*. Спектакль («общество спектакля» Ги Дебора) закончится чем-то очень неприятным для зрителей и актеров. В свое время по такой же логике действовала группа сюрреалистов-дадаистов Артюр Краван, Жак Риго, Жюльен Торма и Жак Ваше, которые воспевали суицид. Но критики считали это пустым бахвальством. В один момент они публично покончили

с собой, доказав, что искусство и сюрреализм были для них делом настолько серьезным, что они отдали за это жизнь. Тут можно вспомнить о Кириллове из «Бесов» Достоевского, для которого самоубийство стало выражением полной свободы, которая открылась после «смерти Бога».

В России недавно были не менее страшные события. Например, «Норд-Ост». Сальный, неопрятный комик Саша Цекало ставит спектакль, на котором присутствует вальяжная московская публика. Тут появляются чеченские террористы, и поначалу люди думают, что это *часть постановки*. И потом только с ужасом понимают, что на сцене происходит *что-то не то,* и дальше начинается кошмарная реальная трагедия.

Приблизительно нечто подобное представляют себе консервативные революционеры: пусть шутовство Постмодерна идет своим чередом, пусть оно размоет определенные парадигмы, эго, суперэго, логос, пусть вступят в дело ризома, шизомассы и расщепленное сознание, пусть ничто увлечет в себя все содержание мира, тогда-то откроются тайные двери и древние, вечные онтологические архетипы выйдут на поверхность и страшным образом покончат с *игрой*.

Левый консерватизм (социал-консерватизм)

Есть еще одно направление — так называемый левый консерватизм, или социал-консерватизм. Типичный представитель социал-консерватизма Жорж Сорель (см. его труд «Размышления о насилии»[1]). Он придерживался левых взглядов, но в определенный момент обнаружил, что левые и правые (монархисты и коммунисты) бьются против общего врага — буржуазии.

Левый консерватизм близок к русскому национал-боль-

[1] *Сорель Ж.* Размышления о насилии. М., 1906.

шевизму Н. Устрялова, который под чисто левой марксистской идеологией обнаружил русские национальные мифы. Еще более внятно это изложено в левом национал-социализме Штрассера и в германском национал-большевизме Никиша. Такой левый консерватизм, можно отнести к семейству Консервативной революции, а можно выделить в отдельное направление.

Интересно то, что партия «Единая Россия» приняла социал-консерватизм в качестве составляющей своей идеологии. Это направление сейчас развивают Андрей Исаев. На другом полюсе в «Единой России» либерал-консерватизм Плигина.

Евразийство как эпистема

Евразийство — это и политическая философия, и эпистема. Оно относится к разряду консервативных идеологий и имеет черты как фундаментального консерватизма(традиционализма), так и Консервативной революции (включая социал-консерватизм левых евразийцев). Единственное, что в консерватизме для евразийцев не приемлемо — это либерал-консерватизм.

Евразийство, осознавая претензии западного логоса на универсальность, отказывает признавать эту универсальность как неизбежность. В этом специфика евразийства. Оно рассматривает западную культуру как локальный и временный феномен и утверждает множественность культур и цивилизаций, которые сосуществуют в разных моментах цикла. Модерн для евразийцев —явление, свойственное только Западу, а другие культуры должны разоблачить эти претензии на универсальность западной цивилизации и построить свои общества на внутренних ценностях. Никакого единого исторического процесса не существует, каждый народ имеет свою историческую модель, которая движется в разном ритме и подчас в разных направлениях.

Евразийство, по сути, есть *гносеологический плюрализм*.

Унитарной эпистеме модерна — включая науку, политику, культуру, антропологию — противопоставляется множественность эпистем, построенных на началах каждой из существующих цивилизаций — евразийская эпистема для русской цивилизации, китайская — для китайской, исламская—для исламской, индусская — для индусской и т. д. И лишь на базе этих очищенных от западной обязательности эпистем должны строиться дальнейшие политико-социальные, культурные и экономические проекты.

Мы видим в этом специфическую форму консерватизма, отличающегося от других близких консервативных версий (за исключением либерал-консерватизма) тем, что альтернатива модерну берется не в прошлом или уникальном революционно-консервативном перевороте, а в обществах, исторически сосуществующих с западной цивилизацией, но географически и культурно отличных от нее. В этом евразийцы сближаются отчасти с традиционализмом Генона, который также считал, что «современность» есть понятие «западное», а на Востоке сохранились формы традиционного общества. Не случайно среди русских авторов впервые на книгу Генона «Восток и Запад» сослался евразиец Н. Н. Алексеев.

Неоевразийство

Неоевразийство, появившееся в России в конце 80-х годов XX века, полностью восприняло основные пункты эпистемы прежних евразийцев, но дополнило их обращением к традиционализму, геополитике, структурализму, фундаменталь-онтологии Хайдеггера, социологии, антропологии, а также проделало огромную работу по согласованию базовых положений евразийства с реалиями второй половины XX — начала XXI века с учетом новых научных

разработок и исследований. Сегодня евразийские журналы издаются в Италии, Франции, Турции.

Неоевразийство основано на философском анализе тезиса о Модерне и Постмодерне. Отстраненность от западной культуры позволяет установить дистанцию, благодаря которой можно охватить взглядом весь модерн и сказать *всему этому* фундаментальное «нет».

В XX веке аналогичной критике модерн и западная цивилизация подвергались системно. Это и Шпенглер, Тойнби и особенно структуралисты — в первую очередь Леви-Стросс, создавший структурную антропологию. Эта структурная антропология основана на принципиальном равенстве между собой разных культур — от примитивных до самых развитых, что лишает западноевропейскую культуру какого бы то ни было превосходства над самым «диким» и «примитивным» бесписьменным племенем. Здесь надо напомнить, что евразийцы Роман Якобсон[1] и Николай Трубецкой[2], основатели фонологии и крупнейшие представители структурной лингвистики, были учителями Леви-Стросса и обучили его навыкам структурного анализа, что сам он охотно признает. Таким образом, прослеживается интеллектуальная цепочка: евразийство—структурализм—неоевразийство. Неоевразийство становится в этом смысле восстановлением широкого спектра идей, прозрений, интуиций, которые наметили первые евразийцы и в который органично вошли результаты научной деятельности школ и авторов (в большинстве своем консервативной ориентации), параллельно развивавшихся в течение всего XX века.

---

[1] *Якобсон Р. О.* Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1970. Т. 5.

[2] *Трубецкой Н. С.* Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.

Глава 6
Консерватизм как проект и эпистема

Неадекватность расхожих представлений о консерватизме

Одно из самых типичных заблуждений относительно понятия «консерватизм» заключается в упрощенном представлении, что консерваторы — это те, кто «хочет сохранить прошлое, оставить (или сделать) все как было». На самом же деле в политическом смысле консерватизм — это не сохранение прошлого и даже не обращение к традиции. Консерватизм — это философский подход, который весьма специфически трактует *время*. Он не просто выбирает какой-то сектор времени (прошлое) в качестве приоритета, но оперирует с *особым представлением о времени*, которое отнюдь не банально и требует более внимательного разбора.

Философия истории и диахронизм

В культуре Модерна мы привыкли оперировать с *диахроническим* подходом к истории, который стал для нас чем-то само собой разумеющимся. Этот подход выделяет три временные категории, расположенные в строгом и необратимом порядке — *прошлое, настоящее* («преходящее») и *грядущее*. Обратите внимание, «прошлое» — это то, что «*прошло*». Настоящее — это то, что «*стоит*». И грядущее — то, что *придет*, грядет. Все корни понятий — прошлое, настоящее, грядущее — связаны *не со значением бытия*, но со значением *движения* (либо его момента — «стояния», «остановки на»). Именно в этом состоит специфика *историцизма* и *философии истории*. Это модель понимания

мира через движение, становление утвердилась в западной культуре в Новое время вместе с концепцией прогресса. Такое однонаправленное время уже заключает в себе идею *про-гресса*, то есть, дословно, *«движения вперед»*.

Тотальное и повсеместное внедрение такой диахронической парадигмы и заставляет подчас самих консерваторов при изложении своих философских и политических позиций обращаться *к прошлому как к нормативу*. Тем самым консерватор как бы *соглашается с линейным временем*, признает сам факт прогресса, но только выносит о его содержании альтернативное, *отрицательное* заключение. Получается, что консерватор, так поступающий, по определению *ретроград*, то есть тот, кто «идет назад». А это *неверно*, потому что консерватора интересует *совсем не то, что прошло, что в прошлом*, особенно как понимают это «прошлое» люди Модерна.

Консерватор и постоянное

На самом деле, вместо временной диахронической топики — прошлое, настоящее и грядущее — консерваторы оперируют с совершенно иной, не диахронической, но *синхронической* моделью. *Консерватор защищает и отстаивает не прошлое, но постоянное, неизменное, то, что сущностно всегда остается тождественным самому себе.* Философ Ален де Бенуа, определяя консерватизм, очень верно говорил, что «корни — это не то, что было когда-то, но то, что растет всегда», нечто *живое*.

Как только мы утверждаем, что консерватизм борется *не за прошлое, но за постоянное*, за фундаментальные константы общества, человека, духа, тогда мы сможем с полным основанием понять взгляд консерватора на все три временные модальности — прошлое, настоящее и будущее. Про-

шлое ценно не само по себе, но *только* тем, что в нем есть *нечто постоянное. Тем* же ценно и настоящее и будущее.

В русской истории существует множество различных по содержанию и знаку периодов — и все они — в прошлом. К прошлому относятся и удельная раздробленность, и монгольские завоевания, и Смутное время, и раскол, и Петровские реформы, и бироновщина, и Февральская революция, и хрущевская оттепель, а также перестройка, ельцинизм и многое другое, что категорически не приемлемо и аномально для последовательного русского консерватора. Когда консерватор листает книгу русской истории, он видит в ней как золотые, так и гнусные страницы. Общее в них только то, что они написаны кровью.

Бытие первичнее времени

Консерватор стремится понять, *что* в историческом процессе конкретного народа, в нашем случае русского, *было* постоянным, неизменным, *что* из этого *есть* сейчас и *что*, соответственно, *будет* и в грядущем. Но самая главная идея консерватизма в том, что он мыслит не о прошлом, а о *бывшем*, не о настоящем, но о том, что *есть* сейчас, не о том, что грядет (придет), но о том, что *сбудется, будет*.

Здесь вполне уместно привлечь философскую модель Хайдеггера, в центре которой стоит *вопрос о бытии*. Если для «прогрессиста» и последователя философии истории *бытие есть функция от становления* (истории, времени), то для консерватора (а сам Хайдеггер был законченным консерватором, более того, консервативным революционером) *время* (история, длительность, Zeit) *есть функция от бытия. Бытие первично, время вторично.*

Это значит очень многое. В этом — *секрет консерватизма*. То, что принадлежит к бытию, превосходит время и не зависит от времени. Поэтому *то, что по-настоящему было, обязательно есть и сейчас и будет завтра*. Более того, то, что будет завтра, обязательно было вчера и есть сегодня,

так как *время не властно над бытием.* Напротив, бытие властно над временем и предопределяет его структуру, его ход, его содержание. Именно это делает возможными позиции консерватора не только в отношении к прошлому и настоящему, но и в отношении будущего. Этим обосновывается возможность существования *консервативного проекта.*

Консервативный проект и его метафизика

Консервативный проект — это нащупывание точки *концентрации бытия* в будущем и ориентация социальных, культурных и политических энергий к этой точке. Причем для консерватора эта точка не является условностью или произвольной фантазией. Она для него абсолютно реальна уже здесь и сейчас. Консерватор не играет в вероятности, он знает, что делает, и знает, что будет.

Смысл консервативного проекта в том, что он обеспечен самим *бытием*, самой философией (консервативной философией), ставящей *бытие выше времени.* Консерватор не только ожидает будущего, он его строит, он его осуществляет, он его приводит к наличию на основании своего *повышенного внимания к бытию.*

Это повышенное внимание к бытию может проявляться *в любви к прошлому как к бывшему.* В этом случае прошлое воспринимается как здесь наличествующее, предельно актуальное, не только косвенно затрагивающее действительность, но составляющее его суть, делающее его тем, что *есть.* В прошлом консерватор видит *вечное*, и *только* поэтому оно для него выступает как *норматив* для настоящего и будущего. Это *вечное прошлое*, которое длится здесь и сейчас. Оно укрывается от поверхностного взгляда модерниста (еще Гераклит говорил, что «природа любит прятаться»), но обнаруживает себя для того, кто прислушива-

ется к тихому голосу бытия.

Но консерватором может быть и тот, кто полностью *безразличен* к прошлому, но стремится *схватить бытие* в прямом и актуальном экзистенциальном опыте — чаще всего через ужас и другие специальные операции метафизики. Если бытие откроется в настоящем, сквозь феноменологическое наличие, оно *проступит и в прошлом*, так как прошлое — без какого бы то ни было предварительного намерения — откроется как бывшее, а значит, как актуальное.

И наконец, консерватор может быть приоритетно сосредоточен на будущем, на сфере проекта. И в этом случае он также нисколько не поступится своими принципами. Стремясь реализовать *в грядущем будущее*, он конституирует там — в случае успеха проекта — бытие в его вневременном качестве, то есть вскроет сущность настоящего и получит ключ к онтологической расшифровке прошлого.

Таким образом, консервативный проект может быть второстепенной или первостепенной заботой консерватора, но в любом случае он всегда возможен и даже неизбежен, так как полноценно консервативный подход к миру и истории заведомо содержит в себе онтологическое измерение грядущего, то есть образ будущего.

Будущее и грядущее в христианской эсхатологии

Часто (хотя и не всегда) консерваторы являются людьми *религиозными*. Это логично, так как у них нет оснований не доверять религии, учащей о вечности. Ведь вечность — это то, что интересует консерватора в первую очередь. Немецкий философ Артур Меллер ван ден Брук говорил по этому поводу: «на стороне консерватора вечность».

Русский консерватизм естественным образом основывается на православии. Область христианского учения,

описывающая будущее (конец времен), называется *эсхатологией*. В христианском учении одновременно сосуществуют и *эсхатологический пессимизм, и эсхатологический оптимизм*. Православные знают, что в грядущем *придет* (грядет) антихрист, но также они знают, что он *будет* побежден Христом в его славном и страшном Втором Пришествии.

Эта двойственность важна для самой структуры консервативного проекта. Он обязательно двойственен, драматичен, одновременно пессимистичен и оптимистичен. Консервативный проект видит впереди страдания, тревогу, ужас, страх, бедствия, катастрофы. Однако также он видит триумф, победу, нисхождение на землю Небесного Иерусалима, вселенское обнаружение вечности и упразднение смерти. Задача консерватора, отстаивающего вечность, изменить грядущее в пользу будущего или сразиться *на стороне будущего против грядущего. Грядет* антихрист, но *будет* Второе Пришествие.

Консервативный проект против технологий

Создание консервативного проекта в современном русском обществе, конечно, никоим образом и ни при каких обстоятельствах не должно заигрывать с *технологиями*, с экспертными упаковками, с гламуром, с симулякрами. Консервативный проект не должен никого соблазнять, привлекать, фасцинировать. Он должен *открывать истину*. Он может пугать, поскольку должен называть вещи своими именами, представлять ситуацию как она есть, описывать ее адекватно. Как только консерваторы смогут прояснить, что защищают не прошлое, а постоянное, с этого момента начнется серьезная разработка консервативного проекта. Все существующие на седняшний день в России проекты консервативного толка при всех их достоинствах

методологически, концептуально и философски ущербны, слабы и поверхностны. В них нет главного — в них нет *дыхания вечности*. Они несут в себе слишком много от эфемерности и конъюнктурности тех явлений, с которыми предполагают бороться. *Технологичный консерватизм — это заведомо симулякр.*

То обстоятельство, что власть не торопится действовать в консервативном направлении, отчасти объясняется и тем, что современные российские консерваторы, подражая либеральному стилю, пытаются придать консервативным идеям броскую маркетинговую упаковку, но это *противоречит самой сути консерватизма*, а следовательно, получается нечто уродливое и отталкивающее. Власть, которая и так никому и ничему не доверяет (порой складывается ощущение, что она не доверяет даже самой себе), чувствует в таком подходе банальные политические и даже клановые интересы, попытку влиять или, что того хуже, урвать, а потому сразу же отбрасывает эти проекты как нерелевантные. Причем не важно, что власть упрекает разработчиков в *недостаточной технологичности*. По этому критерию консерватизм всегда будет уступать либерализму, так как сам этот критерий является либеральным. Консерватизм может и должен взять другим — демонстрацией неотразимой истинности вечности и концентрированной волей доказать это любыми способами и оплатить любой ценой. *Вечность любой ценой*.

Консервативная эпистема

Не способность в современной России сформулировать консервативной проект не случайное обстоятельство. У нас существует фундаментальный *эпистемологический дефицит*, который связан с результатами советского влия-

ния и последующей за ним либеральной волны в гуманитарных и социальных дисциплинах. И коммунизм, и либерализм основываются на *примате времени над бытием*, полагают всю реальность *в становлении*. У коммунистов есть некоторое отдаленное подобие *онтологии будущего*, либерализм же прагматичен, эклектичен и феноменологичен, вынося бытие за скобки и довольствуясь эфемерным и сиюминутным. Но в обоих случаях научная матрица строится *на эксплицитном отрицании вечности*. А это не может не затрагивать всего строя гуманитарной науки, в том числе и, вероятно, в первую очередь *образования*.

Таким образом, эпистемологический дефицит имеет структурный характер. Он не сводится к тому, что нам не хватает консервативных умов или адекватных исследований. *Нам не хватает эпистемы.*

Для выработки полноценного консервативного мышления необходима *предварительная* система координат, своего рода новая, подчеркнуто консервативная (идеологически, но не методологически) социология, которой предстоит проделать гигантскую работу широкой ревизии научных гуманитарных и социальных концепций. Только после такой работы по созданию консервативной эпистемы можно говорить о появлении консервативного проекта. Делегирование его власти будет в таком случае вопросом второстепенным. Если консерватизм состоится *онтологически*, можно будет поднимать вопрос о его политической имплантации во власть. Но общество, где это станет возможным, само по себе будет *другим*. Какие партии или личности его подхватят, как популяризируют и тем более реализуют, дело десятое. Пока его нет и нет для него эпистемологических предпосылок, гадать об этом бессмысленно. В этом случае мы снова скатываемся к симулякрам.

---

[1] *Хайдеггер М.* Время и бытие. М.: Ad Marginem, 1993.

Гуманизм как оружие консерватора

В отличие от привычных для консерваторов прошлого нападок на гуманизм, Хайдеггер, например, не колеблясь обращался к нему[1]. Это показательно. Консерватизм, отстаивая вечность, отстаивает и вечность человека, *человека как вечность*, человека как структуру, наделенную неизменными признаками и неотъемлемой жизнью. *Человек — понятие консервативное.* Он *был* раньше, он *есть* сейчас, он должен *быть* в будущем. То, в чем человек меняется, второстепенно для консерватора. Принципиально в нем то, что остается неизменным.

Самым устойчивым в человеке являются его *сны*, грезы, мечты, глубинные движения души. Человек динамичен на поверхности сознания, в глубине — в бессознательном — он статичен и живет вне времени. Сюжеты сновидений не меняются, меняются оболочки. Самолет, поезд или ракета суть выражение грез об ангелах и волшебных скакунах, которые были всегда.

Консерватор должен быть на стороне человека как чего-то неизменного, пусть парадоксального и противоречивого, но укоренного в бытии — причем иным образом, чем в нем укоренено все остальное. Хайдеггер называл это отличие фундаментальным для его философии термином «Dasein». В христианстве речь идет о Новом Человеке, природа которого освещена вечным светом Боговоплощения, Воскресения и Вознесения.

Но консерватор — в отличие от коммунистов и либералов — не стоит на стороне «маленького человека» (во всех смыслах), он ратует за «*большого человека*», за «homo maximus». Консерватор везде любит великое, и в человеке он любит *великое и высокое*.

Человек, в его «максимально гуманистическом» понимании, мыслится как *посредник между Небом и Землей*. Он стремится в самом себе воплотить противоположности мира — верх и низ, любовь и смерть, восторг и страдание, жизнь и дух, плоть и божественность. Под знаменем такого человека выступает консерватор.

Империя — большой человек

Как в антропологии философия консерватизма ориентирована на максимальный масштаб, так и в обществе и в политике консерватизм любит все великое, гигантское, бескрайнее, бесконечное. Поэтому, как правило, консерваторы являются сторонниками *Империи*. Между Империей и «большим человеком» (homo maximus) есть прямая гомология. Империя — это *максимальное общество*, максимально возможная масштабность государства. В Империи также воплощается слияние Неба и Земли, сочетание в единство различий, которые, сохраняясь как таковые, интегрируются в общую стратегическую матрицу. *Империя — это высшая форма человечности*, высшее ее проявление. Ничего гуманнее Империи не существует.

Империя — это горизонт человека, горизонт общества, к которому оно стремится, идя по пути интеграции и обобщения. Империя воплощает в себе онтологическую цельность, расцвет бытия. А значит, Империя всегда *священна*, сакральна. Не случайно в Византии и в России сложился глубинный *альянс* между Империей и Церковью. Отсюда — симфония властей и тот горизонт религиозной веры, который связан с идеей Империи, Царствия.

Для консерватора Империя есть высшая, самодостаточная, сама по себе онтологическая ценность.

Трихотомия Империи

Консервативный проект в самых общих чертах должен быть основан на *трихотомии*. Одна из двух классических антропологий в христианской традиции — в частности, антропология святого апостола Павла — является *трихотомической*, выделяющей в человеке *дух, тело и душу*. Эта трихотомия в полной мере применима и к структуре идеальной Империи. Формулируется она применительно к Империи следующим образом: *пространство, народ и религия*.

Пространство, земля, территория, зоны контроля и влияния — это телесное содержание Империи и соответствует *телу* в человеке. Бескрайность и широта русских просторов — зримое выражение масштабности русского homo maximus. Империя телесна, но ее тело — сакрально. Отсюда и отношение к родной земле, к Родине, к Отечеству, к Державе.

Народ соответствует *душе*; он живет и движется, любит и ненавидит, падает и вновь поднимается, взлетает и страдает. Он двойственный, подчас притворяющийся ничтожным, но иногда открывающий сокровище своего бытия. Он живой, священный народ, народ души.

Религия относится к *духу*. Она показывает горние перспективы, обеспечивает контакт с вечностью, направляет взоры на Небо.

И как человек обязательно имеет тело, душу и дух, согласно христианству, так и Империя имеет пространство, народ и религию.

---

[1] *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра. М.: Академический Проект, 2007.

Ценность войны

Консерваторы редко являются пацифистами. Вокруг нас воспевать мир и ратовать за него стало общим местом. Чем больше, правда, говорят о мире, тем больше крови льется, тем больше страдает невинных. Консерватор и тут не должен лгать, *для него предпочтительней война, а не мир*. Ницше не побоялся в свое время воскликнуть: «Любите войну больше, чем мир, и короткий мир больше, чем долгий!»[1]

Война, polemoj по Гераклиту, является «отцом всех вещей». Человек всегда воюет. Он *существо воюющее*. В этом его онтологический корень. Он воюет за истину, за любовь, за правду, за добро. Подчас война заводит его слишком далеко, и он опускает руки. Но никогда не отступается и начинает снова. Сколько человек живет, столько и воюет.

Мы на протяжении всей нашей истории, мы русские, всегда воевали. Когда не воевали, то, как правило, гнили. Почему, собственно, надо перестать воевать? Если вокруг нас живут враги, которые посягают на наше пространство, на наш народ, на нашу религию? Если не посягали бы, то было бы другое дело, но они не были бы тогда людьми...

Непрерывная война с грехом идет в сердце человека. И худшим исходом был бы здесь пацифизм — примирение добродетели и греха; это было бы не примирение и не компромисс, но *победа греха*.

Церковь Земная в православной традиции называется *Церковью Воинствующей*.

Тематика войны в корпусе консервативной философии должна быть поставлена прозрачно, спокойно, без злорадства и садизма, ответственно. Но мы должны знать и осмыслять себя *воинами*, воюющим народом, воюющей страной, воюющей Церковью.

Тройственная структура консервативной эпистемы

Если мы рассмотрим приведенную выше трихотомическую структуру, то обнаружим среди всего объема научных дисциплин *три осевые дисциплины*. Высшая из них — это *богословие*, потому что религия — это не только культ и обряд, но и глубочайшая *система мировоззрения*. Это наука о духе.

Богословие должно быть венцом образования, без него вся консервативная эпистема будет неполной и повиснет в воздухе. Богословие — это царская наука, наука наук, не просто одна из гуманитарных и социальных, но главная, а все остальные науки — это путь к богословию.

На втором уровне следует поставить *этносоциологию*. У нас до последнего момента в науке почти вообще не упоминался ни народ, ни этнос. Это не удивительно: для коммунистов субъектом истории является класс, для либералов — индивидуум. Ни там, ни там места для народа и этноса не остается. Этносоциология — это фундаментальная наука Империи и консервативного проекта. Если мы корректно не опишем предварительно наш народ и другие народы, с которыми мы находимся во взаимодействии, мы просто будем не компетентны говорить о консерватизме. Этносоциология — это не просто описание формальных этнологических особенностей народа, но исследование того, что является конститутивным для этноса, постижение его онтологии, его бытия.

И наконец, третья дисциплина — это наука о пространстве — *геополитика*. Здесь все очевидно, так как геополитика по определению есть наука, изучающая отношение государства к пространству. Занимая в иерархии осевых дисциплин консервативной эпистемы последнее место, она

имеет огромное прикладное значение.

Таким образом, богословие, этносоциология и геополитика составляют трихотомическую структуру науки в консервативном понимании.

Преподавание других социальных и гуманитарных наук должно выстраиваться вокруг этих трех осей, согласовываться с ними, ориентироваться на их силовые линии. Как частный случай социологии или геополитики может изучаться экономика или юриспруденция. Бесспорно они важны, но не для консерватора. Пусть либералы и коммунисты начинают с экономики и игнорируют все остальное, такова их философия. Консерваторы должны поступать по-другому исходя из *своей* философской установки. Сегодня мы находимся под гипнозом, считая, что «экономика — это серьезно», а богословие, наоборот, «факультативно» (если не «ненаучно»). На самом же деле все строго наоборот. *Знающий вечность знает все*. Знающий временные материальные закономерности циркуляции денег, товаров и услуг не знает даже того, что ему кажется, что он знает. Экономика — это вторичная производная от философии, и корни экономических теорий лежат именно в философии, а не в экономике. Так, Адам Смит, основатель буржуазной политэкономии, был убежден, что просто развивает некоторые философские положения своего учителя Джона Локка применительно к области хозяйства. Марксизм — это развитие философии Гегеля с акцентом на экономические закономерности и специфическую философию истории, описанную с позиции угнетенных классов и в первую очередь пролетариата.

Внедрение консервативной эпистемы является необходимым условием для выработки полноценного консервативного проекта. Этот этап миновать нельзя.

Часть 3
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ XXI ВЕКА: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ИМПЕРИЯ

Глава 7
Запад и его вызов

Что мы понимаем под «Западом»?

Термин «Запад» может толковаться по-разному. Поэтому прежде всего следует уточнить, что мы понимаем под ним и как это понятие эволюционирует в истории.

Совершенно очевидно, что *«Запад» не является чисто географическим термином*. Сферичность Земли делает такое определение просто некорректным — то, что для одной точки — Запад, для другой — Восток. Но этот смысл никто в понятие «Запад» и не вкладывает. Хотя при ближайшем рассмотрении мы обнаружим здесь одно важное обстоятельство: концепция «Запад» по умолчанию берет за *нулевую* отметку, откуда откладываются координаты долготы, именно Европу. И не случайно, согласно международным конвенциям, *нулевой меридиан* проходит по Гринвичу. Уже в самой этой процедуре заложен *европоцентризм*.

Хотя многие древние державы (Вавилон, Китай, Израиль, Россия, Япония, Иран, Египет и т. д.) считали себя «*центром мира*», «срединными империями», «поднебесными», «подсолнечными царствами», в международной практике центром координат стала Европа, более узко — Западная Европа. Именно от нее принято откладывать вектор в сторону Востока и вектор в сторону Запада. Получается, что *даже в узко географическом смысле мы видим*

мир с европоцентрической точки зрения, и то, что принято называть «Западом», одновременно представляет собой центр, «середину».

Европа и Модерн

В историческом смысле Европа стала тем пространством, где *впервые произошел переход от традиционного общества к обществу Модерна*. Причем такой переход совершился благодаря развитию *автохтонных* для европейской культуры и европейской цивилизации тенденций. Развивая в определенном направлении принципы, заложенные в греческой философии, римском праве через специфическое толкование христианского учения — вначале в католико-схоластическом, а затем в протестантском ключе, — Европа пришла к созданию уникальной среди остальных цивилизаций и культур *модели общества*. Это общество впервые

- было выстроено на *секулярных* (светских, атеистических основах);
- провозгласило идею *социального и технического прогресса*;
- создало основы *современного научного видения мира*;
- выработало и внедрило модель *политической демократии*;
- поставило во главу угла *капиталистические* (рыночные) отношения;
- перешло от *аграрной экономики к промышленной*.

Одним словом, именно *Европа стала пространством современного мира*.

Поскольку в границах самой Европы наиболее авангардной зоной развития парадигмы Модерна были такие

страны, как Англия, Голландия и Франция, находящиеся *к Западу* от Центральной (и тем более Восточной) Европы, то понятия «Европа» и «Запад» постепенно стали синонимами: собственно *«европейское»*, отличное от остальных культур, заключалось именно *в переходе от традиционного общества к обществу Модерна,* а это, в свою очередь, происходило прежде всего на европейском Западе.

Таким образом, термин «Запад» с XVII—XVIII вв. приобретает четкий цивилизационный смысл, становясь синонимом «*Модерна», «модернизации», «прогресса», социального, промышленного, экономического и технологического развития*. Отныне все, что вовлекалось в процессы модернизации, автоматически причислялось к Западу. *«Модернизация» и «вестернизация»* оказались синонимичны.

Идея «прогресса» как обоснование политики колониализма и культурного расизма

Тождество «модернизации» и «вестернизации» заслуживает некоторых пояснений, которые приведут нас к очень важным практическим выводам. Дело в том, что становление в Европе небывалой цивилизации Нового времени, учреждение «Модерна» привело к особой *культурной установке*, сформировавшей самосознание вначале самих европейцев, а затем и всех тех, кто попал под их влияние. Этой установкой выступает искренняя убежденность в том, что путь развития западной культуры и особенно переход от традиционного общества к современному есть не просто особенность только Европы и населяющих ее народов, но *универсальный закон развития*, обязательный для всех остальных стран и народов. Европейцы, «люди Запада», *первыми* прошли эту решающую стадию, но все остальные

фатально *обречены* на то, чтобы идти по *тому же самому* пути, поскольку такова якобы «объективная» логика мировой истории, этого требует «прогресс».

Возникает идея, что *Запад есть обязательная модель исторического развития всего человечества*, и всемирная история — как в прошлом, так в настоящем и будущем — мыслится в виде повторения тех этапов, которые Запад в своем развитии уже прошел или проходит в настоящий момент, опережая всех остальных. Везде, где европейцы сталкивались с «незападными» культурами, которые сохраняли «традиционное общество» и его уклад, они ставили однозначный диагноз — «варварство», «дикость», «неразвитость», «отсутствие цивилизации», «отсталость». Так, постепенно *Запад стал идеей*, нормативным критерием для оценки народов и культур всего мира. Чем *дальше* они были от Запада (в его новейшей исторической фазе), тем более «ущербными» и «неполноценными» они считались.

Архаические корни западной исключительности

Любопытно проанализировать происхождение этой универсалистской установки, отождествляющей этапы развития Европы с общеобязательной логикой всемирной истории.

Самые глубокие и архаические корни можно *найти в культурах древних племен*. Архаическим обществам свойственно отождествлять понятие «человек» с понятием «принадлежащий к племени», «этносу», что приводит подчас к отказу иноплеменникам в статусе «человека» или присвоению им заведомо низшей иерархической ступени. Пленники из других племен или порабощенные народы становились по этой же логике *классом рабов*, вынесенным *за пределы человеческого социума*, лишенными всяких прав

и привилегий. Эта модель — соплеменники = люди, иноплеменные = нелюди — лежит в основе социальных, правовых и политических институтов прошлого, что подробно исследовал Гегель (и, в частности, гегельянец А. Кожев), рассматривая пару фигур Господин—Раб. Господин был всем, Раб — ничем. Господину принадлежал статус человека как привилегия. Раб приравнивался — даже юридически — к домашнему скоту или предметам производства.

Эта модель господства оказалась гораздо более устойчивой, чем можно было подумать, и перекочевала в измененной форме в Новое время. Так возник комплекс идей, который парадоксально сочетал демократию и свободу внутри самих европейских обществ с жесткими расистскими установками и циничным колониализмом в отношении иных — «менее развитых» — народов.

Показательно, что институт рабства, причем на *расовых* основаниях, после более чем тысячелетнего перерыва возрождается в западных обществах — в первую очередь в США, но также и в странах Латинской Америки — именно в Новое время, в эпоху распространения демократических и либеральных идей. Причем теория «прогресса» служит, как ни странно, обоснованием нечеловеческой эксплуатации европейцами и белыми американцами автохтонов — индейцев и африканских рабов.

Складывается впечатление, что по мере становления цивилизации Нового времени в Европе модель Господин—Раб переносится из самой Европы на весь остальной мир в форме колониальной политики.

Империя и ее влияние на современный Запад

Другим важным источником этого же явления была *идея Империи*, от которой в явной форме европейцы отка-

зались на заре Нового времени, но которая проникла *в бессознательное западного человека.* Империя — как Римская, так позже и христианская (Византийская на Востоке и Священная Римская империя германских наций на Западе) — мыслилась как *Вселенная*, внутри которой проживают люди (граждане), а за ее пределами — «недолюди», «варвары», «еретики», «иноверцы» или даже фантастические существа: людоеды, монстры, вампиры, «гоги и магоги» и т. д. Здесь племенное деление на своих (людей) и чужих (нелюдей) переносится на более высокий и абстрактный уровень — граждан империи (участников Вселенной) и неграждан (обитателей глобальной периферии)[1].

Эта стадия обобщения того, кто считается, а кто не считается *человеком*, вполне может быть рассмотрена как *переходный* этап между архаикой и современным Западом. Отвергнув Империю формально вместе с ее религиозными основаниями, современная Европа полностью сохранила *империализм*, только перенеся его на уровень ценностей и интересов. Прогресс и техническое развитие отныне осознавались как европейская миссия, во имя которой и развертывалась планетарная колониальная стратегия.

Таким образом, Новое время, порвавшее с традиционным обществом формально, перенесло некоторые базовые установки именно этого традиционного общества (архаическое деление на пару человек—нечеловек по этнической принадлежности, модель Раб—Господин, империалистическое отождествление своей цивилизации со Вселенной, а всех остальных с «дикарями» и т. д.) на новые условия жизни. Запад как идея и как планетарная стратегия стал амбициозным проектом *нового издания мирового господст-*

[1] Еще в XVII веке европейские и американские авторы (в частности, иезуиты) задавались вопросом о том, принадлежат ли индейцы, коренное население Америки, к человеческому роду или являются разновидностью животных.

ва, на сей раз возведенного в статус «просвещения», «развития» и «прогресса» всего человечества. Это своего рода *«гуманистический империализм»*.

Важно, что тезис о прогрессе не был простым прикрытием эгоистических, хищнических интересов людей Запада в их колониальной экспансии. Вера в универсализм западных ценностей и в логику исторического развития была вполне искренней. Интересы и ценности в данном случае совпадали. Это и давало огромную энергию первопроходцам, мореплавателям, путешественникам и предпринимателям Запада осваивать планету — они не только искали наживы, но и несли «дикарям» просвещение.

Всё вместе — жестокое ограбление, циничная эксплуатация и новая волна рабовладения вместе с модернизацией и технологическим развитием колониальных территорий — и легло в основу Запада как идеи и как мировой практики.

Модернизация: эндогенная и экзогенная

Здесь следует сделать одно важное замечание. Начиная с XVI в. с территории Западной Европы начинает развертываться *процесс планетарной модернизации*. Он строго совпадает с колонизацией Западом новых земель, где, как правило, проживают народы, сохраняющие устои традиционного общества. Но постепенно модернизация затрагивает всех: и людей Запада, и людей не-Запада. Так или иначе модернизируются все. Но сущность этого процесса в разных случаях остается различной.

На самом Западе, в первую очередь в Англии, Франции, Голландии и особенно в США, стране, построенной как лабораторный эксперимент Нового времени на якобы «пустой земле», «с чистого листа», модернизация отличается

эндогенным характером. Она вырастает из последовательного развития культурных, социальных, религиозных и политических процессов, заложенных в самой основе европейского общества. Не везде это протекает одновременно и с одной и той же интенсивностью — здесь явно отстают такие народы, как немцы, испанцы и итальянцы, у которых модернизация идет в несколько замедленном ритме, чем у их европейских соседей с Запада. Но, как бы то ни было, Новое время для европейских народов наступает по их внутреннему графику и в соответствии с естественной логикой их развития. Модернизация стран и народов самого Запада протекает по внутренним законам. Развертываемая из объективных предпосылок и соответствующая воле и настрою большинства европейского населения, она является *эндогенной*, то есть имеющей внутренние причины.

Совсем иное дело с теми странами и народами, которые втягиваются в процесс модернизации *помимо их воли*, становясь жертвой колонизации или будучи вынужденными сопротивляться европейской экспансии. Конечно, подчиняя себе страны и народы или отправляя в США черных рабов, люди Запада способствуют процессу модернизации. Вместе с колониальной администрацией они вводят новые порядки, устои, а также технику, логистику экономических процессов, нравы, учреждения, социально-политические структуры, правовые установки. Черные рабы, особенно после победы аболиционистов-северян, становятся членами более развитого общества (хотя и оставаясь людьми второго сорта), чем архаические племена Африки, откуда они были вывезены работорговцами. Факт модернизации колоний и порабощенных народов отрицать нельзя. Запад и в данном случае оказывается мотором модернизации. Но последняя весьма специфична. Ее можно назвать *экзогенной*, то есть происходящей извне, навязанной, занесенной.

Незападные народы и культуры пребывают в условиях

традиционного общества, развивающегося в соответствии со своими циклами и своей внутренней логикой. Там также бывают периоды подъема и упадка, религиозные реформы и внутренние раздоры, экономические катастрофы и технические открытия. Но эти ритмы соответствуют иным, *незападным*, моделям развития, следуют иной логике, направлены к иным целям и решают иные задачи.

Экзогенная модернизация — и в этом ее основное свойство — *не проистекает из внутренних потребностей и естественного развития традиционного общества*, которое, будучи предоставлено самому себе, скорее всего никогда бы не пришло к тем структурам и моделям, которые сложились на Западе. Иными словами, такая модернизация является *насильственной* и навязанной извне.

Следовательно, синонимический ряд модернизация = вестернизация можно продолжить — это еще и колонизация (введение внешнего управления). Подавляющее большинство человечества — за вычетом европейцев и прямых потомков колонизаторов Америки — подверглось именно этой насильственной, навязанной, внешней модернизации. Она сказалась на травматичности и внутренней противоречивости большинства современных обществ Азии, Востока, Третьего мира. Это *болезненный Модерн*, карикатурный Запад.

Два типа обществ с экзогенной модернизацией

Теперь во всех обществах, подвергшихся экзогенной модернизации, можно выделить два больших класса:

- сохранивший политико-экономическую самостоятельность (или добившийся ее в ходе антиколониальной борьбы);

• утративший ее.

Если рассмотреть второй случай, то мы имеем дело с *чистой колонией*, полностью потерявшей свою самостоятельность и причастной к ценностям Нового времени не более, чем индейцы из североамериканских резерваций. Такие общества могут быть архаичными (как некоторые африканские, южноамериканские или тихоокеанские племена), но частично пересекаться с высокотехнологическими и вполне модернизированными структурами, развернутыми на том же самом пространстве колонизаторами. Здесь *смыслового* пересечения между автохтонами и модернизаторами почти нет: статус местных обществ слабо отличается от статуса обитателей зоопарка или в лучшем случае заповедной зоны, населенной вымирающими видами (занесенными в «Красную книгу» природы). В этой ситуации *модернизация не касается местного населения*, которое продолжает не замечать ее, сталкиваясь лишь с техническими ограничениями — в виде колючей проволоки или стальных решеток клетки.

В том случае, когда мы имеем дело с обществом, которое вынужденным образом прошло определенный путь по линии вестернизации и экзогенной модернизации, но сделало это в ответ на угрозу колонизации со стороны Европы (Запада) и сумело сохранить независимость, процесс модернизации (=вестернизации) приобретает более сложный характер. Можно назвать это *оборонительной модернизацией*.

Здесь в центре внимания оказывается баланс между ценностями, свойственными традиционному обществу, подлежащими сохранению для поддержания идентичности, и теми заимствованными моделями и системами, которые необходимо импортировать с Запада для создания предпосылок и условий для частичной (оборонительной) модернизации. Вместе с тем в таких обществах сохраняет-

ся *субъектность,* определяющая собственные интересы, что предопределяет остроту сопротивления колонизаторским инициативам Запада.

Картина складывается такая: чтобы отстоять свои интересы перед натиском Запада, страна (общество) вынуждена заимствовать некоторые ценности с того же самого Запада, но сочетать их с ценностями самобытными. Это явление С. Хантингтон назвал термином «*модернизация без вестернизации*».

Впрочем, подобное понятие несет в себе некоторое противоречие: так как модернизация и вестернизация суть *синонимы* (Запад=Модерн), то невозможно проводить модернизацию в отрыве от Запада и копирования его ценностей — в традиционных обществах, не входящих в ареал европейской культуры, предпосылки для модернизации просто отсутствуют. Поэтому речь идет не о полном отказе от вестернизации, но о таком *балансе* между собственными и заимствованными с Запада ценностями, который удовлетворял бы условиям сохранения идентичности (отличия от Запада — причем принципиального!) и развитию *оборонных* технологий, способных конкурировать с Западом в основных жизненных областях (чего невозможно достичь без интенсивного включения в «западный» контекст). Получается, что такая разновидность экзогенной модернизации основана на наличии самостоятельных интересов (принципиально отличных от колонизаторских интенций Запада) и при этом *на сочетании собственных ценностей с прагматически заимствованными ценностями Запада.* (Можно сказать, что это «модернизация + частичная вестернизация».)

В данную категорию экзогенной модернизации попадают такие страны, как Россия (причем в течение всего Нового времени, что представляет собой достаточно уникальный случай!), но также современный Китай, Индия,

Бразилия, Япония, некоторые исламские страны, страны Тихоокеанского региона (вступившие в этот процесс намного позже — в последнее столетие). Кроме России, остальные страны, идущие по этому пути, были в определенный момент *колониями* Запада и получили независимость относительно недавно либо (как Япония) потерпели поражение в военном конфликте и были оккупированы.

В любом случае этот тип экзогенной модернизации выдвигает на первый план *вопрос о балансе собственных и заимствованных ценностей*, то есть проблему пропорций и качества элементов, принадлежащих к *двум культурно-историческим и цивилизационным формам* — к местным консервативным устоям традиционного общества и якобы «универсальным» и «прогрессивным» моделям западной цивилизации.

В этой пропорции и заключается самое главное, что составляет сущность отношений России с Западом.

Мы вернемся к этому несколько позже, а сейчас сделаем несколько геополитических замечаний.

Концепции «Запад» и «Восток» в Ялтинском мире

Теперь рассмотрим геополитические аспекты обсуждаемой проблемы и связанные с ними трансформации понятия «Запад» в XX в.

После окончания Второй мировой войны оно стало применяться геополитически к совокупности развитых стран, ставших на капиталистический путь развития. Это было еще одной коррекций данного понятия. Такой «Запад» фактически *тождествен капитализму и либерально-демократической идеологии*. Те страны, которые продвинулись по этому пути дальше других, собственно и считались «Западом» в конструкции двухполюсного (биполярного)

мира, называемого также «Ялтинским» (по месту совещания глав стран антигитлеровской коалиции, предопределившей карту мира во второй половине XX в., — Сталина, Рузвельта и Черчилля).

На этот раз понятие «Запад» частично отличается от рассматриваемого ранее. Во-первых, идеологически к «Западу» в широком смысле принадлежали и коммунистические режимы — в первую очередь СССР, — которые заимствовали «западноевропейские» теории социализма и коммунизма (построенные на наблюдениях за историей политэкономического развития именно западных обществ вместе с соответствующей верой в прогресс и универсальность этих закономерностей для всего человечества). Но при этом марксизм стал излюбленной моделью осуществляемой модернизации традиционных обществ, которая могла *совместить* соблюдение собственных геополитических интересов, частичное сохранение локальных традиционных ценностей с мощным заимствованным аппаратом модернизационных и собственно западных идей, структур, институтов и теорий. Таким образом, марксизм — советский, китайский (маоизм), вьетнамский, северокорейский и т. д. — следует рассматривать в качестве *варианта экзогенной модернизации*, о которой сказано выше. Причем с точки зрения технологической и идеологической конкуренции этот проект оказался относительно успешным.

Хотя догматически марксизм претендовал на то, что он заменит собой капитализм, когда тот достигнет критической стадии в своем становлении, на практике вышло совсем иначе: коммунистические партии победили в тех обществах, где капитализм был в зачаточном состоянии, а традиционное общество (прежде всего аграрное) преобладало и в экономическом, и в культурном смыслах. Иными словами, реализовавшийся, победивший марксизм был *опровержением теорий своего идейного основоположника*,

и, напротив, история капиталистических обществ показывает, что предсказания Маркса о неизбежности в них пролетарских революций опровергнуты временем. Маркс настаивал на том, что пролетарской революции в России (и в других странах с преобладанием «азиатского способа производства») произойти не может, но она осуществлена именно здесь. В обществах же с развитым капитализмом подобного не случилось.

Из этого напрашивается только один вывод: *марксизм в коммунистических режимах был не тем, что он сам о себе провозглашал*, но лишь моделью *экзогенной модернизации*, при которой западные ценности воспринимались лишь частично и неявно сочетались с местными религиозно-эсхатологическими и мессианскими течениями. В целом эта процедура специфической модернизации — *альтермодернизации* по социалистическому (тоталитарному), а не по капиталистическому (демократическому) пути — служила для отстаивания геополитических и стратегических интересов самостоятельных держав, стремившихся отразить колониальные атаки Европы и (позже) Америки.

Стратегический блок, сформировавшийся вокруг СССР, авангарда этой альтермодернизации, был назван после Второй мировой войны «Востоком». Хотя речь шла, собственно, о варианте экзогенной модернизации, формально ценностная система марксизма основывалась на парадигме Нового времени в той же степени, как и капиталистические общества. Иногда в политологии Ялтинского периода вместо формулы «Восток» («коммунистический Восток», «Восточный блок») употреблялось выражение «*Второй мир*», которое гораздо точнее и охватывает страны, которые провели ускоренную индустриализацию с частичной и весьма специфической модернизацией (коммунистического толка) и — самое главное! — сумели сохранить геополитическую самостоятельность, избежав (или

освободившись от) прямой колонизации.

В таком случае понятие «Третий мир» приобретает осмысленность.

«*Первый мир*», то есть собственно «Запад» в терминологии послевоенного периода, — это *страны с эндогенной модернизацией* (Европа, Америка), а также единственный случай экзогенной, но чрезвычайно успешной технологически модернизации в лице оккупированной Японии, сумевшей направить внутреннюю энергию завоеванной нации на гигантский экономический рывок по западным стандартам. Но при этом Япония утратила геополитическую самостоятельность и в стратегическом смысле стала покорной и надломленной колонией США.

«*Второй мир*» — страны экзогенной модернизации, которые сумели воспользоваться тоталитарно-социалистическими методами модернизации с частичным и относительно успешным заимствованием западных технологий и сохранением независимости от капиталистического Запада. Это в понятиях Ялтинского мира называлось «Востоком».

И наконец, «*Третий мир*» обобщал страны экзогенной модернизации, которые отстали в развитии и от «Первого», и от «Второго» миров, не обладали полноценной суверенностью, сохраняли устои традиционного общества и вынуждены были зависеть либо от «Запада», либо от «Востока», представляя собой полузависимые колонии того или другого.

Итак, если мы ограничиваем наше рассмотрение условиями «холодной войны» (двухполярного мира), то понятие «Запад» в этом случае будет выступать синонимом капиталистического лагеря — «Первого мира», включающего наиболее развитые и богатые страны Северной Америки, Европы и Японию.

Интеллектуальным штабом интеграции «Первого ми-

ра», «Запада» в этом конкретном смысле, служила Трехсторонняя комиссия (Trilateral comission), созданная на основе американского Совета по внешней политике (Counsil on Foreign Relations) и собранная из представителей элиты США, Европы и Японии. Так, определенный сегмент интеллектуалов, банкиров, политиков, ученых «Запада» начиная с 1960-х годов взял на себя историческую ответственность за процессы глобализации и создание «мирового правительства» на основе конечной победы «Запада» над всем остальным миром — и в геополитическом, и в ценностном, и в экономическом, и в идеологическом смыслах.

В 1990-е годы «Запад» становится глобальным

Еще одну трансформацию понятие «Запад» испытало в 1990-е годы, когда рухнула архитектура двухполярного (Ялтинского) мира. Отныне либерал-капиталистическая модель стала главной и единственной, коммунизм как проект альтермодернизации пришел к краху, не выдержав конкуренции, и военно-политическая и экономическая мощь США неоспоримо превысила позиции всех остальных стран. Односторонняя капитуляция СССР и Варшавского блока в «холодной войне» с параллельным самороспуском открыла путь глобализации и построения *однополярного* мира[1]. Американский философ, неоконсерватор Фрэнсис Фукуяма заговорил о «конце истории», о «замене политики экономикой» и «превращении планеты в единый и однородный рынок»[2].

Это означало, что понятие «Запад» превратилось в *глобальное и единственное*, так как ничто больше не оспари-

---

[1] *Дугин А.* Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007.
[2] *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.

вало не только саму идею модернизации, но и ее наиболее ортодоксальный, наиболее «западный» в историческом плане, *либерально-капиталистический проект*. Столь успешная и весомая победа «Запада» над «Востоком», то есть «Первого мира» над «Вторым», по сути, ликвидировала альтернативы модернизации, сделала ее единственным и неоспоримым содержанием мировой истории. Каждый, кто хотел оставаться подключенным к «современности», должен был признать это безусловное верховенство «Запада», выразить ему свою лояльность и вместе с тем раз и навсегда отказаться от каких бы то ни было собственных интересов, хотя бы в чем-то отличных или — тем более — идущих вразрез с интересами США (или, шире, стран блока НАТО) как флагмана однополярного мира.

Отныне проблема ставилась только таким образом*: в какой сегмент глобального «Запада» будут интегрированы та или иная страна, то или иное государство*? Если модернизация и, соответственно, вестернизация были проведены успешно, то появлялся шанс интегрироваться в «золотой миллиард» или зону «богатого Севера». Если по каким-то причинам этого не получилось, оставалась интеграция в пояс мировой периферии, в зону «бедного Юга». При этом планетарное разделение труда предполагало обещание модернизации и для «бедного Юга», но на сей раз по колониальному сценарию, когда политическое рабство заменялось экономическим, а импорт западных культурных стандартов методично искоренял автохтонные ценности (так, жители Южной Кореи, получившей мощный импульс экзогенной модернизации колониального типа, вместе с бурным экономическим ростом столкнулись с почти тотальным распространением протестантизма среди традиционно шаманистского, буддистского и конфуцианского общества). Включенность всех стран в глобальный Запад ничего не гарантировала, но давала шанс.

В этом же русле проходили реформы и в России, по-

явившейся как новое образование после распада СССР, который, в свою очередь, наследовал геополитически Российской империи. Россия также попыталась интегрироваться в глобальный Запад, рассчитывая на место в «богатом Севере» и надеясь «причаститься» к модернизации в ее *магистральном* (капиталистическом), а не *окольном* (социалистическом) пути. При этом России, как и всем остальным странам, предлагалось отказаться вначале от глобальных претензий, а потом и от локальных, довольствуясь ролью стратегического сателлита США среди еще менее модернизированных народов без каких бы то ни было особых привилегий. В стране, по сути, вводилось *внешнее управление.*

И соответственно, у власти размещалась *колониальная элита* — реформаторов-западников и олигархов, осознающих самих себя как менеджеров, работающих на глобальную транснациональную корпорацию со штаб-квартирой по ту сторону Атлантики.

Глобализация

В начале 1990-х, когда «конец истории» казался не только весьма близким, но практически свершившимся, понятие «Запад» почти совпало с понятием «мир», что и было закреплено в термине «глобализация».

Глобализация представляет собой последнюю точку в практической реализации изначальных претензий «Запада» на универсальность своего исторического опыта и своей ценностной системы.

Проникая в различные общества и культуры, сочетая гуманитарные проекты с колониальными методами удовлетворения собственных интересов (в первую очередь в сфере природных ресурсов), процесс глобализации делал

«Запад» понятием *глобальным*. Мир стремительно двигался к однополярной модели, где развитый *центр* (ядро — США, трансатлантическое сообщество) имел дело с недоразвитой *периферией*[1].

В итоге сложилась модель, описанная в классическом тексте С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций», — «Запад и все остальные». Но в модели глобализации эти «все остальные» не рассматриваются как *нечто иное* в отношении «Запада», это *тоже «Запад»,* только недоделанный, несовершенный, своего рода «недо-Запад».

И тут уже в новых исторических условиях и через вереницу трансформаций и смысловых изменений мы снова сталкиваемся с тем *культурным расизмом* и либерал-демократическим *секулярным «мессианством»*, который мы обнаружили у истоков эпохи Модерна и в изначальном определении понятия «Запад».

Постмодерн и «Запад»

В 1990-е происходил еще один интересный процесс, касающийся содержания понятия «модернизация». Модернизация, которая с разными скоростями и с разным качеством осуществлялась так или иначе во всем мире с начала Нового времени в Западной Европе, к концу XX в. подошла к своему логическому завершению. Причем, естественно, это случилось на самом Западе: тот, кто раньше других и по естественным причинам приступил к модернизации традиционного общества, тот первым достиг финиша. Поэтому, преодолев и инерцию сопротивления консервативных структур, и довольно эффективную на определенном этапе конкуренцию со стороны социалистической альтермодернизации, Модерн в его либерально-капитали-

[1] *Barnett T.* The Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century. Washington, 2004.

стической форме к означенному рубежу завершил выполнение своей программы — прямое противостояние альтернативных идеологий было сломлено, а преодоление пассивного сопротивления мировой периферии становилось делом техники. И там, где оно еще сохранялось, его можно было приравнять к «инерциальной реакции объективной среды», а не к конкурентной стратегии. Борьба с традиционным обществом и его попытками предстать в новом обличии (альтермодернизация, социализм) закончилась *победой либерализма*. И на самом Западе модернизация достигла *внутреннего рубежа*, добравшись до самого дна западной культуры.

Это состояние окончательного исчерпания повестки дня процессов модернизации породило на Западе весьма специфическое явление — *Постмодерн*.

Суть Постмодерна в том, что окончание модернизации традиционного общества переносит людей Запада в *принципиально новые условия*. Можно уподобить это долгому движению к намеченной цели. Люди, расположившиеся в поезде, едущем к невероятно далекой станции, настолько привыкли к движению, которое не останавливается в течение нескольких поколений, что по-другому не представляют себе жизни. Они видят существование как развитие, обращенное к дальнему ориентиру, о котором все помнят, к которому все стремятся, но который остается все время еще очень далеким. И вот поезд прибывает на конечную станцию. Перрон, вокзал... Цель достигнута, поставленные задачи решены... Но люди настолько привыкли все время двигаться, что не могут прийти в себя от шока *столкновения с осуществившейся мечтой*. Когда цель достигнута, больше некуда стремиться, некуда ехать, не к чему двигаться. *Прогресс достиг своего предела*. Это и есть «конец истории», или «постистория» (А. Гелен, Дж. Ваттимо, Ж. Бодрийяр).

Этой метафорой можно вполне описать состояние Постмодерна. Здесь и чувство успеха, и чувство разочаро-

вания. В любом случае это *больше не Модерн,* не Просвещение, не Новое время. Критическая фракция философов Постмодерна подвергла *осмеянию* различные этапы движения к этой цели, принялась иронизировать над теми иллюзиями и надеждами, которыми тешили себя те, кто начинал движение, не подозревая о том, каким будет достижение поставленной цели. Другие, напротив, предлагали расстаться с критическим чувством и воспринимать «дивный новый мир» каков он есть, не вдаваясь в детали и сомнения.

В любом случае оцененный со знаком минус или со знаком плюс Постмодерн представлял собой *терминальное состояние*. Вера в прогресс сделала свое дело и уступила место *игровой темпоральности*[1]. Реальность, вытеснившая ранее миф, религию, священное, сама превратилась в виртуальность. Человек, на заре Нового времени свергнувший Бога с пьедестала, сам отныне готов уступить королевское место постчеловеческим породам — киборгам, мутантам, клонам, продуктам полностью «раскрепощенной техники» (О. Шпенглер[2]).

Пост-Запад

Запад в эпоху глобализации не только становится сам глобальным и вездесущим (что выражается в униформно-

[1] *Делёз Ж.* Логика смысла. М.: Академия, 1995. Ср. понятия Делёза «эон» («рассудочная темпоральность, имеющая прошлое и будущее, но не имеющая бытийного настоящего») и «хронос» («бытийная темпоральность, представляющая чистое настоящее, лишенное смысла — т. е. будущего и прошлого»); обе темпоральности приобретают, согласно Делёзу, свободу в состоянии «ризомы». См. также: *Дугин А.* Постфилософия. М., 2009.

[2] См.: *Шмитт К.* Планетарная напряженность между Востоком и Западом // *Дугин А.* Основы геополитики. М.: Арктогея, 2000.

сти мировых мод, повальном распространении компьютерных и информационных технологий, повсеместном установлении рыночной экономики и либерально-демократических политических и правовых систем), но в своем ядре, в центре однополярного мира, «богатого Севера» он *качественно меняется от Модерна к Постмодерну*.

И отныне обращение к этому *ядерному Западу*, Западу в его высшем проявлении, быть может, впервые в истории *не влечет за собой модернизации* (какой бы то ни было — экзогенной или эндогенной), так как сам *Запад отныне синонимичен не Модерну, но Постмодерну*. А Постмодерн — с его иронией, чистой технологичностью, рециклированием старого, утратой веры в прогресс — более не предлагает для своей периферии даже отдаленной перспективы развития. Наступивший «конец истории» ставит совершенно иные проблемы, перед весом и значением которых подтягивание «Западом» до своего уровня «бедного Юга» выглядит абсолютно ненужной, никчемной и бессмысленной задачей: коль скоро чего-чего, а уж ответа на новые проблемы эпохи Постмодерна там точно не содержится.

Поэтому те, кто по инерции обращается к корневому Западу в поисках модернизации в новых условиях, обречены на колоссальное разочарование: пройдя весь путь модернизации до конца, Запад не имеет больше *стимула* ни двигаться в этом направлении самому, ни увлекать за собой других. Запад перешел на качественно новую стадию. Теперь это уже не Запад, а *пост-Запад*, особый, видоизмененный в своей глубинной природе *Запад эпохи Постмодерна.*

Технически и технологически он полностью доминирует, и процессы глобализации развертываются полным ходом, но это уже не *поступательное развитие, а круговое движение вокруг все более и более проблематичного центра*. Архитектура Постмодерна излюбленным ходом делает такие конструкции, где стили и эпохи причудливо перемеша-

ны, а на месте центральной точки архитектурного ансамбля зияет *дыра*. Это *отсутствующий центр*, полюс круга, представляющий собой провал в небытие.

Такова и содержательная структура однополярного мира. В центре глобального Запада — в США и странах трансатлантического альянса — сверкает черная бессмысленная яма наступившего Постмодерна.

Зазор между теорией и практикой глобализма

Последняя метаморфоза Запада при переходе к Постмодерну, которую мы описали выше, является все же чисто теоретической конструкцией. Такая картина сложилась к началу 1990-х годов, и так осмысляли логику мировой истории те мыслители, которые еще сохранились на Западе, прежде чем окончательно уступить дорогу постчеловечеству (возможно, мыслящим автоматам). Но между данной теоретической конструкцией и ее воплощением сохранялся определенный *зазор*. Размышления о природе и структуре *такого* Запада и *такого* Постмодерна приводили даже его ярых апологетов в состоянии ужаса и отчаяния. Например, Фрэнсис Фукуяма в определенный момент отшатнулся от той идиллической картины, которую сам же и нарисовал в начале 1990-х, и предложил сдать назад, удерживая Запад в том состоянии, где он находился, еще не подъехав к конечной станции[1]. Критики Фукуямы, в том числе и С. Хантингтон, и вовсе завышали качество и объем тех преград, которые предстоит преодолеть Западу, чтобы стать по-настоящему глобальным и всеобщим. С разных точек зрения все стали *цепляться за остатки Модерна* — с его на-

[1] *Фукуяма Ф.* Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, 2004.

циональными государствами, верой в прогресс, морализаторством, менторством и фобиями, к которым все давно привыкли. Тогда было решено продлить движение к намеченной цели или, по крайней мере, симулировать покачивание вагонов и стук колес на стыках рельс.

Сегодня Запад пребывает как раз в этом зазоре — *между* тем, чем он теоретически должен стать в эпоху глобализма и по факту преодоления всех преград и победы над всеми альтернативами, и тем, что ему чрезвычайно не хочется признавать как новую глобальную архитектуру Постмодерна, — с дырой вместо центра. Однако в этом зазоре — бесконечно малом и постоянно сокращающемся — происходят весьма важные процессы, которые постоянно меняют общую мировую картину.

Все это активно влияет на Россию.

США и Евросоюз: два полюса западного мира в начале XXI в.

Колебание Запада в зазоре между закончившимся Модерном и начинающимся Постмодерном отражается и в *геополитическом* срезе.

Так, исчезновение глобального конкурента в лице СССР (альтермодернизационный проект) поставило под вопрос трансатлантическую цивилизацию. Отсутствие врага на Востоке делало связь США и Европы в рамках «ядерного Запада» не столь очевидной и само собой разумеющейся. Стало проявляться расслоение трансатлантического Запада на США и Евросоюз.

Центр Запада в течение XX в. постепенно смещался по ту сторону Атлантики, к США. И после Второй мировой войны именно Соединенные Штаты взяли на себя миссию *авангарда Запада*. Они стали сверхдержавой, обеспечивающей своей мощью военно-стратегическую безопасность

и экономическое процветание европейских стран.

После распада СССР роль центра Запада еще прочнее утвердилась за США. Это совпало с европейской интеграцией и созданием в Европе по сути *наднационального государства*, государства постмодернистского типа (Р. Купер[1]). Будучи когда-то колыбелью Запада как явления, Европа в свою очередь стала *«Востоком» по отношению к США*. Соединенные Штаты прошли по пути модернизации и постмодернизации *дальше*, чем Европа, и Старый Свет в сравнении с Новым превратился в нечто *самостоятельное*.

Так сложилась геополитическая картина, где в пространстве самого Запада наметился определенный *дуализм*. С одной стороны, самым «продвинутым» Западом стали США. А Европа, со своей стороны, попыталась нащупать свой отдельный, *особый путь*.

Начались даже философские споры, и некоторые американские неоконсерваторы (в частности, Р. Кейган[2]) предложили рассматривать американскую цивилизацию как вытекающую из концепции грозного государственного «Левиафана» Гоббса, а Евросоюз как воплощение пацифистских идей Канта — с его гражданским обществом, толерантностью и правами человека. Предлагались и иные классификации. В любом случае США и Европа начали поновому осмыслять свою идентичность, свои ценности, свое отношение к Модерну и Постмодерну.

На уровне *интересов* это обнаружилось еще сильнее. Евросоюз как первая коммерческая и вторая экономическая сила в мире осознал, что его интересы в арабских странах, а также в отношении России и других стран Востока сплошь и рядом *отличаются* от американских и часто *противоположны* им. Особенно наглядно это проявилось во время Иракской войны, когда командование НАТО не под-

[1] *Cooper R.* The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century, London, 2003.

[2] *Kagan R.* Of Paradise and Power. Washington, 2003.

держало американское вторжение, а лидеры Франции и Германии (Ширак и Шредер) совместно с президентом России В. Путиным выступили резко против этой войны.

Можно описать сложившуюся картину такой формулой: *у США и Европы сегодня общие ценности, но различные интересы.* Различие интересов и осознание этого особенно заметно в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Испания. Их обычно называют странами *континентальной Европы*, а тенденцию к представлению Европы как самостоятельного геополитического игрока, который по возможности должен стать независимым от США, — *континентализмом* или *евроконтинентализмом*. В самых крайних случаях континенталисты утверждают, что *у США и Европы различны не только интересы, но и ценности* (например, французский философ Ален де Бенуа[1]).

На другом полюсе Европы находятся те, кто всячески подчеркивает *единство ценностей*, и на этом основании настаивают на подстраивании европейских интересов под американские. К этому полюсу относятся *евроатлантисты* (Англия, страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, страны Балтии и т. д.).

Две разные тенденции в самой Европе создают *двойственную идентичность* — с одной стороны, мы имеем дело с континентальной Европой, а с другой — с атлантистской (проамериканской). К понятию «Запад» оба полюса Европы относятся неоднозначно: континенталисты считают, что если Европа — «Запад», то США — уже что-то другое. А атлантисты, напротив, всячески стремятся отождествить судьбы Европы и Америки как *единой цивилизации*, где Атлантика является своего рода «внутренним озером» (подобно тому, как греческая и римская эйкумены рассматривали в свое время Средиземное море). Для евроатлантистов Евросоюз и США вместе представляют именно

[1] *De Benoist A.* L'Europe, Tiers-monde, meme combat. Paris, 1992.

«Запад», притом что авангардом его выступают США.

Идентичность России: страна или?..

Теперь перейдем к рассмотрению идентичности современной России. Предварительное разбирательство того, что следует понимать под термином «Запад», снабдило нас надежным инструментарием, позволяющим определить, что мы понимаем под «Россией». И после этого можно уже вполне корректно и обоснованно описать соотношение и того и другого в настоящем и вероятном будущем.

Существуют два принципиально различных понимания современной России (впрочем, это можно сказать и о царской романовской, где велись оживленные споры по тому же поводу).

Россию можно понимать либо как *страну*, либо как *самостоятельную цивилизацию*. В зависимости от принятого решения, *как* мы понимаем Россию, будет определяться и структура наших отношений с Западом.

Если Россия — страна, то ее следует соотнести с другими странами, например, такими как Франция, Германия, Англия или США. Следовательно, ее придется отнести *к Европе* (по частичному географическому расположению, преобладанию христианства и индоевропейскому происхождению доминирующих славянских этносов — в первую очередь великороссов) и соответственно к «Западу». Многие считают Россию *европейской державой*. Такое мнение преобладает:

- у романовской аристократии,
- у русских западников,
- у современной российской политической элиты.

Из уст Путина и Медведева мы неоднократно слышали высказывания о том, что «Россия — европейская страна».

Если встать на эту позицию, то надо почти сразу при-

знать, что Россия — «*плохая*, а то и вовсе ужасная европейская страна», так как она явно выпадает из того, что принято считать нормативным образцом западной цивилизации. Ценностная, социальная, политическая, культурная и психологическая идентичность России настолько отличается от европейского и американского общества, что сразу же возникает сомнение в ее принадлежности к Западу.

Самый главный критерий при этом — *природа российской модернизации*. При ее рассмотрении мы явно видим все признаки *экзогенности*, то есть внешнего происхождения модернизационного импульса, который не вызревал внутри самого общества, но искусственно и насильственно (авторитарно или тоталитарно) навязывался *сверху* тиранической властью деспота (Петр Великий) или экстремистскими фанатиками (большевики). В России не вызревали и не вызрели:

- ни капитализм,
- ни индивидуализм,
- ни демократия,
- ни рационализм,
- ни личная ответственность,
- ни правовое самосознание,
- ни гражданское общество.

Напротив, преобладали и преобладают до сих пор установки традиционного общества:

- патернализм,
- коллективизм,
- иерархичность,
- отношение к государству и обществу как к семье,
- превосходство морали над правом, этического мышле-

ния над рациональным и т. д.

Кроме того, Россия впитывала многие европейские черты — как ценностные, так и технологические, но адаптировала их к своему собственному укладу и заставляла служить своим *интересам* и своим *ценностям*. Россия активно черпала у Запада различные элементы, но им упорно не становилась. Отсюда крайнее раздражение людей Запада (и особенно русских западников) в отношении России, которая представляется им зловещей и агрессивной «карикатурой на Европу», имитирующей ее внешние формы, но вкладывающей в них свое исконно русское содержание.

Россия отличается не просто от какой-либо европейской страны, подобно тому как и те различаются между собой. При пересечении российских границ меняется сам *культурный дух*, мы переходим из одного культурно-исторического типа к другому. Россия отлична именно от Европы, от Запада всего — целиком.

Если же настаивать, что Россия все-таки— это часть Запада и европейская страна, то можно сделать два вывода. Либо Россию надо *фундаментально реформировать в западном ключе* (чего пока никому не удавалось довести до конца), либо Россия представляет собой какой-то *иной Запад*, «другую Европу».

Первый случай наиболее частый. Но то упорство, с которым русский народ и русское общество отказываются от глубинной вестернизации (лишь имитируя ее внешне), саботируют принятие европейских ценностей (подделывая их под особый национальный лад), отыскивают в самом западном обществе экстравагантные сценарии, позволяющие ускользнуть или размыть строгий императив чисто западных ценностей и установок (что очевидно и в царский, и — особенно — в советский период), заставляет полагать, что превращение русских в европейцев дело совершенно безнадежное. И Россия так и останется лишь «недо-Западом»,

«Западом второго сорта» — не в силах впитать по-настоящему сущность западной идентичности.

Второй случай, когда речь идет о том, что Россия — это Запад, но другой, не менее сложен. Во-первых, даже если сами русские считают себя «Западом», но только особым — например, православным, поствизантийским, славянским и т. д., европейцы никогда не признавали и не признают этого, считая такую претензию «высокомерной и бездоказательной амбициозностью». Попытки настаивать на ней только усилят напряженность и вызовут ответную реакцию. Если Россия — это Запад, причем настаивающий на том, что его надо принимать и признавать таким, каков он есть, само понятие «Запад», острота его исторического, геополитического, технологического и культурного вектора размывается, рассеивается и рушится. *Если Россия часть Запада, то Запад больше не Запад, а не пойми что.*

И наконец, обе позиции, педалирующие, что Россия — европейская страна, усугубляют свою противоречивость твердым осознанием того, что у России есть свои *собственные интересы*, которые всегда или почти всегда входят в противоречие с интересами стран Запада. Независимость и свобода Родины всегда была для русских наивысшей ценностью, и это явное и устойчивое расхождение интересов заставляло ставить под сомнение общность ценностей и принадлежность к единой цивилизации. Это не главный аргумент, так как и между европейскими державами были глубокие противоречия, но в сочетании с двумя вышеприведенными соображениями это создавало благоприятный фон для закономерных сомнений в гипотезе о принадлежности России к Западу.

Лишь позиция крайних западников более или менее состоятельна — правда, с чисто теоретической, абстрактной точки зрения. Они утверждают, что Россия — это «полное

уродство», которое должно быть насильственно превращено в часть Запада путем искоренения всякой самобытности, отказа от собственных интересов, введением внешнего управления и сменой этносоциального состава населения. Чтобы Россия могла стать полноценной европейской страной, ее надо предварительно уничтожить до основания. Но даже радикальный эксперимент большевиков не справился с этой задачей, и Россия со всеми своими особенностями возродилась из пепла. Тем более не удалось это либерал-реформаторам и олигархам 1990-х.

Однако убежденность в том, что Россия — европейская страна, до сих пор присуща правящему классу России. И недаром именно правящий класс всегда был источником модернизации и вестернизации русского общества. Пушкин справедливо замечал, что «в России правительство — единственный европеец».

Россия как цивилизация (культурно-исторический тип)

Другой взгляд на Россию определяет ее как *самостоятельную цивилизацию*. Это позиция была свойственна поздним славянофилам (Леонтьев, Данилевский), русским евразийцам, младороссам, национал-большевикам (Устрялов, сменовеховцы). В этом случае Россия предстает как явление, которое следует сравнивать не с отдельной европейской страной, но с Европой в целом, с исламским миром, с индусской или китайской цивилизацией. Данилевский называл это «*культурно-историческим типом*». Можно говорить о «славяно-православной» или русской цивилизации. Еще точнее выражение *Россия-Евразия*, которое ввели в оборот первые евразийцы (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, Н. Алексеев, П. Сувчинский,

В. Ильин и т. д.). Такое написание подчеркивает, что речь идет не о стране, не о простом государственном образовании, но о цивилизационном единстве, о государстве-мире.

Наличие европейских и азиатских черт в России как цивилизации не должно приводить к поспешному выводу, будто речь идет о *механическом сложении* заимствований с Запада и Востока. Термин «Евразия» указывает: это нечто третье, цивилизация особого типа, сопоставимая по *масштабу* и *оригинальности*, но отличная по *ценностному* содержанию от цивилизаций и Востока, и Запада.

Если принять утверждение, что Россия есть цивилизация, все становится на свои места — и в эпоху Московского царства, и в санкт-петербургский период, и в советское время. Отношения Россия—Запад приобретают законченную логику, и все нелепости и парадоксы, присущие гипотезе «России как европейской страны», разрешаются сами собой.

Россия-Евразия (=особая цивилизация) обладала и своими самобытными *ценностями,* и своими *интересами.* Ценности относились к традиционному обществу, с акцентом на православной вере и специфическом русском мессианстве.

На политические и социальные устои существенное влияние оказали имперская идея Чингисхана и централизованное устройство монгольской орды. Естественное развитие этого комплекса не требовало модернизации и не несло в себе предпосылок появления тех идей, принципов и тенденций, положенных в основу Нового времени в Европе. Но наличие на Западе активной и агрессивной колонизаторской силы, навязчиво пытающейся продвинуть на Восток не только свои интересы, но и свои ценности, заставляло Россию периодически вставать на путь частичной и оборонительной модернизации (и вестернизации). Эта модернизация была экзогенной, но не колониальной. Ее

частичный, *гибридный* характер и ответственен за ту карикатурность России, которой возмущались русские западники, начиная с Чаадаева, но которую, со своей стороны, порицали и русские славянофилы (Хомяков, Киреевский, братья Аксаковы и т. д.).

В этом случае русская история предстает как циклическая пульсация особой цивилизации, в спокойных условиях возвращающейся к своим самобытным корням, но в критические периоды вступающей в насильственную модернизацию (сверху). И петровские реформы, и «европеизм» романовской элиты, и советский эксперимент обретают в такой картине осмысленность и закономерность. Россия-Евразия жестко отстаивала свои собственные интересы и ценности, иногда вынуждено прибегая к вестернизации-модернизации для эффективного противостояния Западу.

Россия не часть Запада и не часть Востока. Это цивилизация сама по себе. И сохранение такой свободы, независимости и самобытности перед лицом других цивилизаций — как с Запада, так и с Востока — составляет вектор русской истории.

Россия и Запад в 1990-е годы

В эпоху СССР и особенно «холодной войны» цивилизационная миссия России получила идеологическое выражение в форме *советской цивилизации*. В ней мы встречаемся с классическим сочетанием противостояния Западу (в данном случае в его либерально-капиталистической буржуазной ипостаси) и заимствования определенных западных идей и технологий (марксизм). Это был период типичной альтермодернизации, экзогенной модернизации с сохранением геополитической независимости.

К концу советского периода ясное понимание основных мировых процессов политическим руководством

СССР утратилось — во многом из-за неадекватности осознания марксистами истинной роли и природы самого марксизма, а также подлинных причин победы социалистической революции в отсталой аграрной стране (вопреки Марксу). Советские доктринеры игнорировали национал-большевистский (евразийский) характер СССР, и это дезориентировало их в понимании глубинных отношений России с Западом. Так, в разлагающемся позднесоветском обществе возникла (самоубийственная) идея снова обратиться для дальнейшей модернизации, которая стала пробуксовывать, напрямую к Западу.

Вначале разговор шел о возможной *конвергенции* двух систем с сохранением обоюдных интересов и разных укладов. Но эта фаза быстро перешла к практике обменивать геополитические позиции СССР и его союзников на экономические и технологические инструменты развития. Встав на этот путь, СССР стремительно рухнул, и либерал-реформаторы 1990-х сломя голову бросились на Запад, признав примат западных интересов и ценностей уже безо всяких условий.

1990-е годы были движением России в сторону Запада, отчаянной попыткой интегрироваться в него на *любых* основаниях. Поэтому появились устойчивая тенденция покаяния за советское и царистское прошлое, безудержное копирование либерально-демократической модели в политике и рыночной системы в ее неолиберальном издании, отказ от глобальных и региональных интересов, следование в фарватере американской политики.

Однако, вопреки расчетам и надеждам реформаторов-западников, этот курс, связанный с именем Ельцина и его окружения, никаких положительных результатов не дал.

Запад не спешил модернизировать Россию по двум причинам:

- опасаясь, что *Россия снова может вернуться на путь*

конфронтации, усилиться и восстановить свое могущество (Запад прекрасно понимал, что Россия никакая не европейская страна, а самостоятельная цивилизация, и всегда к ней так и относился),

- пребывая в состоянии перехода к Постмодерну, сам Запад утратил идеологическую заинтересованность в модернизации остальных цивилизационных пространств, погрузившись в осмысление новых вызовов.

Запад приветствовал резкое ослабление России, но в искренность и фундаментальность ее нового западнического курса не верил, да это было для него безразлично.

Поэтому отношения России с Западом в 1990-е были полностью *провальными*. Россия под властью реформаторов-западников размывала свою идентичность, утрачивала позиции в мире, теряла друзей, жертвовала интересами, слепо копируя Запад без какого бы то ни было понимания реальной подоплеки его ценностной системы и даже не подозревая об истинном характере постиндустриального общества или культуры Постмодерна.

Запад же, со своей стороны, делал все возможное, чтобы ослабить Россию еще больше, не только не радуясь новому курсу, но всячески критикуя и высмеивая его карикатурный характер и криминально-коррупционную подкладку. В такой ситуации Россия не только не вступила в виток новой модернизации, но, разрушив старые институты и социально-экономические инструменты, просто заимствовала отдельные разрозненные фрагменты Постмодерна, привитые на скорую руку элитам, олигархам и некоторым сегментам молодежной субкультуры.

В середине 1990-х сложилось впечатление, что Россия заходит на новый виток распада и ее территориальная целостность под угрозой (чеченская кампания). *Размывание идентичности, отсутствие национальной идеи и провалы модер-*

низации поставили Россию на грань катастрофы. И Запад в такой ситуации не просто не помогал, но активно способствовал развитию разрушительных тенденций и сценариев.

НАТО планомерно двигался на Восток, заполняя появившиеся пустоты. Сети агентуры влияния в России продолжали облучать население в духе либерализма и «общечеловеческих» (читай — западных) ценностей. Все те, кто пытался поднять вопрос о наличии у России собственных национальных интересов, клеймились «националистами» или «красно-коричневыми».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что отношения России с Западом в эпоху 1990-х были катастрофическими для России, основанными на:

- грубейших заблуждениях,
- категорически неверных расчетах,
- полном непонимании реального положения вещей,
- прямом предательстве национальных интересов, в конце концов.

Россия на глазах превращалась в *колонию*, с экзогенным фрагментарным внедрением Постмодерна и постепенной утратой суверенитета. Вице-спикер Госдумы от «Союза правых сил» Ирина Хакамада всерьез предлагала согласиться на международное распределение труда в «мировом правительстве» на условиях «превращения России в хранилище ядерных отходов для более развитых стран».

Стратегия «мирового правительства» в отношении СССР и России

Показательно, что начиная с 1980-х годов интеллектуальный штаб Запада — американский «Совет по внешним отношениям» (CFR) и его расширенная версия в лице

«Трехсторонней комиссии» (Trilateral) — стремится активно вовлечь советское руководство в диалог, чтобы смягчить цивилизационное противостояние между «Востоком» и «Западом», обещаниями «модернизации» и «конвергенции» включить часть позднесоветской элиты в свое концептуальное поле на основании определенной ценностной близости советской и капиталистической идеологий, вытекающих из Просвещения. Эти организации выполняют функции лабораторного наброска «мирового правительства», которое планируется установить тогда, когда Запад станет глобальным и наступит «конец истории». Важно, что основная *понятийная игра* CFR с политическим руководством СССР ведется как раз вокруг многозначности содержания понятий «Запад» и «Модерн» (Просвещение).

Часть советского руководства идет на это, и в СССР на базе Института системных исследований (Дж. Гвишиани) (филиала Международного института прикладного системного анализа, Вена) формируется специальная группа ученых, призванных вступить с интеллектуальными центрами Запада в активный диалог. Фактически Москва дает согласие на делегирование своих представителей — вначале в лице ученых-системщиков и молодых экономистов — в «мировое правительство». Показательно, что это направление курируется высшими чинами в ЦК КПСС — А. Яковлевым, Э. Шеварднадзе, Е. Примаковым. Еще более впечатляет состав «молодых экономистов» — Е. Гайдар, А. Чубайс, Г. Явлинский, П. Авен. В Институте системных исследований начинает свою карьеру и Б. Березовский. Члены питерского кружка Чубайса — Г. Глазков, С. Васильев, М. Дмитриев, С. Игнатьев, Б. Львин, А. Илларионов, М. Маневич, А. Миллер, Д. Васильев, А. Кох, И. Южанов, А. Кудрин, О. Дмитриева — и московского кружка Гайдара — К. Кагаловский, А. Улюкаев, А. Нечаев, В. Машиц — составляли второй эшелон. Большинство участников этой CFR-сети заняли в будущем ведущие посты в российском правительст-

ве.

Последствия деятельности CFR в СССР известны. Горбачев дает добро ориентации на «конвергенцию» и начинается перестройка. В 1989 году в Кремле принимают комиссию высокопоставленных представителей CFR во главе с Д. Рокфеллером, Г. Киссинджером и т. д., социалистический лагерь рушится, а в 1991 году распадается и СССР.

Структуры CFR в России полностью легализуются в 1991-м в форме Совета по внешней и оборонной политике (С. Караганов — он официально числится в Наблюдательном совете CFR и посещает заседания Трехсторонней комиссии), а «молодые экономисты» формируют костяк правительства Ельцина и образуют его идеологическое ядро.

В деятельности сетей CFR и его российского филиала легко проследить, как концептуальные модели, оперирующие категориями «ценности», «конвергенция», «Запад», «Просвещение», могут *активно повлиять на фундаментальные процессы в мировой политике* и привести к ликвидации цивилизационного конкурента.

Россия и Запад в эпоху Путина

Приход к власти Владимира Путина существенно скорректировал этот курс 1990-х. Самой важной была жесткая установка нового президента на *отстаивание национальных интересов*. Так как наибольшая угроза им исходила именно со стороны Запада — в первую очередь США и стран НАТО, это не замедлило сказаться на росте международной напряженности.

Путин взял курс на укрепление суверенитета и демонтаж структур внешнего управления — через либеральных политиков, олигархов, коррумпированное чиновничество

и прозападную столичную интеллигенцию.

С этого момента непреложной истиной стало наличие у России собственных интересов, сплошь и рядом не совпадающих с американскими или европейскими. Но при этом Путин — особенно в первый президентский срок — неоднократно заявлял, что «считает Россию европейской страной», «разделяет западные ценности» и «всегда склонен к взаимодействию с Западом», особенно когда «наши интересы имеют общие точки соприкосновения». Иными словами, он изменил ельцинскую модель отношений Россия—Запад на *девяносто градусов*. Утверждение собственных интересов разительно *отличалось* от полной покорности либерал-реформаторов по отношению к воли США, но идея интеграции России в Запад, ее модернизации по западному сценарию оставалась *той же*.

Вместе с тем Путин начинает все больше внимания уделять геополитике. Он явственно различает в структуре Запада два полюса — США и континентальную Европу. Стремится сблизиться с Европой в ущерб США. Соединенные Штаты параллельно этому усиливают через евроатлантизм антироссийские настроения в Евросоюзе, активно используют страны Новой Европы для создания «*санитарного кордона*», отделяющего Россию от Европы континентальной. Позже США переходят к тактике окружения России на постсоветском пространстве через организацию «цветных революций» (Грузия, Украина и т. д.). Геополитическая модель внешней политики Путина адекватна международным реалиям, она дифференцирует политику в европейском и американском направлениях.

Все это работает на уровне интересов, что особенно наглядно проявляется в российско-европейском энергетическом партнерстве: Старая Европа, жизненно заинтересованная в российском газе и нефти, стремится к прагматическому партнерству с нами, США всячески этому

препятствуют. Но в целом историческое осознание российских интересов у политического руководства входит в фокус — впервые после тяжелых периодов позднесоветского или либерально-реформаторского бреда и откровенного предательства.

Вызов Западу

Во второй президентский срок Путин подходит к пересмотру и другой составляющей отношений России с Западом — *к вопросу о ценностях*. Повторяя заверения «в верности западным ценностям», он начинает упоминать о различиях в понимании демократии, о национальных особенностях политического устройства, о русских традициях. К тому же следует отнести и робкую теорию «суверенной демократии».

На геополитическом уровне, в своей знаменитой Мюнхенской речи, Путин подвергает резкой критике международную политику США и проект создания однополярного мира. По сути, он бросает вызов Западу — в том виде, в котором тот предстает в настоящее время. И здесь мы подходим к пределу возможных толкований путинской позиции. Постепенно удаляясь от безоговорочного западничества ельцинской эпохи, Путин до последнего времени оставался в рамках модели «Россия = европейская страна». На первом этапе это означало «Россия = великая и суверенная европейская страна со своими собственными интересами». Позднее позиция стала еще более неколебимой: «*Россия = великая и суверенная европейская страна со своими собственными интересами и определенным ценностным своеобразием, жестко противостоящая американской однополярности*». Но здесь и создается концептуальное противоречие: если «Россия = великая и суверенная европейская страна со своими собственными интересами и определен-

ным ценностным своеобразием, жестко противостоящая американской однополярности», то уже никак не *европейская страна*, поскольку ставит под сомнение универсализм западных ценностей (претендуя на их самобытную национальную трактовку) и выступает против цивилизационной модели однополярного мира с западноцентричной архитектурой. И не только не европейская, но даже и не страна, потому что иметь собственные ценности, принадлежа к общей цивилизации с другими странами, она просто не может — в этом случае речь должна идти о *цивилизации*.

Показательно, что по опросам ВЦИОМ, проводимым регулярно, 71—73% россиян в последние 10 лет на вопрос: «Является ли, на ваш взгляд, Россия частью Европы или самостоятельной — православной или евразийской — цивилизацией?» — устойчиво отвечают: «Россия — цивилизация». Определенный консенсус масс (народа) в этом вопросе достигнут. Но в политической и высшей экономической элите пропорции явно другие.

Позиция Путина в отношении Запада — как и в ряде других важнейших политических вопросов — есть попытка примирить между собой элиты и массы. Массам он транслирует намек на самобытность России, элитам — заверения в верности курса на Запад и модернизацию. Нельзя однозначно сказать, что это такое: сознательная ли тактика сокрытия реальной позиции или колебания между этими двумя идентичностями — «Россия как страна» и «Россия как цивилизация». Если проследить, от чего и к чему движется Путин в своих оценках Запада, то можно предположить, что он либо постепенно обнаруживает свой завуалированный до времени русский цивилизационной патриотизм, либо действительно эволюционирует в этом направлении под воздействием обстоятельств и наблюдений за развертыванием событий в международной сфере.

Курс новоизбранного президента Медведева в целом

повторяет основные силовые линии и декларации Путина. Отношение Медведева к Западу очень схоже с позицией Путина: Медведев также заявляет, что «Россия — европейская страна», но при этом, как и его предшественник, настаивает на национальных интересах (и частично ценностях) и резко критикует США и однополярный мир.

Сети CFR в путинский период

Несмотря на существенную коррекцию отношения к Западу в эпоху Путина, весьма показателен тот факт, что основные сети влияния, заложенные еще в 1980-е годы Западом, остаются в России нетронутыми и в этот период. Караганов и другие деятели СВОПа продолжают быть влиятельными фигурами. Под эгидой Караганова в 2003 году начинает выходить журнал «Россия в глобальной политике» (главный редактор Ф. Лукьянов), филиал американского «Foreign Affairs» (официального органа CFR). В редакционный совет журнала входят множество персон, которые занимают высокие посты в правительстве, бизнес-структурах, политических партиях и т. д. Попечительский Совет возглавляет олигарх Потанин.

Официально интересы CFR в России представляет «Альфа-группа» — П. Авен и М. Фридман. Усилиями этой структуры штаб-квартиру CFR в Нью-Йорке в свое время посещали министр обороны РФ С. Б. Иванов, а осенью 2008 года — министр иностранных дел РФ С. Лавров и даже президент РФ Д. Медведев (во время встречи «Двадцатки»). Экономические структуры Авена-Фридмана (в частности ТНК-ВР) глубоко интегрированы в американскую экономику в том ее сегменте, который контролирует группа Рокфеллеров-Морганов, а Д. Рокфеллер много десятилетий остается главным идеологом и спонсором

CFR (сам CFR был создан его предками, банкирами, сразу после окончания Первой мировой войны и откровенно ставил своей целью создание «мирового правительства»).

Эти примеры показывают, что эволюция взглядов Путина и Медведева на отношения России с Западом *не переходит определенной критической черты*, за которой наличие сетей влияния «Запада» в России, и в первую очередь в ее высшем руководстве, стало бы недопустимым, нонсенсом. Это напрямую связано с колебаниями в позиции высшего политического руководства относительно признания России *самостоятельной цивилизацией* и принятия окончательно трезвого и критического взгляда на Запад. Пока президент и премьер России продолжают утверждать, что она «европейская страна» (как бы ни толковались ими данные слова), западнические структуры влияния будут оказывать на российскую внешнюю и внутреннюю политику большое, если не решающее влияние.

Органами, институализирующими подобное влияние, служат, кроме собственно структур CFR, такие площадки, как Институт развития И. Юргенса (РСПП), Форум Стратегия-2020, Высшая школа экономики, группы либералов в Администрации Президента и т. д.

Отношения Россия—Запад в будущем

Наконец мы подошли к заключительной части — к прогнозам, пожеланиям и рекомендациям относительно развития отношений Россия—Запад в будущем. Предыдущий анализ ставил своей целью продемонстрировать, насколько сложна эта проблема, сколько здесь существует смысловых сдвигов, нюансов, наложений различных ценностных и геополитических схем. Меняются понятие «Запад» и его очертания. Нет ясности в определении российской иден-

тичности — и потому даже оттенки определений и дополнения к основной формуле могут оказаться решающими и поменять плюс на минус, победу на поражение, либо же наоборот.

Россия стоит перед исторической дилеммой, и суть последней заключается в *выработке на новом этапе и в новых условиях ее отношения к Западу*. Ситуация усугубляется глубочайшим экономическим и, вероятно, идеологическим кризисом, который переживают сегодня не только США, но весь мир, оказавшийся достаточно глобальным, чтобы сбой в функционировании ядерного Запада почти обрушил экономику всех остальных стран или по крайней мере нанес ей гигантский и необратимый ущерб. Запад стал глобальным настолько, чтобы неурядицы в его центре мгновенно повлияли на всю периферию.

Чтобы выстраивать прогнозы и стратегии на будущее развитие отношений России с Западом, необходимо в первую очередь определиться с понятиями.

Перестройка-2: Россия интегрируется в глобальный Запад

Самой теоретически непротиворечивой в такой ситуации была бы позиция наиболее радикальных западников: Запад стал глобальным, и это надо принять, интегрируясь в его структуру на любых условиях — и чем раньше, тем лучше. Если для такого шага нужно отказаться от суверенитета, то стоит пойти и на такое, поскольку рано или поздно глобализация передаст управление в руки наднационального «мирового правительства» и следует стремиться заполучить в нем несколько портфелей, не вступая в обреченную конфронтацию. И если сейчас либеральная экономика переживает кризис, то таковы всего-навсего лишь

«технические детали саморегуляции рынков»; рынок найдет способ выбраться из кризиса. А так как никакой внятной альтернативы западному либерализму сегодня никто не предлагает (все прежние противоположные варианты потерпели крах), то России просто не остается ничего другого, как делить с Западом его трудности.

Приблизительно так рассуждал М. Ходорковский, на таких же позициях стоят члены оппозиционной «Другой России». Но самое главное, в смягченной форме схожей точки зрения придерживаются и более умеренные западники, принадлежащие к сетям CFR и занимающие ключевые посты в российской экономике и отчасти политической сфере. И хотя подобные идеи сегодня мало кто высказывает открыто, именно эта стратегическая линия свойственна экономическому блоку правительства (А. Кудрин, Э. Набиуллина, А. Дворкович, И. Шувалов), архитекторам международной политики России из МИДа, МГИМО, Администрации Президента, российским олигархам (в лице РСПП или Института развития И. Юргенса) и другим влиятельным сегментам российской элиты. В целом элита остается верной Западу, впитывает его ценности, хранит капиталы за границей и там же селит свои семьи, проводит свободное время и обучает детей. И хотя отношение к фигурам Путина и Медведева резко делит российских западников на две части (одни — за, другие — категорически против), обе они исходят из принципа неизбежности глобализации и созда-

---

[1] Эту близость позиций западников за Путина и западников против Путина легко обнаружить через такие примеры, как эволюция взглядов бывшего премьер-министра Касьянова или президентского советника Илларионова, легко перешедших в самую радикальную оппозицию, а также внимательно изучая список редакционного совета проамериканского издания «Россия в глобальной политике», где радикальные оппозиционеры (Рыжков, Хакамада) мирно соседствуют с министрами и высокопоставленными сотрудниками Администрации Президента.

ния «мирового правительства»[1].

Надо сказать, что такая позиция обладает одним существенным «достоинством»: она позволяет жить и работать по инерции, без больших напряжений и усилий. Тенденции глобализации и построения однополярного мира развиваются ядерным Западом при помощи как инерциального раскручивания маховика мировой истории, так и благодаря напряженной работе по отстаиванию своих интересов. Ценности и интересы Запада в основных чертах совпадают, движение к «концу истории» необратимо, споры идут только о его скорости, этапах и деталях. Как бы ни ужасал Постмодерн даже его адептов, он вписан в логику социальных, культурных, технологических и геополитических процессов, отложить и тем более отменить его волевым декретом никому не удастся. Поэтому российские западники предлагают «расслабиться и получать удовольствие», даже если речь идет о чем-то неприятном, а то и убийственном для страны, для амбиций народа и исторической миссии России.

Наличие самой *миссии* они оспаривают или осмеивают, *амбиции* советуют сократить, а *неприятности* можно сгладить постоянно растущей индустрией развлечения, «тоталитарной» пропагандой гламура и шоу-бизнеса. Если же в результате глобализации Россия исчезнет, то, утешают либералы, «туда ей и дорога», важно лишь сделать это исчезновение по возможности незаметным и «комфортным». Россия исчезнет, а люди-то — если сумеют, конечно, — получат шанс вписаться в глобальный Запад, останутся и даже, вероятно, смогут воспользоваться новыми открывающимися возможностями: свободой передвижения, коммуникаций, доступа к знаниям, поиска работы и равенством стартовых условий. И надо признать, что, если рассматривать Россию как европейскую страну, либералы правы. Ведь другие европейские страны постепенно отказываются от своего суверенитета, передают — пусть со скрипом — власть наднациональным ор-

ганам (брюссельской бюрократии), уравнивают в правах коренное население и мигрантов из Африки и Азии, стирают границы, переходят на английский язык, забывают о национальных, культурных и религиозных корнях. Если «Россия — европейская страна», то*, как и остальным европейским странам*, ей надо готовиться к тому, чтобы быть стертой с лица земли, уступая место новым глобалистским образованиям. Ведь для самой Европы интеграция — это только временный этап. Если следовать за процессом глобализации, на следующем ее витке весь мир станет «*единым государством*» (World State) и все народы и страны передадут власть «мировому правительству» (зародышем которого уже сегодня является CFR или Trilateral).

Такая тенденция проектирования отношений России с Западом не настолько нелепа и маргинальна, как кажется на первый взгляд, после того подъема патриотического чувства, который нарастал в течение всего правления Путина и на первых порах президентства Медведева (особенно после августа 2008 года и российско-грузинского конфликта). Интеграция в глобальный Запад (= «мировую цивилизацию») — это самое простое решение, не требующее никаких усилий. Процессы глобализации идут сами собой, и даже те, кто не согласен с их ценностным идеологическим содержанием (например, Китай, в меньшей степени Индия), пытаются лишь скорректировать эти процессы в свою пользу, слегка ограничить или притормозить их, придать им определенный местный колорит, оспорив нюансы, но *никто* — кроме радикальных исламских кругов и молодежного анархистского движения антиглобалистов — не выступает последовательно и основательно против. Участвовать в глобализации в такой перспективе видится *не как волевой выбор, но как нечто само собой разумеющееся,* не требующего выбора, поскольку тот сделан за нас — логикой истории Нового времени и закономерным

наступлением Постмодерна и «конца истории».

Таким образом, нельзя сбрасывать такое западническое решение со счетов. Куда более идеологизированный, радикально антизападный, тоталитарный и управляемый, чем нынешний, советский режим рухнул перед этой неумолимой логикой Запада, сдал позиции перед убедительными аргументами сети влияния, которую сам же и создал. Желая поучаствовать в чужой модернизации ценой минимальных усилий, СССР заплатил за промах и погиб. Но шок быстро забылся, и перед лицом нарастающих проблем аналогичный ход вещей — перестройка, либеральные реформы, сближение с США, вступление в НАТО, отказ от гигантских территорий и отягчающих этносоциальных регионов — вполне может повториться, особенно в условиях нарастающих проблем. Либеральная оппозиция говорит об этом открыто. Но втайне того же мнения придерживается и значительный процент современной российской политической элиты. Поэтому такой сценарий развития событий — условно говоря, «Перестройка-2» — при всей его малой вероятности в условиях эскалации современного российского патриотизма ни в коем случае сбрасывать со счетов нельзя.

Россия и Запад в евразийской теории

Прямо противоположной посылкой, на которой можно основывать прогноз развития отношений России с Западом, выступает тезис о том, что «Россия есть самостоятельная цивилизация», Россия-Евразия, «государство-мир». В этом случае понимание Запада (равно как и Модерна, и модернизации в ее многообразных видах) — практически во всех значениях этого слова, от исторического до ценностного и идеологического — берется как *зло*, как нега-

тивная концепция, как гегелевский антитезис, как то, что следует отвергнуть, победить, преодолеть, изжить, окоротить — в далекой перспективе уничтожить. Такой точки зрения придерживались русские цари Московского периода (видя в Европе «царство еретиков» — «папежников и люторов»), славянофилы (особенно поздние), русские народники, евразийцы и коммунисты (в соответствии со своей особой классовой идеологией).

Отталкиваясь от этой славянофильской (евразийской) перспективы, отношения России с Западом должны строиться в совершенно ином ключе. Эту позицию можно назвать *жестко антизападной*. Российская (православно-славянская, евразийская) цивилизация должна дать последний и решительный бой.

Такая установка ведет к *полному отрицанию того пути развития, по которому шли Запад и те, кто оказывался в зоне его влияния* — добровольно или насильственно (через колонизацию).

Следовательно, первым (и главным) пунктом стратегии становится *отрицание универсальности исторического опыта европейской цивилизации*, приравнивание ее к частному случаю с опровержением всех ее претензий на магистральный путь развития человечества. Это означает — ни больше ни меньше — вызов всей структуре эпохи Модерна, *отвержение Просвещения*, приравнивание духа Нового времени к локальному — географически и исторически — явлению. Если Россия есть самостоятельная цивилизация, то ее логика, ее этапы, динамика, цели, ее ценности и ориентации могут быть совершенно *иными*, нежели пути развития и становления Запада. Какими бы путями и по какой бы логике Запад ни шел к концу истории, к Постмодерну и постиндустриальному обществу, Россия-Евразия вполне способна сказать всему этому решительное «*нет!*», отвергнуть на основе своих собственных ценностей, приорите-

тов, ориентиров, выборов и, в конце концов, интересов.

Данная позиция требует *метафизического переосмысления русской идентичности*, незамедлительной разработки русской национальной идеи на новом витке развития, чтобы подвести под тотальное отторжение Запада надежное философское, мировоззренческое основание.

Встав на этот путь и не дожидаясь, пока огромная работа духа будет проделана, вполне можно набросать основные принципы, отталкиваясь от которых Россия-Евразия, Россия (=цивилизация) будет выстраивать отношения с Западом.

Первым и главным пунктом в этих отношениях будет *отвержение тенденции «глобального Запада»*. Запад есть явление локальное и региональное, и все попытки представить себя как универсальный стандарт развития есть нечто иное, как колониальная, расистская претензия на абсолютную власть над человечеством. *Универсализму Запада объявляется война.*

Из этого следует еще один важнейший вывод: модернизация, которую проделал Запад и которую он несет всем остальным, есть не судьба, но волевым образом избираемая *возможность*, которую другие либо принимают, либо отвергают. Модернизация превращается в таком случае не столько в *объект вожделения*, сколько в сомнительную авантюру, когда общество жертвует религией, этикой, традиционными устоями, но приобретает *технический комфорт*, возведенный в высшую ценность и главенствующий критерий. Модерн — с его материализмом, атеизмом и утилитаризмом — обнаруживается в качестве *соблазна*, притягательного, но убивающего дух и самобытность культур и народов. Поэтому Модерн лишается своей исторической ценности, а традиционное общество — включая религию, культ, обряды, обычаи и т. д. — осмысляется не как нечто изжившее себя, не как инерция и предрассудки,

а как *свободный выбор свободного общества*.

Запад связал свою судьбу с Модерном и модернизацией. Если Россия есть самостоятельная цивилизация, отличная от Запада, она вполне может (и должна) поступить иначе, сделав выбор в пользу традиционного общества. Отсюда следует важнейший вывод: Модерн и модернизация не представляют собой абсолютные ценности и безусловный императив развития. Россия способна развиваться и жить в соответствии со своей внутренней логикой — диктуемой ее религией, ее исторической миссией, ее самобытной и своеобразной культурой.

У России, понятой в качестве цивилизации, не просто могут, но должны быть свои ценности, отличающиеся от других цивилизаций. Поэтому она имеет полное право создавать свои собственные политические, социальные, правовые, экономические, культурные и технологические модели, не обращая внимания на реакцию Запада (как, впрочем, и Востока).

В конкретной политике эти принципы оборачиваются моделью многополярного мира. Причем его полюсами становятся не сегменты глобального Запада, которые лишь берут паузу, чтобы более эффективно подстроить свои общества под универсальный стандарт, но отдельные цивилизации, претендующие на собственное понимание истории, на свое особое историческое время (циклическое или линейное), на свою онтологию, антропологию, социологию, политологию, на свой собственный мир, который может не нравиться остальным, но это ни на что не влияет.

Так рождается *фундаментальная философия многополярности*, отрицающая претензии Запада на универсальность его пути и предлагающая народам мира самим не только искать средства развития, но и определять его цели и направление.

Если Россия станет на такой путь и признает себя ци-

вилизацией (как признаёт подавляющее большинство населения), это будет означать крестовый поход против Запада, отрицание его универсальной миссии, а значит, отвержение Модерна и Постмодерна как его последнего выражения.

Такая позиция не столь уж невероятна, хотя на сегодняшний момент ее занимают лишь Иран, Венесуэла, Сирия, Боливия, Никарагуа, Северная Корея, Белоруссия и в осторожной манере Китай.

Если допустить, что российское политическое руководство сделает ожидаемый шаг и провозгласит Россию цивилизацией, немедленно выстроится логичная цепочка практических действий.

1. Россия укрепит свои отношения с теми странами, которые *радикально бросают вызов* Западу, глобализации, Модерну и Постмодерну.
2. Россия начнет *раскалывать Запад*, укрепляя свои связи с континентальной Европой и стремясь вывести ее из-под контроля США.
3. Россия создаст *фильтр* по отношению к процессам глобализации — в области культуры, технологии, ценностей, принимая только то, что будет способствовать укреплению ее стратегической мощи, и безжалостно отбрасывая и ставя вне закона все, что ослабляет, разъедает и релятивизирует ее цивилизационную идентичность.

Такой поворот приведет к эскалации отношений с США и всеми апологетами «глобального Запада», но при этом подтянет к России миллиарды союзников в тех странах, которые захотят сохранять верность своим ценностям и традициям, вместо того чтобы растворяться в «мировом государстве».

Окончательного исхода этой конфронтации не знает никто, поскольку исторические ставки слишком велики;

разразится подлинная битва за смысл «конца истории» или, при ином исходе, за то, чтобы она продолжалась далее. Если многополярный мир будет построен, *история продолжится*. Если нет, то Постмодерн воцарится окончательно и она *закончится*, уступив место «Постистории» (на сей раз — безо всякого зазора).

Россия и Запад в оптике современной российской власти

Чтобы не предаваться пустым иллюзиям и не выдавать желаемое за действительное, приходится констатировать: сегодня российская власть совершенно не готова сделать выбор ни в одном, ни в другом направлении. Ни Путин, ни Медведев не собираются ни растворяться в Западе, ни признавать того, что Россия есть самостоятельная цивилизация, и давать Западу последний бой. Ни власть, ни общество не готовы к столь резкому шагу.

Принимая во внимание логику всего постсоветского периода, легко заметить, что от безудержного западничества маятник российской политики неуклонно смещается в сторону противоположную. Вся история президентства Путина, его гигантский рейтинг и поддержка его политики в народе свидетельствуют о том, что самосознание россиян тяготеет к признанию России цивилизацией и к отторжению западничества. И любой намек власти поступить так же немедленно с энтузиазмом подхватывается широкими массами. Но, несмотря на это, существует невидимый барьер, который сдерживает ее эволюцию в этом направлении. Может быть, речь идет об эффективности деятельности сетей агентуры влияния (в первую очередь CFR). Возможно, в обществе еще недостаточно накоплено энергии, чтобы взойти на новый виток цивилизационной битвы, которую — в той или иной форме — русские вели на

протяжении всей своей истории.

Как бы то ни было, позиция современной российской власти в отношении Запада (в его актуальном воплощении) остается *неопределенной*. Власть отказалась от прямолинейного западничества, но так и не встала на альтернативную (славянофильскую, евразийскую) позицию. Она *«зависла»*, как порой зависает компьютер. Ни туда, ни сюда.

Мы очертили общий сценарий развития отношений с Западом, если верх возьмет одна из двух фундаментальных позиций — интеграция в глобальный Запад или отстаивание ценностей и интересов России как цивилизации в многополярном мире.

На сегодняшний момент выбор не сделан. Он всячески оттягивается, откладывается. Создается такое впечатление, что российская власть (Медведев и Путин) страдает от самой необходимости этого выбора, что она сделала бы все возможное, чтобы столь жесткой альтернативы не существовало, чтобы ее избежать каким-то средним, компромиссным вариантом — и Запад, и не-Запад.

Россия должна интегрироваться и модернизироваться, но при этом сохранять суверенность и самобытность. Отчаянной попыткой примирить непримиримое являются разнообразные концепции в стиле «суверенной демократии».

Такая неопределенность и двусмысленность удобна для тактического расширения поля возможностей. Но вместе с этим это не решение проблемы, а ее откладывание. Это может давать (и дает) положительный эффект для примирения западнических элит и евразийских (национальных) масс. Но рано или поздно выбор делать придется. Российская власть убеждена: лучше поздно.

Наверное, для такой позиции есть определенные основания, однако «поздно» не значит «никогда». Наступит момент, когда на эту дилемму придется дать однозначный и внятный ответ: итак, Россия — это европейская страна

или самостоятельная цивилизация?

Когда Медведев говорит о многополярности и критикует США, создается впечатление, что он сделал выбор в пользу цивилизации. Но тут же он появляется на публике в сопровождении агентов влияния CFR, олигархов и говорит о «демократии и модернизации», подчеркивая решимость России стать частью глобального Запада. Путин поступал точно так же: постоянно дезавуировал свои собственные идеологические инструкции, смешивая в одной и той же речи несовместимое и взаимоисключающее.

Это наблюдение показывает: отношения России с Западом при нынешней власти будут протекать в пространстве промежуточном — между двумя четкими и внятными позициями. Вместо однозначного «или-или», которое предопределило бы дальнейшую логику отношений Россия—Запад, мы на какое-то время обречены на недомолвки, колебания, фигуры умолчания. *Российская власть не созрела для ответа на эту фундаментальную проблему*. Наверное, до конца не созрело и само общество. Хотя настроение масс явно склоняется в одну сторону, а настроение элит в другую. Нынешняя российская власть основана на компромиссе между этими двумя полюсами.

Пока этот компромисс существует, настоящего и полноценного решения мы не дождемся. А значит, отношения России с Западом будут развиваться противоречиво и двусмысленно: *и да, и нет*.

Однако мировой экономический кризис и логика глобализации, от которой Запад отступать не намерен, объективно ускорят (за нас) процесс принятия решения. Дольше какой-то критической точки «тянуть резину» не получится. Власть должна будет сделать выбор, который и предопределит логику дальнейшего развития отношений с Западом. Каким окажется это решение и когда оно возобладает, предугадать трудно.

Но между *чем и чем* будет осуществляться выбор, мы

постарались описать с максимальной точностью.

Субъективная позиция автора

В данном разделе моей задачей было как можно корректнее и последовательнее описать модели отношений России с Западом. Поэтому я старался воздерживаться от публицистических оценок и проявления личных предпочтений. Тем не менее в заключение не могу не отметить, что по моему мнению:

- Россия *является* самостоятельной цивилизацией;
- Запад и логика его становления — это *путь в бездну*;
- претензии на универсальность таких явлений, как технический прогресс, демократия, индивидуализм, либерализм, скрывают под собой *расизм*, культурное превосходство и колониальные устремления;
- «толерантность», пропагандируемая Западом, есть форма *агрессивного навязывания своих ценностей* всем остальным культурам и цивилизациям;
- *судьба России состоит в отстаивании ее самобытности*, следовании собственным путем, защите своих оригинальных ценностей (православие, нравственность, справедливость, соборность, холизм и т. д.), противостоянии Западу во всех его формах.

Глава 8
«Цивилизация» как идеологический концепт

Потребность в уточненной дефиниции

В отношении понятия «цивилизация» в интеллектуальных, научных и широких общественных кругах не существует сегодня никакого согласия. Как, впрочем, и в отноше-

нии иных основополагающих терминов. Это проистекает из фундаментального смысла нашей эпохи, переходной от периода Модерна к Постмодерну, что сущностно аффектирует смысловые поля и языковые формы. Причем — поскольку мы находимся именно в стадии незавершившегося перехода — в понятиях царит невообразимая путаница: кто-то толкует привычные термины по-старому; кто-то, чувствуя необходимость семантических сдвигов, уже заглядывает в будущее (которое пока не наступило); кто-то фантазирует (быть может, приближая будущее или попросту впадая в индивидуалистические иррелевантные галлюцинации); кто-то совсем запутался.

Как бы то ни было, для корректного употребления терминов — особенно ключевых, к которым, безусловно, относится понятие цивилизации, — сегодня необходимо осуществлять пусть элементарную, но деконструкцию, возводящую значения к историческому контексту, и прослеживать основные семантические сдвиги.

«Цивилизация» как фаза развития обществ

Термин «цивилизация» получил широкое хождение в эпоху бурного развития теории прогресса. А эта теория исходила из двух базовых парадигмальных аксиом Модерна — поступательный и однонаправленный характер развития человечества (от минуса к плюсу) и универсальность человека как феномена. В этом контексте «цивилизация» у американца Л. Г. Моргана[1] определяет стадию, в которую «человечество» (в XIX в. все как один некритически верили в очевидное существование такого понятия,

[1] *Морган Л. Г.* Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1934.

как «человечество») вступает после стадии «варварства», а та, в свою очередь, сменяет собой стадию «дикости». Такое толкование цивилизации легко приняли марксисты, вписав ее в теорию смены экономических формаций. По Моргану, Тейлору и Энгельсу[1], «дикость» характеризует племена, занимающиеся собирательством и примитивными видами охоты. «Варварство» относится к бесписьменным обществам, занятым простейшими видами сельского хозяйства и скотоводства — без четкого разделения труда и развития социально-политических институтов. «Цивилизация» же знаменует собой стадию появления письма, социально-политических институтов, городов, ремесел, технологических усовершенствований, расслоение общества на классы, появление развитых теологических религиозных систем. «Цивилизации» считались исторически устойчивыми и могли сохраняться, развиваясь, но оставляя неизменными основные признаки в течение тысячелетий (месопотамская, египетская, индусская, китайская, римская).

«Цивилизация» и «империя»

Однако вместе с чисто историческим фазовым значением в понятие «цивилизации» — хотя менее эксплицитно — вкладывался и территориальный смысл. «Цивилизация» предполагала довольно обширный ареал распространения, то есть наряду со значительным временным объемом подразумевалось широкое пространственное распространение. В этом территориальном смысле границы термина «цивилизация» отчасти совпадали со значением слова «империя», «мировая держава». «Империя» в таком цивилизаци-

[1] *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства: В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М.: Либроком, 2007.

онном смысле указывала не на особенность политического и административного устройства, а на факт активного и интенсивного распространения влияний, выходящих из очагов цивилизации, на окружающие территории, населенные предположительно «варварами» или «дикарями». Иными словами, в самом понятии «цивилизация» уже можно распознать характер экспансии и экспорта влияния, свойственных «империям» (древним и современным).

«Цивилизация» и универсальный тип

«Цивилизация» вырабатывала новый универсальный тип, качественно отличающийся от моделей «варварских» и «дикарских» обществ. Этот тип строился чаще всего на «глобализации» того этноплеменного и/или религиозного ядра, которое стояло у истоков данной цивилизации. Но в ходе этой «глобализации», то есть через приравнивание конкретного этнического, социально-политического и религиозного образа к «универсальному эталону», происходил важнейший процесс трансцендирования самого этноса, перевода его естественной и органической — чаще всего бессознательно передающейся — традиции в ранг рукотворной и осознанной рациональной системы. Гражданин Рима даже на первых этапах Империи уже существенно отличался от среднестатистического жителя Лации, а разнообразие мусульман, молящихся по-арабски, далеко вышло за рамки бедуинских племен Аравии и их прямых этнических потомков.

Таким образом, при переходе к «цивилизации» качественно менялась социальная антропология: человек, относящийся к «цивилизации», обладал коллективной идентичностью, запечатленной в фиксированном корпусе духовной культуры, который он был обязан до определенной

степени освоить. «Цивилизация» предполагала рациональное и волевое усилие со стороны человека — то, что в XVII в. после Декарта философы стали называть «субъектом». Но необходимость такого усилия и наличие абстрагированного, фиксированного в культуре образца до определенной степени уравнивали между собой и представителей ядерного этноса (религии), лежащего в основе «цивилизации», и тех, кто попадал в зону влияния из иных этнических контекстов. Усвоить основы цивилизации было качественно проще, чем быть принятым в племя, поскольку для этого требовалось не органически впитывать гигантские пласты бессознательных архетипов, но проделать ряд рассудочных логических операций.

«Цивилизация» и культура

В некоторых контекстах (в зависимости от страны или отдельного автора) в XIX в. понятие «цивилизация» отождествлялось с понятием «культура». В других случаях между ними устанавливались иерархические отношения — чаще всего культура рассматривалась как духовное наполнение цивилизации, а собственно цивилизация означала формальную структуру общества, отвечающую основным пунктам определения.

Освальд Шпенглер в знаменитой книге «Закат Европы» даже противопоставлял «цивилизацию» и «культуру», считая вторую выражением органического жизненного духа человечества, а первую — продуктом остывания этого духа в механических и чисто технологических границах[1]. По Шпенглеру, цивилизация — это продукт культурной смерти.

---

[1] *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. М.: Айрис-пресс, 2006.

Однако такое остроумное наблюдение, верно истолковывающее некоторые черты современной западной цивилизации, не получило всеобщего признания, и чаще всего сегодня термины «цивилизация» и «культура» используются как синонимы. Хотя у каждого конкретного исследователя на этот счет может быть свое собственное мнение.

Постмодерн и синхроническое понимание «цивилизации»

Даже самый беглый обзор значения термина «цивилизация» показывает, что в нем мы имеем дело с концептом, пропитанным духом Просвещения, прогрессизма и историцизма, который был свойственен эпохе Модерна в ее некритической стадии, то есть до фундаментального переосмысления XX в. Вера в поступательное развитие истории, в универсальность пути человечества по всеобщей логике развития от дикости к цивилизации была отличительной чертой XIX в. Но уже с Ницше и Фрейда, так называемых «философов подозрения», эта оптимистическая аксиома стала ставиться под сомнение. А на протяжении XX в. Хайдеггер, экзистенциалисты, традиционалисты, структуралисты и, наконец, постмодернисты не оставили от нее камня на камне.

В Постмодерне критика исторического оптимизма, универсализма и историцизма приобрела систематический характер и создала доктринальные предпосылки для тотальной ревизии концептуального аппарата западноевропейской философии. Сама эта ревизия до конца не осуществлена, но и того, что сделано (Леви-Строссом, Бартом, Рикёром, Фуко, Делёзом, Деррида и т. д.), уже достаточно, чтобы убедиться в невозможности пользоваться словарем Модерна без его тщательной и скрупулезной деконструкции.

П. Рикёр, обобщая тезис «философов подозрения», ри-

сует следующую картину. Человек и человеческое общество состоят из рационально-сознательной составляющей («керигма», по Бультману; «надстройка» Маркса; «эго» Фрейда) и бессознательной (собственно «структура» в структуралистском понимании; «базис»; «воля к власти» Ницше; «подсознание»)[1]. И хотя внешне кажется, что путь человека прямо ведет от плена бессознательного к царству разума и это как раз представляет собой прогресс и содержание истории, на самом деле при ближайшем рассмотрении выясняется, что бессознательное («миф») оказывается намного сильнее и по-прежнему существенно предопределяет работу рассудка. Более того, сам рассудок и осознанная логическая деятельность почти всегда есть не что иное, как гигантская работа по репрессии бессознательных импульсов — иначе говоря, выражение комплексов, стратегии по вытеснению, замещение проекции и т. д. У Маркса в качестве бессознательного выступают «производительные силы» и «производственные отношения»[2].

Следовательно, «цивилизация» не просто снимает «дикость» и «варварство», полностью преодолевая их, но сама строится именно на «диких» и «варварских» началах, которые переходят в область бессознательного, но от этого не только никуда не исчезают, но, напротив, приобретают над человечеством неограниченную власть — в большой мере именно потому, что считаются «преодоленными» и более «несуществующими». Этим объясняется разительное различие между исторической практикой жизни народов и обществ, полной войн, насилия, жестокости, разгула страстей, изобилующей усугубляющимися психическими расстройствами и претензиями рассудка на гармоничное, мирное

[1] *Рикёр П.* Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Искусство, 1996.

[2] *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. М.: Политиздат, 1953.

и просвещенное существование под сенью прогресса и развития. В этом отношении Новое время не просто не исключение, но вершина обострения этого несоответствия между претензиями разума и кровавой реальностью мировых войн, этнических чисток, небывалого в истории массового геноцида целых рас и народов. Причем для удовлетворения «дикости» используются самые совершенные технические средства, изобретенные «цивилизацией», — вплоть до оружия массового уничтожения.

Итак, критическая традиция, структурализм и философия постмодернизма заставляют перейти от преимущественно диахронического (стадиального) толкования «цивилизации», что было нормой для XIX в. и по инерции продолжает бытовать в широком употреблении, к синхроническому. Синхронизм предполагает, что цивилизация приходит не взамен «дикости» и «варварства», не после них, а вместе с ними и продолжает сосуществовать с ними. Можно представить себе «цивилизацию» как числитель, а «дикость»-«варварство» как знаменатель условной дроби. «Цивилизация» аффектирует сознание, но бессознательное через ни на миг непрекращающуюся «работу сновидений» (З. Фрейд)[1] постоянно перетолковывает всё в свою пользу. «Дикость» — это то, что объясняет «цивилизацию», является ключом к ней. Получается, что человечество поспешило объявить о «цивилизации» как о том, что уже реально произошло, тогда как это остается не более чем незавершенным планом, постоянно терпящим крах под натиском хитрых энергий бессознательного (как бы мы ни понимали его — ницшеански, как «волю к власти», или психоаналитически).

---

[1] *Фрейд З.* Толкование сновидений. СПб.: Алетейя, 1998.

Деконструкция «цивилизации»

Как на практике можно применить структуралистский подход для деконструкции понятия «цивилизация»? В соответствии с общей логикой этой операции следует подвергнуть сомнению необратимость и новизну того, что составляет основные характеристики «цивилизации» по контрасту с «дикостью» и «варварством».

Основной характеристикой «цивилизации» часто считают инклюзивный универсализм — то есть теоретическую открытость цивилизационного кода для тех, кто хотел бы к нему примкнуть извне. Инклюзивный универсализм на первый взгляд есть полная антитеза эксклюзивному партикуляризму, свойственному племенным и родовым общинам «доцивилизованного» периода. Но исторически претензия цивилизации на универсальность — эйкуменичность и, соответственно, единственность — постоянно наталкивалась на то, что, помимо «варварских» народов, за границами такой «цивилизации» существовали другие цивилизации со своим собственным и отличным вариантом «универсализма». В этом случае перед «цивилизацией» обнажалось логическое противоречие: либо надо признать, что претензия на универсальность оказывается несостоятельной, либо зачислить иную цивилизацию в разряд варварских. При признании несостоятельности тоже могут последовать разные решения: либо постараться найти синкретическую модель объединения обеих цивилизаций (по меньшей мере в теории) в общую систему, либо принять правоту иной цивилизации. Как правило, сталкиваясь с такой проблемой, «цивилизация» поступает на основе эксклюзивного (а не инклюзивного) принципа — считает иную цивилизацию неполноценной, то есть «варварством», «ересью», «партикуляризмом». Другими словами, мы имеем дело с перено-

сом обычного племенного этноцентризма на более высокий уровень обобщения. Инклюзивность и универсализм на деле оборачиваются знакомыми нами «дикарскими» эксклюзиями и партикулярностями.

Это легко распознать в следующих ярких примерах: греки, считавшие себя «цивилизацией», всех остальных причисляли к «варварам». Происхождение слова «варвар» — звукоподражательный пейоратив, обозначающий того, чья речь не имеет смысла и является набором животных звуков. У многих племен встречается подобное отношение к иноплеменникам — не понимая их языка, они думают, что у тех его вообще нет, а следовательно, не считают их людьми. Отсюда, кстати, славянское племенное название «немцы», то есть «немые», не знающие того, что должен знать всякий, считающий себя человеком, — русского языка.

У древних персов, представлявших собой именно цивилизацию с претензией на универсальную маздеистскую религию, это было выражено еще четче: деление на Иран (людей) и Туран (демонов) проводилось на уровне религий, культов, обрядов, этики. Дело доходило до абсолютизации эндогенных связей и нормативизации инцеста — чтобы солнечный дух иранцев (Ахурамазда) не был осквернен примесью сынов Ангро-Манью.

Иудаизм как мировая религия, претендующая на универсализм и заложившая теологические основы монотеизма — и для христианства, и для ислама, построивших по несколько цивилизаций одновременно, — до сих пор почти этнически ограничена кровно-племенным кодексом «Галахи».

Племенное устройство основано на инициации, в ходе которой неофиту сообщаются основы племенной мифологии. На уровне цивилизации эту же функцию выполняют религиозные институты, а в более поздние эпохи — систе-

ма всеобщего образования, заведомо идеологизированная. Мифы Модерна неофиты усваивают в иной обстановке и в иных декорациях, но их функциональное значение остается неизменным, а логическая обоснованность (если учесть фрейдистский анализ замещающе-репрессивной деятельности рассудка и «эго») не далеко ушла от легенд и преданий.

Словом, даже приблизительная деконструкция «цивилизации» показывает, что претензии на преодоление прежних фаз — иллюзии, а на деле большие и «развитые» коллективы людей, объединенные в «цивилизации», по сути, просто на ином уровне повторяют архетипы поведения и ценностные системы «дикарей». Отсюда бесконечные и всё более кровавые войны, двойные стандарты в международной политике, разгул страстей в личной жизни, постоянно взламывающих этические нормативные коды умеренных и рациональных обществ. Развивая мысль о «добром дикаре» Руссо (кстати, жестко критиковавшего цивилизацию как явление и считавшего именно ее источником всех зол), можно сказать, что «цивилизованный» человек есть не кто иной, как «злой дикарь», испорченный и извращенный «варвар»[1].

Сегодня преобладает синхроническое и плюральное понимание «цивилизации»

С этими предварительными замечаниями можно наконец подойти к тому, что мы вкладываем сегодня в понятие «цивилизация», когда развиваем тезис Хантингтона о «столкновении цивилизаций»[2] или возражаем ему с экспрезидентом Ирана Хатами, настаивая на «диалоге циви-

[1] *Руссо Ж.-Ж.* Избранное. М.: Терра, 1996.
[2] *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2006.

лизаций».

Сам факт едва ли не консенсуса в использовании термина «цивилизация» явно указывает на то, что стадиальное (чисто историцистское и прогрессистское) толкование этого понятия, преобладавшее в эпоху Модерна и общепринятое в XIX и первой половине XX в., теперь явно утратило свою релевантность. Противопоставлять «цивилизацию» и «варварство» сегодня могут разве что самые отсталые, застрявшие в некритическом Модерне Конта или Бентама исследователи. Хотя инструментально в историческом анализе термин «цивилизация» удобно использовать при описании древних типов обществ, однако идеологическую нагрузку как глобального плюса по сравнению с глобальным минусом (варварства и дикости) он явно утратил. Универсализм, поступательность развития, антропологическое единство человеческой истории — всё это на философском уровне давно поставлено под вопрос. Леви-Стросс своими исследованиями в структурной антропологии, основанными на богатейшем этнографическом и мифологическом материале жизни племен Северной и Южной Америк, убедительно доказал, что концептуальные и мифологические системы самых «примитивных» обществ по своей сложности, богатству оттенков, связей и функциональной проработанности дифференциаций ничем не уступают наиболее цивилизованным странам.

В политическом дискурсе еще бытуют суждения о «преимуществах цивилизации», но и это уже смотрится как анахронизм. Мы столкнулись с таким всплеском некритического невежества, когда либерал-реформаторы пытались представить историю России как непрерывную цепь неизжитого варварства перед лицом «процветающей и блистательной», «состоявшейся» западной цивилизации. Впрочем, и это было не просто экстраполяцией бравурных пропагандистских претензий самого Запада и результатом

индукции сетей влияния, но и формой российских карго-культов: первые «Макдоналдсы», частные банки и клипы рок-групп на советском телевидении воспринимались как «сакральные объекты».

За исключением этих пропагандистских штампов или безнадежной отсталости, в рамках пусть даже отдаленно окрашенного знакомством с современной философией, однако не противоречащего мейнстриму дискурса понятие «цивилизации» трактуется без какой-либо моральной нагрузки, скорее как технический термин, и подразумевает не что-то противопоставленное «варварству» и «дикости», но другую «цивилизацию». В известной, уже упоминавшейся статье Хантингтона нет ни слова о «варварстве», он говорит исключительно о границах, структурах, особенностях, трениях и различиях разных цивилизаций, противостоящих друг другу. И это особенность не только его позиции или линии, восходящей к Тойнби, которой Хантингтон явно следует. Использование этого термина в современном контексте уже предполагает заведомый плюрализм, компаративизм и, если угодно, синхронизм. Здесь непосредственно сказываются философская критика и переосмысление Модерна, осуществляемые тысячами разных путей в течение всего XX в.

Итак, если отбросить рецидивы некритического либерализма и узколобую, наивную проамериканскую (шире — атлантистскую) пропаганду, мы увидим, что сегодня термин «цивилизация» в оперативном и актуальном политологическом анализе применяется главным образом синхронически и функционально, чтобы обозначить широкие и устойчивые географические и культурные зоны, объединенные приблизительно общими духовными, ценностными, стилистическими, психологическими установками и историческим опытом.

Цивилизация в контексте XXI в. означает именно это:

зону устойчивого и укоренного влияния определенного социокультурного стиля, чаще всего (но не обязательно) совпадающего с границами распространения мировых религий. Причем политическое оформление отдельных сегментов, входящих в цивилизацию, может быть весьма различным: цивилизации, как правило, шире, чем одно государство, и могут состоять из нескольких или даже многих стран; более того, границы некоторых цивилизаций проходят через страны, разделяя их на части.

Если в древности «цивилизации» чаще всего совпадали с империями и были так или иначе политически объединены, то сегодня их границы представляют собой невидимые линии, нерелевантно накладывающиеся на административные границы государств. Какие-то из этих государств некогда входили в состав единой империи (например, ислам распространялся почти повсеместно в ходе завоеваний арабов, строивших мировой халифат). Другие не знали общей государственности, но были объединены между собой иначе — религиозно, культурно или расово.

Кризис классических моделей исторического анализа (классового, экономического, либерального, расового)

Итак, мы установили, что в употреблении термина «цивилизация» в XX в. и в рамках критики Модерна произошло качественное смещение в сторону синхроничности и плюральности. Но можно сделать еще один шаг и попытаться понять, а почему, собственно, это словоупотребление стало столь актуальным именно в наше время? Действительно, ранее понятие цивилизации не было предметом нарочитой проблематизации, а мыслить такими категориями было привычно лишь гуманитарным академическим

кругам. В политическом и смежном с ним политологическом дискурсе доминировали иные — экономические, национальные, расовые, классовые, социальные — подходы. Сегодня же мы наблюдаем, что мыслить узко экономически, говорить о национальном государстве и национальных интересах, а тем более ставить во главу анализа классовый или расовый подходы всё менее и менее принято. И наоборот, редко какое выступление или речь политического деятеля обходится без упоминания слова «цивилизация», не говоря уже о политологических и аналитических текстах, где этот термин едва ли не самый общеупотребительный.

У Хантингтона вообще наблюдается попытка сделать «цивилизацию» центральным моментом политического, исторического и стратегического анализа. Мы явно идем к тому, чтобы мыслить «цивилизациями».

Здесь следует приглядеться внимательнее к тому, что именно в магистральных версиях политологического дискурса замещает собой «цивилизация». Всерьез говорить о расах не принято после трагической истории с европейским фашизмом. Классовый анализ стал мейнстримно иррелевантным после распада соцлагеря и краха СССР. И в какой-то момент казалось, что единственной парадигмой политологии будет либерализм. При этом создалось впечатление, что национальные границы однородных, по сути либерально-демократических государств, не сталкивающихся более ни с какой системной и претендующей на планетарный размах альтернативой (после падения марксизма), будут в скором времени упразднены, создастся мировое правительство и единое мировое государство с однородной рыночной экономикой, парламентской демократией (мировой парламент), либеральной системой ценностей и общей информационно-технологической инфраструктурой. Глашатаем такого «прекрасного нового мира»

выступил в 1990-е Фрэнсис Фукуяма в программной книге (а сначала статье) «Конец истории»[1]. Фукуяма ставил точку в развитии стадиальной интерпретации понятия «цивилизация»: конец истории, в его версии, означал окончательную победу «цивилизации» над «варварством» во всех его формах, нарядах и вариациях.

С Фукуямой-то и спорил Хантингтон, выдвигая в качестве главного аргумента то обстоятельство, что конец противостояния четко оформленных идеологий Модерна (марксизм и либерализм) никак не означает автоматической интеграции человечества в единую либеральную утопию, поскольку под формальными конструкциями национальных государств и идеологических лагерей обнаружились глубинные тектонические платформы — своего рода континенты коллективного бессознательного, которые, как выяснилось, отнюдь не были преодолены модернизацией, колонизацией, идеологизацией и просвещением и по-прежнему предопределяют важнейшие аспекты жизни — включая политику, экономику и геополитику — в том или ином сегменте человеческого общества в зависимости от принадлежности к цивилизации.

Иными словами, Хантингтон предложил ввести понятие «цивилизация» в качестве фундаментального идеологического концепта, призванного прийти на смену не только классовому анализу, но и либеральной утопии, слишком серьезно и некритически воспринявшей пропагандистскую демагогию «холодной войны» и тем самым ставшей, в свою очередь, ее жертвой. Капитализм, рынок, либерализм, демократия кажутся универсальными и общечеловеческими только внешне. Каждая цивилизация перетолковывает их содержание по своим бессознательным лекалам, где религия, культура, язык, психология играют огромную,

[1] *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2005.

подчас решающую роль.

В таком контексте цивилизация приобретает центральное значение в политологическом анализе, выходя на первый план и замещая собой клише либеральной «Вульгаты».

Развитие событий в 1990-е годы показало, что Хантингтон оказался в этой полемике ближе к истине, и сам Фукуяма вынужден отчасти пересмотреть свои взгляды, признав, что явно поторопился. Но сам этот пересмотр Фукуямой тезиса о «конце истории» требует более тщательного рассмотрения.

Шаг назад либеральных утопистов: state-building

Дело в том, что Фукуяма, анализируя несоответствия своих предсказаний о «конце истории» через призму глобальной победы либерализма, всё же пытался остаться в рамках той логики, из которой изначально исходил. Следовательно, ему надо было единовременно и осуществить *reality check* («сверку с реальностью»), и уклониться от того, чтобы признать правоту своего оппонента, Хантингтона, который по всем признакам оказался в своем прогнозе ближе к истине. Тогда Фукуяма сделал следующий концептуальный ход: он предложил отодвинуть «конец истории» на неопределенный срок, а пока заняться укреплением тех социально-политических структур, которые были ядром либеральной идеологии на предыдущих этапах. Фукуяма выдвинул новый тезис — «state-building». В качестве промежуточного этапа для перехода к глобальному государству и мировому правительству он посоветовал укрепить национальные государства с либеральной экономикой и демократической системой управления, дабы более фундаментально и углубленно проработать почву для финальной победы мирового либерализма и глобализации. Это не

отказ от перспективы, это ее откладывание на неопределенное будущее с конкретным предложением относительно промежуточного этапа.

Фукуяма почти ничего не говорит о концепте «цивилизации», но явно учитывает тезисы Хантингтона, косвенно отвечая ему: устойчивое развитие национальных государств, которое оказалось скомканным и в эпоху колониализма, и в эпоху национально-освободительных движений, и в эпоху идеологического противостояния двух лагерей, теперь-то должно пройти должным образом. Это и приведет постепенно к тому, что разные общества, воспринявшие рынок, демократию и права человека, выкорчуют остатки бессознательного и подготовят более надежную (чем сейчас) почву для глобализации.

Мир как сеть у Томаса Барнетта

В американской политологии и внешнеполитической аналитике существует также и новое издание чисто глобалистской теории, представленной на сей раз сочинениями Томаса Барнетта. Смысл его концепции сводится к тому, что технологическое развитие создает зональное деление всех территорий планеты на три области: зона ядра (*the core*), зона подключенности (*the zone of connectedness*) и зона отключенности (*the zone of disconnectedness*). Барнетт считает, что сетевые процессы свободно проникают сквозь границы и государств, и цивилизаций и по-своему структурируют стратегическое пространство мира. К ядру относятся США и Евросоюз, там сосредоточены все коды новых технологий и центры принятия решений. К зоне подключенности — большинство остальных стран, обреченных на «юзерское» отношение к сетям (они вынуждены потреблять готовые технологические средства и подст-

раиваться под правила, вырабатываемые ядром). К зоне отключенности причисляются страны и политические силы, вставшие в прямую оппозицию по отношению к США, Западу и глобализации[1].

Для Томаса Барнетта (как для Д. Бэлла) «технология — это судьба», в ней и воплощается квинтэссенция цивилизации, понятой чисто технически, почти как у Шпенглера, но только с позитивным знаком.

Американский взгляд на мироустройство (три версии)

В американском политическом анализе — а надо признать, что именно американцы задают тон в этой области — сосуществуют все три концепции выделения субъектов на карте мира. Глобализм и цивилизация (в единственном числе), в духе идей раннего Фукуямы, отражены в конструкциях Барнетта. Здесь субъектом признается только ядро, остальное подлежит внешнему управлению — то есть десубъективации и десуверенизации.

Сам Фукуяма, критически рассматривая свои ранние оптимистичные заявления, занимает промежуточную позицию, настаивая на том, что субъектом надо еще какое-то время признавать «национальные государства», развитие которых должно подготовить более надежную почву для грядущего глобализма.

И наконец, Хантингтон и сторонники его подхода считают, что цивилизации — слишком серьезные и основательные реалии, которые вполне могут претендовать на статус глобальных субъектов мировой политики в ситуации, когда прежние идеологические модели рухнули, наци-

---

[1] *Barnett T.* The Pentagon New Map. War and Peace in the Twenty-First Century. New York: G.P. Putnam's Sons, 2004.

ональные государства стремительно утрачивают реальное наполнение суверенитета под влиянием отдельных действенных аспектов глобализации, но сама глобализация, ломая старые границы, не способна по-настоящему проникнуть в глубь обществ с устойчивыми традиционными составляющими.

Показательно, что именно за тезис Хантингтона держатся те силы в мире, которые стремятся ускользнуть от глобализации, вестернизации и американской гегемонии, дабы сохранить и заново укрепить традиционную идентичность. Только вместо мрачного, катастрофического дискурса Хантингтона о «столкновении» и «конфликтах» они заговорили о «диалоге». Но этот почти пропагандистский морализаторский нюанс не должен вводить нас в заблуждение относительно главной задачи тех, кто в целом принимает модель Хантингтона. В первую очередь это иранец Хатами. «Столкновение» или «диалог» — вопрос второстепенный и прикладной, гораздо важнее принципиальное согласие относительно того, что именно «цивилизация» становится сегодня основным концептуальным субъектом анализа международной политики.

Иными словами, в отличие и от глобалистов-максималистов (типа Барнетта), и от умеренных либералов-этатистов, сторонники цивилизационного метода явно или неявно становятся на позицию структуралистского философского подхода в понимании мировых процессов.

Выделение цивилизации как основного субъекта, полюса, актора современной мировой политики является самым перспективным идеологическим ходом и для тех, кто хочет объективно оценить реальное положение дел в мировой политике, и для тех, кто стремится подобрать адекватный инструментарий для политологических обобщений новой эпохи — эпохи Постмодерна, и для тех, кто стремится отстоять собственную идентичность в условиях

прогрессирующего смешения, а также реально существующих атак сетевой глобализации. Иными словами, апелляция к цивилизации позволяет органично заполнить индологический вакуум, образовавшийся после исторического кризиса всех теорий, противостоявших либерализму, да и в силу внутреннего кризиса самого либерализма, не способного справиться с опекой современного мирового пространства — о чем свидетельствует неудачный опыт утопий того же Фукуямы.

Цивилизация как концепт, истолкованный в современном философском контексте, оказывается центром новой идеологии. Эту идеологию можно определить как многополярность.

Ограниченность идейного арсенала противников глобализма и однополярного мира

Оппозиция глобализму, которая всё громче заявляет о себе на всех уровнях и во всех уголках планеты, пока не сложилась в конкретную систему взглядов. В этом слабость антиглобалистского движения — оно не систематизировано, лишено идеологической стройности, в нем преобладают обрывочные и хаотические элементы, чаще всего представляющие собой невнятную смесь анархизма, иррелевантного левачества, экологии и еще более экстравагантных и маргинальных идей. На первые роли в нем претендуют третьесортные лузеры от западного гошизма. В других случаях глобализация сталкивается с сопротивлением со стороны национальных государств, которые не желают передавать часть суверенных полномочий во внешнее управление. И наконец, активно сопротивляются глобализму и его атлантистскому западному либерально-демократическому коду, его сетевой природе и ценностной

системе (индивидуализм, гедонизм, лаксизм) представители традиционных религий, сторонники этнической и региональной самобытности (особенно ярко мы видим это в исламском мире).

Эти три существующих уровня оппозиции глобализму и американской гегемонии заведомо не способны привести к выработке общей стратегии и внятной идеологии, которая могла бы соединить различные и разрозненные силы, подчас несопоставимые по масштабу и ориентированные противоположным образом в отношении локальных проблем. Антиглобалистское движение страдает «детской болезнью левизны» и блокируется опытом целой серии поражений, понесенных мировым левым движением в последние десятилетия. Национальные государства, как правило, не обладают достаточным масштабом, чтобы бросить вызов высокоразвитой технологической мощи Запада; кроме того, их политические и особенно экономические элиты сплошь и рядом вовлечены в транснациональные проекты, завязанные на тот же Запад. А локальные, этнические и религиозные движения и общины, хотя в конкретных моментах и могут оказать эффективное сопротивление глобализации, слишком разрозненны, чтобы всерьез рассчитывать на изменение основного мирового тренда или даже на корректировку курса.

Значение концепта «цивилизации» в противодействии глобализму

В такой ситуации и приходит на помощь концепция «цивилизации» как фундаментальная категория для организации полноценного альтернативного проекта в мировом масштабе. Если это понятие поставить в центре внимания, то можно обрести базу для гармоничного резо-

нансного выстраивания широких государственных, общественных, социальных, политических сил в общую систему. Под знаменем множественности цивилизаций можно объединить народы, религиозные и этнические общины, проживающие в различных государствах, предложить им общую централизированную идею (в рамках конкретной цивилизации) и оставить широкий выбор для поиска идентичности внутри нее, допуская непротиворечивое существование иных цивилизаций, различающихся по основным параметрам.

И такая перспектива совершенно не обязательно ведет к «конфликту цивилизаций», вопреки Хантингтону. Здесь возможны и конфликты, и альянсы. Самое главное, что многополярный мир, возникающий в таком случае, создаст реальные предпосылки для продолжения политической истории человечества, поскольку утвердит нормативно многообразие социально-политических, религиозных, ценностных, экономических и культурных систем. Иначе простое и спорадическое сопротивление глобализации на локальном уровне или от лица идеологически аморфной массы антиглобалистов (и то в лучшем случае) лишь отложит этот «конец», затормозит его наступление, но не станет реальной альтернативой.

К «большим пространствам»

Выделение цивилизации в качестве субъекта мировой политики XXI в. позволит проводить «региональную глобализацию» — объединение между собой стран и народов, относящихся к одной и той же цивилизации. Это позволит использовать преимущества социальной открытости, но не по отношению ко всем подряд, а в первую очередь по отношению к тем, кто принадлежит к общему цивилизацион-

ному типу.

Пример такой интеграции по цивилизационному признаку в новое сверхгосударственное политическое образование дает Евросоюз. Он есть прообраз «региональной глобализации», включающей в свои рамки те страны и культуры, которые имеют общую культуру, историю, ценностную систему. Но, признав несомненное право европейцев образовать новый политический субъект на основании своих цивилизационных различий, вполне естественно допустить аналогичные процессы и в исламской цивилизации, и в китайской, и в евразийской, и в латиноамериканской, и в африканской.

В политологии после Карла Шмитта принято называть аналогичные проекты интеграцией «больших пространств»[1]. В экономике еще до Шмитта это теоретически осмыслил и с колоссальным успехом применил на практике создатель модели германского «таможенного союза» Фридрих фон Лист[2]. «Большое пространство» — это иное название для того, что мы понимаем под «цивилизацией» в ее геополитическом, пространственном и культурном смысле. «Большое пространство» отличается от ныне существующих национальных государств именно тем, что строится на основании общей ценностной системы и исторического родства, а также объединяет несколько или даже множество различных государств, связанных «общностью судьбы». В разных больших пространствах интегрирующий фактор может варьироваться — где-то в его качестве будет выступать религия, где-то этническое происхождение, где-то культурная форма, где-то социально-политиче-

[1] *Schmitt C.* Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte: ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht. Duncker und Humblot, 1991.

[2] *Лист Ф.* Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.

ский тип, где-то географическое положение.

Важен прецедент: создание Евросоюза показывает, что воплощение «большого пространства» на практике, переход от государства к надгосударственному образованию, построенному на основе цивилизационной общности, возможен, конструктивен и при всех внутренних проблемах позитивно развивается в реальности.

Реестр цивилизаций

В отличие от национальных государств о количестве и границах цивилизаций можно спорить. Хантингтон выделяет следующие:

1) западная,
2) конфуцианская (китайская),
3) японская,
4) исламская,
5) индуистская,
6) славяно-православная,
7) латиноамериканская и, возможно,
8) африканская цивилизации.

Напрашивается, однако, несколько соображений. В западную цивилизацию Хантингтон включает США (с Канадой) и Европу. Исторически это верно, но всё же сегодня с геополитической точки зрения они образуют по отношению друг к другу два различных «больших пространства», стратегические, экономические и даже геополитические интересы которых расходятся всё дальше и дальше. У Европы есть две идентичности — «атлантистская» (для которой в полной мере справедливо отождествление Европы и Северной Америки) и «континентальная» (которая тяго-

теет, напротив, к проведению самостоятельной политики и возврату Европы в историю в качестве самостоятельного игрока, а не простого военного плацдарма для североамериканского «старшего брата»). Евроатлантизм базируется в Англии и странах Восточной Европы (движимых инерциальной русофобией), а евроконтинентализм — во Франции и Германии, с поддержкой Испании и Италии (это классическая Старая Европа). Цивилизация во всех случаях одна, западная, а «большие пространства», возможно, будут организовываться несколько иначе.

Под славяно-православной цивилизацией точнее понимать евразийскую цивилизацию, куда органично, исторически и культурно входят не только славяне и не только православные, но и иные этносы (в том числе тюркские, кавказские, сибирские и т. д.) и значительная часть населения, исповедующая ислам.

Сам исламский мир, безусловно, объединенный религиозно с постоянно растущим осознанием своей идентичности, в свою очередь делится на несколько «больших пространств» — «арабский мир», «зону континентального ислама» (Иран, Афганистан, Пакистан) и тихоокеанский регион распространения ислама. Особое место в этой картине занимают мусульмане Африки, а также постоянно растущие общины Европы и Америки. И тем не менее ислам — это именно цивилизация, всё более осознающая свои особенности и свое отличие от других цивилизаций — и в первую очередь от либерально-западной цивилизации, активно наступающей на исламский мир в ходе глобализации.

Сложно установить границы между зонами влияния японской и китайской цивилизаций в тихоокеанском регионе, чья цивилизационная идентификация в значительной степени остается открытой.

И конечно, пока сложно говорить об общем самосознании жителей африканского континента, хотя в будущем

эта ситуация может измениться, поскольку у настоящего процесса есть по меньшей мере исторические прецеденты — в лице Лиги африканских стран, а также в виде существования панафриканской идеи.

Сближение между собой стран Латинской Америки, особенно учитывая факт североамериканского давления, в последние годы налицо, хотя об интеграционных процессах пока говорить преждевременно.

Для интеграции евразийского пространства вокруг России вообще нет каких-то существенных преград, поскольку эти зоны в течение долгих веков были политически, культурно, экономически, социально и психологически объединены. Западная граница евразийской цивилизации проходит несколько восточнее западной границы Украины, делая это новообразованное государство заведомо хрупким и нежизнеспособным.

Перечисление цивилизаций, по сути, дает нам представление о количестве полюсов в многополярном мире. Все они — кроме западного — пребывают пока в потенциальном состоянии, но вместе с тем у каждой из этих цивилизаций есть серьезные, внушительные основания для того, чтобы двигаться в сторону интеграции и становления полноценными субъектами истории XXI в.

Многополярный идеал

Идея многополярного мира, где полюсов будет столько же, сколько цивилизаций, позволит предложить человечеству широкий выбор культурных, мировоззренческих, социальных и духовных альтернатив. Мы будем иметь модель с наличием «регионального универсализма» в пределах конкретного «большого пространства», что придаст огромным зонам и значительным сегментам человечества

необходимую социальную динамику, свойственную глобализации и открытости, но лишенную тех недостатков, которыми обладает глобализм, взятый в планетарном масштабе. Вместе с тем полным ходом в такой системе может происходить развитие регионализма, автономная и самобытная жизнь локальных, этнических и религиозных общин, поскольку унифицирующее давление, свойственное национальным государствам, существенно ослабнет (мы видим это в Евросоюзе, где интеграция существенно способствует развитию локальных коммун и так называемых еврорегионов). В добавление ко всему прочему мы сможем наконец-то решить это фундаментальное противоречие между эксклюзивизмом и инклюзивизмом «имперской» идентичности: планета предстанет не как одна-единственная «эйкумена» (с присущим этой единственности «культурным расизмом» в распределении титулов «цивилизованных народов» и, напротив, «варваров» и «дикарей»), а как несколько «эйкумен», несколько «вселенных», где будут проживать рядоположено в своем ритме, в своем контексте, со своим собственным временем, со своим сознанием и своей бессознательностью не одно «человечество», а несколько.

Как сложатся отношения между ними, заранее сказать невозможно. Наверняка возникнут и диалог, и столкновения. Но важнее другое: история будет продолжаться, и мы вывернемся из того фундаментального исторического тупика, куда завела нас некритическая вера в прогресс, в рассудочность и поступательное развитие человечества.

В человеке что-то меняется со временем, а что-то остается вечным и неизменным. Цивилизация позволяет строго развести всё по своим местам. Рассудок и создаваемые им философские, социальные, политические, экономические системы смогут развиваться по своим законам, а коллективное бессознательное вольно сохранять свои архети-

пы, свой базис в неприкосновенности. Причем в каждой цивилизации и рассудочность, и бессознательное могут свободно утверждать свои собственные стандарты, сохранять им верность, укреплять их или изменять по своему собственному усмотрению.

Никакого универсального эталона — ни в материальном, ни в духовном плане — не будет. Каждая цивилизация получит наконец право свободно провозглашать то, что в ней является мерой вещей. Где-то ей станет человек, где-то — религия, где-то — этика, где-то — материя.

Но, чтобы этот проект многополярности реализовался, нам еще предстоит выдержать немало схваток. И в первую очередь необходимо справиться с самым главным врагом — глобализмом, стремлением атлантистского западного полюса в очередной раз навязать всем народам и культурам Земли свою единоличную гегемонию. Несмотря на глубокие и верные замечания своих лучших интеллектуалов, многие представители политического истеблишмента США до сих пор употребляют термин «цивилизация» в единственном числе, подразумевая под ним «американскую цивилизацию». Вот это настоящий вызов, на который мы все, все народы Земли, и в первую очередь русские, должны, просто обязаны дать адекватный ответ.

Глава 9
Принцип «Империи» у Карла Шмитта и Четвертая политическая теория

Порядок «больших пространств»

В своей работе 1939 года «Порядок большого пространства в правах народов и запрет на интервенцию пространственно чуждых сил. Введение в понятие „рейх“ в

правах народов» («Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht») Карл Шмитт излагает основы концепции, которая легла в основу неоевразийского проекта в России начала XXI в. И хотя Шмитт писал свой текст применительно к Германии конца 1930-х годов, что отразилось на разбираемых им реалиях, его значение намного превосходит и исторический, и политический, и географический контекст, закладывая фундамент особой политико-юридической модели мышления, которой, скорее всего, суждено воплотиться в жизнь только в XXI в. и которая имеет ключевое значение для современной России.

Доктрина Монро

Показательно, что изложение теории «большого пространства» сам Шмитт начинает с «доктрины Монро», сформулированной в 1823 году президентом США Джеймсом Монро и ставшей базой американской внешней политики на два столетия. Смысл «доктрины Монро» сводится к утверждению, что политика американского континента должна определяться интересами самих американских государств. В начале XIX в. это имело вполне конкретный смысл, так как Америка находилась тогда в полуколониальном состоянии и европейские державы постоянно вмешивались в ее политические процессы. США, как самая сильная американская держава, брали на себя ответственность за поддержку независимости всего американского континента от европейского вмешательства. Здесь Карл Шмитт и видит истоки политической теории «большого пространства».

«Большое пространство» исходит из антиколониальной стратегии и предполагает (чисто теоретически) доб-

ровольный альянс всех стран континента, стремящихся коллективно отстоять независимость. Предполагается, что инициатива в отстаивании этой независимости пропорционально возлагается на более сильные державы, откуда следует естественное первенство США. Первенство в обеспечении независимости всего американского «большого пространства» означает и признание лидерства США со стороны остальных стран, и возложение на них основной нагрузки в целях поддержания свободы всего «большого пространства». Это ни в коей мере не предполагает, что американские страны становятся «провинциями» США или хоть в чем-то утрачивают суверенность. Но поскольку суверенность в планетарном масштабе (перед лицом европейских колониальных сил) они могут на практике обеспечить только все вместе и при главенстве США, то значение Соединенных Штатов для всех стран возрастает, ибо союз с ними напрямую влияет на реальное содержание суверенитета каждой американской страны.

Все это отражает реалии первой половины XIX в., но Шмитт именно в этой изначальной форме «доктрины Монро» видит нечто большее — прообраз сбалансированной и гармоничной организации всего мира в будущем, т. е. не исторически обусловленное состояние дел, но оптимальный проект для грядущей реорганизации планетарного пространства.

Смысл «доктрины Монро» в следующем: необходимость обеспечения безопасности и независимости одного государства (США) обусловлена стратегическим статусом примыкающих к нему или расположенных близко держав континента. В отличие от Европы, где конкурировали между собой великие державы, расположенные вплотную друг к другу (Англия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Голландия и т. д.), США были единоличным лидером на американском континенте, и угрозу

для них представляли только внешние — европейские — могущества. Остальные же американские страны были теоретически заинтересованы в том же, что и США (в независимости от европейского колониализма), но реальной конкуренции для них не представляли — уровень их суверенитета был намного слабее.

В Европе идея того, что безопасность Франции зависит от политического состояния Англии или Германии, была бы нелепой напрямую, поскольку и Англия, и Германия обладали могуществом, сопоставимым с французским, и европейские державы вынуждены были договариваться между собой для построения общей системы безопасности — например, в «концерте европейских держав», а внешней для всей Европы угрозы не существовало. Когда тень такой угрозы возникала (со стороны России или Турции), для ее отражения хватало временных альянсов европейских держав между собой.

США находились в принципиально ином положении, и их собственная безопасность напрямую зависела от политического положения других американских стран, которые, взятые по отдельности, свой суверенитет отстоять не могли и для США реальной конкуренции не представляли. Все это и отражено в «доктрине Монро».

Юридический статус «доктрины Монро». Политика и право, легальность и легитимность

Карл Шмитт был юристом и особое внимание уделял правовой составляющей международной политики. Поэтому он задается вопросом о правовом статусе «доктрины Монро». Чтобы понять оценку Шмитта, надо напомнить об основных формах шмиттовского анализа.

Шмитт разделяет между собой область права и об-

ласть Политического. Он убежден, что право подчинено Политическому, так как изначальное решение о формулировке, принятии или изменении закона всегда принимается на основании волеизъявления, выходящего за чисто правовые рамки. Эта сфера принятия решения, запредельная сфере закона, и называется Шмиттом «Политическим». Если закон оперирует с парой понятий «разрешено—запрещено», то Политическое — с парой понятий «друг—враг». В отличие от морали в Политическом определения «друг—враг» ничего не говорят о том, имеем ли мы дело с «хорошим» или «плохим». Эти понятия не имеют заведомо и правового статуса. Враг может быть благородным, справедливым, может обладать честью, но должен быть побежден, уничтожен и разбит, так как он враг.

Шмитт разделяет, вслед за Максом Вебером, также «легальность» и «легитимность». Легальность — это соответствие строго определенному и фиксированному правовому кодексу. Легитимность — совокупное и общее соответствие того или иного политического действия или решения мнению большинства, народа, общества. Политика и право, легальность и легитимность тесно связаны между собой, и различить их в определенные моменты затруднительно. Лишь в критической ситуации («чрезвычайном положении») природа их проявляется в полном объеме, потому что Политическое выступает само по себе, обнаруживая свое сущностное превосходство над правовым. Здесь же проявляется и понятие легитимности и вступает в силу потенциал суверенитета.

Применяя эти понятия к «доктрине Монро», можно сказать, что она мыслилась самими американцами как полностью легитимная, принадлежащая к сущности Политического и вытекающая из суверенного решения обеспечивать надлежащим образом суверенитет США, а заодно и всего американского континента.

«Доктрина Монро» — это квинтэссенция американской

внешней политики. В ней определялось, кто друг, кто враг. Друзьями были все американские страны, врагами — великие европейские державы с их колониальными посягательствами на Новый Свет. Чтобы защитить от «врага» суверенитет, принималось решение о рассмотрении территории всей Америки как единого стратегического пространства. И это было воспринято американцами (по меньшей мере, американским политическим классом) как вполне легитимное явление. Легально-правового статуса «доктрина Монро» не приобрела, но это только добавило гибкости в ее применении, так как позволило более успешно реализовать на практике ее цели.

В «доктрине Монро» в полном объеме проявилась суть *Политического* Соединенных Штатов Америки. В этот момент США приняли историческое решение о своем мировом статусе. Тезис «Америка для американцев» имел в тот момент вполне конкретный смысл — «для американцев, но не для европейцев» («не для европейцев» в качестве внешней управляющей силы).

Эволюция «доктрины Монро»

Изменение смысла «доктрины Монро» Шмитт отмечает уже в XIX в., когда США начинают использовать ее как прикрытие для колониальной политики в пределах континента. Правда, по сравнению с открытым колониализмом европейских держав, колониализм США остается относительным — он протекает под видом «распространения демократических ценностей», т. е. в глазах самих граждан США является цивилизаторской и освободительной деятельностью. Сам Шмитт полагал, что здесь если и есть отход от изначального содержания, то пока незначительный, так как приоритет США в рамках «доктрины Монро» тео-

ретически может толковаться довольно широко.

Гораздо более важный сдвиг в доктрине происходит в начале XX в., когда президенты США Т. Рузвельт и особенно В. Вильсон с опорой на «доктрину Монро» предлагают толковать ее в отрыве от исторических и географических реалий и обосновать с ее помощью необходимость участия США в мировых проблемах для «укрепления демократии, прав и свобод». Здесь «доктрина Монро» явно выходит за границы Америки и превращается в универсалистскую, планетарную теорию, обосновывающую новый тип колониализма — не европейский (открытый, прямолинейный и циничный), а американский (прикрытый цивилизаторской и идеологической функцией распространения либеральной демократии). В такой универсалистско-гегемонистской и идеологизированной форме «доктрину Монро» попытались применить к своей мировой империи и англичане, утвердив в качестве международного принципа необходимость английского контроля над проливами в мировом масштабе, поскольку от этого напрямую зависит безопасность (экономическая, а значит, и политическая и военная) Англии.

Из антиколониальной теории, связанной с конкретным «большим пространством», «доктрина Монро» в XX в. стала превращаться в универсалистскую идеологизированную теорию планетарного колониализма нового типа (морского, английского, и особенно американского).

Для самих американцев и англичан это также было политическим решением, распределением функций друзей и врагов и основывалось на внутренней легитимности. Но для континентальных европейских держав — Германии, Франции, России, а также для некоторых пробуждающихся государств Азии (Япония) это издание «доктрины Монро» было категорически неприемлемо, враждебно и нелегитимно.

После победы над Германией в Первой мировой войне

и революции в России, на основании нового толкования «доктрины Монро», под диктовку Англии и США была предпринята попытка выстроить систему международного права (Лига Наций). Эта система получила название Версальской. Очень важно понять, как она связана с «доктриной Монро».

Здесь в качестве субъекта суверенитета выступают страны Антанты (прежде всего Англия, Франция, США), и пространство, контролируемое ими по обе стороны Атлантического океана, берется в качестве коллективного центра. Весь остальной мир рассматривается как периферия, откуда могут проистекать угрозы, а следовательно, нельзя позволять приобрести могущества ни одной из принадлежащих периферии стран. Лига Наций под эгидой Англии, Франции и США призвана быть для всего мира тем, чем были США для американского материка — гарантом безопасности от врага. Но если в изначальной версии «доктрины Монро» врагами выступали европейские державы, то отныне ими стали изгои — Веймарская Германия, молодая Советская Россия, милитаристская Япония и т. д. Остальным странам, неспособным самостоятельно отстоять свой суверенитет перед лицом вероятной агрессии «изгоев», предлагалось принять протекторат западных держав в рамках Лиги Наций.

Так «доктрина Монро» оторвалась от конкретного «большого пространства» и стала основой планетарной универсалистской модели миропорядка. Вместе с тем она утратила свою защитную функцию и из инструмента борьбы с колониализмом превратилась в колониализм (нового идеологического либерал-демократического типа).

Карл Шмитт показывает, что архитекторы Версаля пытались придать новому изданию «доктрины Монро» (в трактовке Вудро Вильсона) легально-правовой статус, но из-за региональных противоречий этого сделано не было. Тем не менее для Версальского миропорядка и эпо-

хи Лиги Наций это было основной легитимной моделью, выражавшей Политическое и описывающей структуру суверенитета.

После Второй мировой войны эта же модель легла в основу блока НАТО, притом что побежденные Германия и Япония были включены в «пространство Запада», а главным врагом стали СССР и страны советского блока.

Большое пространство и «рейх» в понимании Шмитта

Карл Шмитт написал свою работу накануне Второй мировой войны, и его интересовало осмысление той картины, которую он видел. Прагматически он обосновывал внешнюю политику нацистской Германии. Теоретически старался понять политическую картину внешней политики. Обе эти задачи Шмитт решает в разбираемом нами тексте.

Выделив в «доктрине Монро» два довольно далеких смысла (изначальный, связанный с конкретным «большим пространством», и деформированный, идеолого-империалистический, «версальский»), Шмитт противопоставляет их друг другу. При этом он применяет к изначальной версии «доктрины Монро» научный термин «большое пространство» и «порядок больших пространств», на чем и предлагает в дальнейшем строить систему международного права.

Он подчеркивает, что в понятии «большое пространство» оба термина имеют не количественное (естественнонаучное), но качественное, историческое и, если угодно, сакральное содержание. «Большое» показывает не только на физический объем, но и на уровень внутренней организованности, консолидированности, освоенности, интегрированности пространства в социально-культурное, цивилизационное, стратегическое и политическое единство. В этом же смысле мы используем понятие «великий». «Простран-

ство» также мыслится не как абстрактная категория физики, но как конкретный ландшафт: леса, поля, горы, реки, холмы, формирующие среду бытия народов и рас. В этом смысле понятие «большое пространство» напрямую сближается с понятием «империя» (немецкое слово «das Reiche» означает «империю», «царство»).

Русские евразийцы использовали выражение «государство-мир» (Савицкий). В этой формуле «государство-мир», кстати, также заложена двусмысленность, которую Шмитт обнаружил в «доктрине Монро». Савицкий понимает «государство-мир», «империю» как конкретную часть мирового пространства, представляющую собой цивилизационное единство (это и есть основа евразийства). Так было в изначальной версии «доктрины Монро». Но если отвлечься от конкретного евразийского смысла Савицкого, то же самое выражение можно истолковать как глобализм, т. е. представление о «мировом государстве», «мировом правительстве». Ровно это и произошло в эпоху Версаля и создания Лиги Наций, а позже отразилось в создании НАТО, миропорядке «Трехсторонней комиссии» и современном американоцентричном глобализме.

Универсализм (глобализм) оперирует с физической картиной мира, «большое пространство» — с исторической и сакральной. Субъектом универсализма выступает индивидуум (либеральная теория «прав человека»). Для теории «больших пространств» субъект — это народ, конкретный органический коллектив. Поэтому-то Карл Шмитт и связывает эти понятия «права народов» и «большое пространство». Здесь отражается сущность двух противоположных представлений о миропорядке — многополярном и однополярном, конкретно-историческом и универсальном, основанном на нескольких «империях» («рейхах», по Шмитту) или представляющем собой одну империю (в нашем случае — американскую: ту роль, которую США играли в рамках изначальной «докт-

рины Монро» в XIX в. в отношении американского континента и которую вместе со странами НАТО они начинают играть в XX в. в отношении всего мира).

Сам Шмитт в 1939-м видел Третий рейх именно как «империю», как «большое пространство», как «государство-мир». И такую роль Германии он пытался обосновать. Третий рейх как «большое пространство» был для Шмитта не столько германским, сколько европейским понятием. Он видел в нем выражение континентальной европейской цивилизации в ее классическом (а не просвещенческом) выражении (Шмитт был ревностным католиком и консерватором). Он понимал национал-социалистическое государство как сердцевину Европы народов, а не как новую колониальную силу или национальное государство. Отсюда и его отношение к «правам народов». Шмитт, будучи сторонником Гитлера, никогда в своих текстах не соглашался с расистским и узко немецким толкованием «рейха». Под «рейхом» Шмитт подразумевал совместную инициативу всех европейских народов, и хотя исторически Западно-Римская империя создавалась на основе германских племен, все европейские этносы соучаствовали в общей имперской истории и должны иметь в будущем одинаковые права.

Национал-социализм Шмитта фундаментально отличается от национал-социализма Гитлера или Розенберга именно тем, что Шмитт мыслит в категориях народов, а не одного народа, немецкого, или пресловутой «арийской расы», под которой невежественные нацисты понимали только самих немцев. Он мыслит в категориях «большого пространства», в категориях гармоничного сосуществования различных империй (в том числе «русско-советской», евразийской), а не немецкой колонизации. Именно поэтому в 1936 году в журнале «Черный корпус» («Schwarze Korgs») на Шмитта был опубликован донос, стоивший ему карьеры. Но Шмитт никогда не был оппортунистом и продолжал развивать свои идеи и в новом качестве — «дисси-

дента», как и многие «консервативные революционеры», вытесненные на периферию или даже подвергнутые гонениям ретивыми дилетантами и слабоумными нацистскими фанатиками.

В разбираемой работе поразительно, что Шмитт продолжает использовать выражение «права народов» в самый пик расистской политики Гитлера, признающей полноценными только немцев. «Третий рейх» Шмитта (равно как и «Третий рейх» самого автора этой концепции Артура Мюллера ван ден Брука) — это другой «рейх», нежели Гитлера, это «империя», «большое пространство», населенное народами, каждый из которых имеет равные права в творении Политического, каждый соучаствует в своей судьбе. А центральная инстанция, метрополия, призвана, в первую очередь, обезопасить все народы от вмешательства внешне-пространственных сил (об этом говорится в самом заглавии рассматриваемого текста). Гитлер в своей политике совершил ту же ошибку, что и США, и английские империалисты, которые перешли от конкретного «большого пространства» к универсализму и глобализму, только те взяли на щит либерально-демократическую идеологию, а Гитлер — расистские доктрины и идею «арийского мирового господства», не менее абсурдную и вредную, нежели идеология прав человека.

Если внимательнее присмотреться к идеям Шмитта (шире — к идеям консервативных революционеров: от Шпенглера, Эрнста фон Саломона, Отто Петеля, Артура Мюллера ван ден Брука, Франца Шаувеккера, Эрнста и Фридриха Юнгеров, Германа Вирта, Фридриха Хильшера, Никиша до Хайдеггера), мы легко обнаружим, что речь идет о Четвертой политической теории (наряду с либерализмом, коммунизмом и фашизмом), которая была скрыта за Третьей (нацистской и фашистской). Трагедия идеи в том, что эта Четвертая теория исторически заслонена Третьей, на какой-то момент солидаризовалась с ней,

не выдержав идеологической войны на три фронта (вместе с полемикой против либералов и коммунистов консервативным революционерам приходилось сталкиваться с искажениями их собственных идей в вульгарном нацизме).

Многое можно списать на то, что Германия вынуждена была противостоять не только главным и вполне легитимным врагам — либерально-демократическим англосаксам, но и советскому экспансионизму с Востока, а также на естественное чувство немецкого патриотизма. И кое-кто (в том числе и сам Шмитт) пытался действовать изнутри режима, чтобы перетолковать самоубийственный курс Гитлера в духе «прав народов» и «большого пространства». Но в результате Четвертая теория оказалась погребена под руинами Третьего рейха, который исторически остался рейхом Адольфа Гитлера, а не «рейхом» Карла Шмитта.

Советское «большое пространство». Советский рейх

Модель «больших пространств» идеально применима для анализа советского периода России. Эту тему совершенно самостоятельно развивали русские евразийцы. Они тоже оперировали центральной категорией «большого пространства». Савицкий ввел для этого анализа термин «месторазвитие». Как и для Шмитта, для русских евразийцев основным врагом оставались либеральные страны Запада, хотя сами евразийцы Германию включали в состав Запада, тогда как Шмитт полагал, что она центр европейского континента, а «Запад начинается за Рейном».

Те же евразийцы совершенно точно предсказали эволюцию советской внешней политики от интернационализма первых лет революции к полноценной имперской политике с конца 1920-х годов. СССР был классическим образцом большого пространства, которое, по терминологии Шмитта,

вполне можно было назвать «Советский рейх». Собственно термин «Евразия», введенный евразийцами, и призван подчеркнуть органическое единство «большого пространства» евразийского материка, совпадающего с границами России — от Древней Руси до СССР. При этом в отличие от идеологической манеры мышления самих большевиков и руководителей СССР, которые основывали свои теории на марксизме, где ничего не говорится ни о пространстве, ни о традиции, ни о цивилизациях, евразийцы толковали СССР как историко-пространственный, цивилизационный и геополитический организм, а не только как идеологическую конструкцию. И именно их анализ советской истории — особенно применительно к сталинскому периоду — оказался наиболее точным и аккуратным среди всех остальных эмигрантских сил. Евразийцы оценивали СССР почти так же, как Шмитт оценивал Третий рейх Гитлера, они видели сквозь советскую пену глубинную логику «большого пространства», легитимность вечной «империи», диалектику Третьего Рима, исторический суверенитет русского народа, переданный политической элите (в данном случае большевикам) с одним наказом — уберечь страну и народы от вмешательства внешне-пространственной силы. И эту задачу на протяжении семидесяти лет большевики осуществляли.

Евразийцы, по сути, были представителями Четвертой политической теории, как и немецкие консервативные революционеры. Но они распознали ее элементы не за фашизмом (Третья политическая теория), а за Второй политической теорией. Особенно подробно этот анализ дан у Устрялова.

Идея построения социализма в одной стране применительно к России уже была обращением к «большому пространству» и легитимности «рейха». Если допустить, что сила Четвертой политической теории в нацистской Германии и СССР оказалась бы решающей, а поверхностные идеологические аргументы отступили бы на второй план, мы по-

лучили бы совершенно иной мир — идеальный (в рамках возможного), многополярный и уравновешенный. Нереализованный (абортированный) набросок чисто теоретической победы Четвертой политической теории мы видим в пакте Риббентропа—Молотова и концепции другого консервативного революционера, Карла Хаусхофера, «Ось Берлин—Москва—Токио».

Новая актуальность Четвертой политической теории

Теперь перейдем к современности. Наследие Карла Шмитта сегодня стало неотъемлемой составляющей политической и юридической культуры западных элит. Оно, как выяснилось, намного превосходило историческую конкретику и проникало в те фундаментальные проблемы, которые нисколько не утратили своей актуальности и ныне — напротив, только приобрели. Но если посмотреть чуть шире, становится понятно, что речь идет не только о Шмитте лично и о его персональном наследии. На самом деле резко возрастает значение самой Четвертой политической теории в целом, ярким представителем которой был Карл Шмитт, хотя далеко не он один.

В наше время из трех основных политических теорий XX в. выжила только одна — либеральная. Фашизм исчез, коммунизм почти исчез. В любом случае относиться и к тому, и к другому всерьез невозможно. Не только потому, что они исторически проиграли, это еще полдела; но потому, что они идейно обанкротились. Те, кто им поверил, не просто были раздавлены — они унижены и посрамлены на теоретическом уровне. Ни фашисты, ни коммунисты не могут сегодня внятно объяснить причины своего краха, и именно поэтому их нет не только в настоящем, но и в будущем. Фашистская мысль сошла на нет, марксистское мы-

шление в чистом виде стремится к нулю. А там, где оно присутствует, обязательно сопряжено с иными внешними идеологическими тенденциями (национализм в Азии и Третьем мире и либерализм в европейской социал-демократии). Четвертая политическая теория, куда относятся идеи «больших пространств», «империи», «прав народов», «органической демократии», «многополярности», «месторазвития», «геополитического суверенитета», «геополитики», напротив, все больше и больше доказывает свою состоятельность. Именно она и становится на наших глазах единственной взвешенной и обоснованной альтернативой глобализму, «правам человека», однополярности, либерально-демократическому универсализму, индивидуализму, тоталитаризму рынка и рыночных ценностей.

Шмитт предвидел мир, состоящий из «империй», «больших пространств», «рейхов». Применяя его взгляды к актуальности, вполне можно различить в будущем атлантистскую «империю» (с центром в США), азиатскую «империю» (с кондоминиумом Китая и Японии), европейскую «империю» (в соответствии со шмиттовской идеей) и, наконец, евразийскую «империю».

Шмитт видел себя наблюдателем Европейской империи и мыслил мир в оптике именно Европейского рейха. Евразийцы же разработали основы аналогичного мировоззрения, только глядя на мир из России. Японская модель реорганизации Тихого океана в «большое пространство» была прервана поражением во Второй мировой войне, и сегодня лидирующую роль в этом процессе пытается играть Китай. Россия только что утратила огромный сегмент своего «большого пространства», но постепенно выходит на евразийское направление (что предполагает новый виток интеграционных инициатив).

Если трем потенциальным «большим пространствам» (европейскому, евразийскому и азиатскому) предстоит

расширяться, чтобы стать «империями», «рейхами», то атлантистскому пространству, которое претендует сегодня на универсальность и глобальность, придется сжиматься. Чтобы США снова вернулись к изначальной версии «доктрины Монро», чтобы они снова стали «большим пространством» и «империей», их влияние надо существенно сократить.

Такой анализ показывает, что теория Карла Шмитта «больших пространств» как наглядное выражение всей конструкции Четвертой политической теории является самой надежной платформой для многополярного мира, антиглобализма, антиамериканизма и национально-освободительной борьбы против американской мировой доминации.

Рассмотренный текст Карла Шмитта «Порядок большого пространства в правах народов и запрет на интервенцию пространственно чуждых сил», освобожденный от исторических обстоятельств, равно как и другие фундаментальные тексты самого Шмитта и иных консервативных революционеров, представляют неотъемлемую часть наследия неоевразийской теории и помогают лучше понять смысл неоевразийства — современного выражения Четвертой политической теории, переформулированной в условиях XXI в. русскими, в России, в интересах России и для процветания России как мировой державы.

Неоевразийство — это политическая теория построения империи, «большого пространства» в настоящем и будущем. Либо неоевразийство станет основным мировоззрением российских элит, либо нас ожидает оккупация. Заметим, что другие потенциальные «большие пространства» и другие народы все без исключения заинтересованы в том, чтобы в России началось евразийское возрождение. От этого выиграют все, так как неоевразийство жестко выступает не за универсализм, а за «большие пространства», не за империализм, а за «империи», не за «интересы какого-то од-

ного народа», а за «права народов».

Глава 10
Проект «Империя»

Империя без императора

Бытует такое мнение, что понятие «империя» обязательно предполагает наличие императора. Однако непредвзятый анализ этого явления показывает, что история знает множество империй без императора. Некоторые из них управлялись ограниченным кругом избранной аристократии. Другие — парламентом или сенатом. Следовательно, наличие единоличной монархической власти — императора — не является необходимым условием для существования империи. Кроме того, существовало множество монархических, деспотических, тиранических или диктаторских государств — с абсолютной властью царя или авторитарного вождя, которые не назывались империями и не имели с ними ничего общего. Таким образом, мы вполне можем рассмотреть принцип империи в полной независимости от императора.

Империя как оптимальный инструмент создания гражданского общества

Другое расхожее заблуждение — об империи как о чрезвычайно архаичном явлении, изжитом современной цивилизацией еще на пороге Нового времени. Это также далеко от действительности. Империи, и древние и современные, напротив, представляли собой такую форму политического устройства, которая по технологическим, идеологическим, социальным, управленческим, экономическим параметрам намного превосходила общества, предшествовав-

шие возникновению этих империй.

Они практически всегда означали модернизацию народов, обществ и государств, попадавших в границы империи. Устанавливали на огромных пространствах общий социальный и правовой уклад, унифицировали и открывали частные этнические общины для интенсивного диалога со всеми остальными, способствовали техническому развитию, облегчали торговлю и иные формы культурного обмена, создавали предпосылки для развития гражданского общества.

В частности, Римская империя после эдикта императора Каракаллы признало право на римское гражданство за всеми свободными людьми, оказавшимися на тот период под властью Рима, хотя ранее право гражданства было доступно лишь отдельным заслуженным гражданам локальной элиты. Например, апостол Павел, в свою бытность знатным иудеем Савлом, задолго до эдикта Каракаллы, имел римское гражданство.

Современные европейские государства-нации, хотя и были выстроены на отрицании империи, полностью скопировали систему гражданства именно с имперской модели. И неудивительно, что в их основе на нынешнем этапе лежит именно римское право, отразившее в себе правовую логику становления империи.

Определение империи

Если империя не определяется ни наличием императора, ни принадлежностью к архаическим политическим системам, то какие именно признаки присущи ей объективно? Как нам определить империю?

Империя представляет собой такое политико-территориальное устройство, которое *сочетает жесткий страте-*

гический централизм (единую вертикаль власти, централизованную модель управления вооруженными силами, наличие общего для всех гражданского правового кодекса, единую систему сбора налогов, единую систему коммуникаций и т. д.) *с широкой автономией региональных социально-политических образований*, входящих в ее состав (наличие элементов этно-конфессионального права на локальном уровне, многонациональный состав, широко развитая система местного самоуправления, возможность сосуществования различных локальных моделей власти — от племенной демократии до централизованных княжеств или даже королевств).

Империя всегда претендует на *вселенский масштаб*, осознавая свое политическое устройство как ядро или синоним мировой империи. «Все дороги ведут в Рим». Все империи мыслят себя как *мировые империи*.

Империя наделена *миссией*. Она воспринимается как политическое воплощение исторической судьбы человечества. Миссия может осознаваться в религиозных (Византия, Австро-Венгрия, исламский халифат, Московское царство), гражданских (Древний Рим, империя Чингисхана), цивилизационных (Китайская империя, Иранская империя) или идеологических (коммунистическая империя СССР, либеральная империя США) формах проявления.

В таком обобщенном политологическом и социологическом понимании империя и ее принципы приобретают особую актуальность и для нашего времени.

Империя неоконсов (benevolent empire)

Тезис об актуальности термина «империя» для понимания реалий сегодняшнего мира подтверждается подъемом интереса к этому понятию в мировой политологии

XXI в. Начиная с 2002 г. широкая американская пресса стала использовать этот термин применительно к той роли, которую США должны играть относительно прочего мира в новом столетии (возможно, тысячелетии). В американском обществе вовсю пошел спор об империи. Как всегда в таких спорах, понятие это понималось разными кругами по-разному, но само понятие стало центральным.

В определенной мере таковой процесс был следствием почти безраздельного влияния в американской политике эпохи Буша-младшего идей неоконсерваторов. Теоретики этого направления, отталкиваясь от рейгановской формулы «СССР как империя зла», предложили симметричный проект: США как «империя добра», «benevolent empire» (Р. Кейган).

Роль США в XXI в. мыслилась неоконсерваторами как функция глобального интегратора, как новое (постмодернистское) издание Рима. Все признаки империи в таком проекте были налицо:

- централизованное стратегическое управление миром (ВС США и НАТО);
- глобальная идеология (либеральная демократия);
- унифицированная модель хозяйства (рынок);
- определенная автономия региональных вассалов (имеющих некоторую степень свободы во внутренней политике, но обязанных жестко следовать за американской линией в основополагающих вопросах);
- планетарный масштаб (планетарное гражданское общество, глобализация, One World);
- миссия демократизации и либерализации всех стран и народов мира.

Фрэнсис Фукуяма в порыве энтузиазма начала 1990-х назвал установление мировой американской империи

«концом истории». Несколько позже он признал, что поторопился и что всемирная американская империя является еще не совершившимся фактом, но только проектом и дальней целью, на пути к которой могут возникнуть серьезные осложнения, задержки и, возможно, тактические отступления.

Обобщил совокупность этих возражений в своей не менее эпохальной работе другой американский политолог, Самюэль Хантингтон, показавший, что установление всемирной американской «империи добра» будет блокировано «столкновением цивилизаций». Вывод Хантингтона таков: путь к мировому масштабу США должен быть постепенным, и на данный момент важнее сплотить атлантистское ядро (США + страны НАТО) и, манипулируя цивилизационными противоречиями, дождаться выгодного момента в будущем. Но в любом случае тезис о том, что США — это империя XXI в., общепринят в американской политологии, как бы ни понимались исторические сроки и пространственные границы ее становления.

Американская политическая элита мыслит сегодня категориями империи. Причем независимо от того, разделяют ли ее представители оптимистические и агрессивные идеи неоконсов или нет. Жесткий противник неоконсерваторов и «демократ» Збигнев Бжезинский — сторонник американской империи в не меньшей степени, нежели Дик Чейни, Ричард Перл, Пол Вулфовиц или Уильям Кристол.

Критика «империи» у Негри—Хардта

Термин «империя» стал популярным сегодня не только в американском истеблишменте. Его активно используют и даже делают синонимом своего главного идеологического проекта ярые противники капитализма, либеральной

демократии и США — крайне левые философы и политики-антиглобалисты. Теоретик «красных бригад» Тони Негри и американский философ-антиглобалист Майкл Хардт написали программный труд «Империя», который, по их мнению, должен стать аналогом «Капитала» Маркса для мирового левого движения XXI в. Это своего рода «Библия» антиглобализма.

Негри и Хардт описывают историю США как изначально совмещающую в себе принцип сетевой организации с имперским мессианством, что и сделало, по их мнению, именно США мировым лидером, устанавливающим планетарную власть в форме общеобязательного для всех ценностного, экономического и социально-политического порядка.

Под «империей» Негри и Хардт понимают установление глобального государства, основанного на капиталистической эксплуатации «властью» творческих потенциалов «множества» при центральной роли США, которая постепенно превратится в мировое правительство. Для Негри и Хардта такая мировая империя есть апофеоз предшествующих стадий развития капитализма и вершиной несправедливости и эксплуатации. Это всемирное «общество спектакля» (Ги Дебор). Эта мировая империя мыслится как империя Постмодерна, где власть и насилие приобретают не открытый, а завуалированный сетевой характер.

Сами авторы предлагают отнестись к данной ситуации как к историческому шансу для «множеств» осуществить мировую революцию. Империя перемешает в космополитическом котле классы и народы, страны и политические системы. Останутся только эксплуататоры (мировое правительство, операторы сетевой империи) и «множества», лишенные каких бы то ни было качеств, а следовательно, являющиеся идеальными «пролетариями» XXI в. «Множества», по Негри и Хардту, должны найти способ — через

наркотики, всевозможные извращения, генную инженерию, клонирование и иные формы биоинтеллектуальных мутаций — ускользнуть от власти империи, взорвать ее изнутри, пользуясь для своей анархо-подрывной деятельности теми возможностями, которые открывает сама империя.

Так, категория «империя» становится во главе угла идеологических конструкций мирового левого движения, антиглобализма и альтерглобализма. Собственно, альтерглобализм и есть прямой вывод из идей Негри и Хардта: надо не бороться с глобализацией, но использовать ее капиталистические и империалистические формы (существующие сегодня) для антикапиталистической революционной борьбы.

Альтернативы глобальной империи: продление Ялтинского status quo

Если всерьез отнестись к проекту глобальной американской империи, немедленно возникнет вопрос: а что можно предложить в качестве альтернативы? С одной из них мы уже познакомились, но она привлекательна для ограниченного числа крайне левых — троцкистов, анархистов, постмодернистов. Посмотрим на другие проекты.

Простейшим ответом на имперский проект будет желание сохранить status quo. Это инстинктивное желание оставить в неприкосновенности тот международный порядок, который сложился в XX в., когда суверенитет привязан к национальному государству, а площадкой для решения спорных международных вопросов служит ООН. Такой подход ущербен, поскольку мировой порядок XX в. после 1945 г. складывался по итогам Второй мировой войны и номинальный суверенитет национальных государств обеспечивался паритетом стратегических вооружений двух сверхдержав — США и СССР. Имперские амбиции одной

(социалистический лагерь) уравновешивались имперскими амбициями другой (капиталистический лагерь). Остальные национальные государства приглашались вписаться в этот баланс с широким полем для маневров в движении неприсоединившихся стран. ООН лишь закрепляла такой баланс в структуре Совета Безопасности.

После краха социалистического лагеря и распада СССР вся система Ялтинского мира рухнула, стратегический паритет был нарушен и практически все национальные государства были вынуждены соотносить свой суверенитет с диспропорционально возросшей мощью американской империи. ООН перестала что-либо значить, и Ялтинский мировой порядок отошел в прошлое.

Многие страны не до конца осознали эту глобальную трансформацию и продолжают по привычке мыслить категориями вчерашнего дня, где две конкурирующие империи (советская и американская) выступали как гаранты суверенитета для всех остальных стран. После Ялты осталась одна империя, и не замечать этого — лишь откладывать неприятное для многих осознание реального положения дел.

Страны, попытавшиеся возразить против этой однополярной картины, — Ирак, Югославия, Афганистан — на своей шкуре почувствовали, что такое постялтинский мир и какова в нем цена суверенитета. Дело в том, что в условиях XXI в. ни одно национальное государство не способно отстоять свой суверенитет при прямом лобовом столкновении с американской империей. Тем более что на стороне США выступают остальные ведущие страны мира. Технические сложности, с которыми сталкиваются американцы в деле планетарного импереостроительства (а это и есть глобализация на различных ее уровнях), не должны вводить нас в заблуждение: если у них что-то не получается, это еще не означает, что и не получится.

Проект построения глобальной либерально-демокра-

тической империи — главный и единственный план американской внешней политики в XXI в., и после краха двухполюсного мира ничто формально не в силах бросить вызов этой модели. Оптимисты и пессимисты в самих США спорят о том, когда же окончательно установится империя — завтра или послезавтра, а не о том, стоит ли ее устанавливать вообще. И это ответственные споры. Тот факт, что многие национальные государства не хотят расставаться со своим суверенитетом, представляет собой чисто психологическую проблему: это нечто наподобие фантомных болей, мучающих владельца уже отсутствующей конечности.

Ни одно национальное государство в сегодняшнем мире не способно принципиально отстоять свой суверенитет перед лицом глобальной империи в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Максимум, что реалистично сделать, — это оттянуть время. Но задержка не есть альтернатива.

Итак, национальные государства отныне суверенны лишь номинально и не являются альтернативой однополярной модели. ООН в такой ситуации обречена на отмирание, о чем постоянно и напоминает Вашингтон.

Исламская империя (мировой халифат)

Если достаточным потенциалом, чтобы блокировать наступление американской (атлантистской) империи, в современном мире не обладает ни одно из национальных государств, остается только один выбор: либо сдаться на милость победителя и прильнуть к сапогу новых хозяев мира (как делают, например, многие страны Восточной Европы и СНГ), либо дать какой-то асимметричный ответ (анархотроцкистский вариант в духе Негри—Хардта мы оставля-

ем для салонных постмодернистов и маргиналов — наркоманов и извращенцев).

Чрезвычайно важно осознать не только то, на какой ресурс может опереться эта альтернатива в материальном смысле, но и какую идеологию взять в качестве интегрирующего фактора. Один из таких идеологических ответов заключается в проекте фундаментального ислама. В своем политическом выражении он противопоставляет мировой американской империи другую империю — мировой исламский халифат. И это совершенно логично: в исламском проекте учитывается характер противостояния — на глобальный вызов дается глобальный (хотя и асимметричный) ответ.

В противостоянии США и «Аль-Каиды», как бы странно и диспропорционально такая дуэль ведущей мировой державы с экстерриториальным «международным терроризмом» ни выглядела, мы имеем дело со столкновением двух равновеликих *идеологических* проектов. Исламский фундаментализм предполагает:

- установление мирового исламского правительства;
- широкую автономию этнических групп, которые обязаны будут подвергнуться исламизации или выплачивать десятину (как «люди книги»);
- введение нормативов исламской экономики (отказ от процента, отчисление десятины в пользу общины, суммы с последующим распределением среди малоимущих);
- религиозную миссию (ислам и исламизация);
- планетарный масштаб (мусульмане живут во всем мире).

Исламский проект как ответ на американскую глобализацию полностью подпадает под определение империи. Конечно, здесь стоит вопрос о ресурсах противостояния. Но тут на помощь исламистам приходит Постмодернизм

с его сетевым обществом (Кастельс). Исламисты используют бедность рекрутируемых для международной террористической деятельности мусульман, эксплуатируют религиозный потенциал, доведенный до фанатизма, вовсю задействуют религиозные и этнические группы, существующие во всем мире для создания собственных Сетей, пользуются Интернетом и иными информационными технологиями для ведения информационной борьбы и, наконец, прибегают к терактам — как в случае 11 сентября 2001 г., что наносит уже вполне ощутимый удар по той империи, против которой ведется война. Признание исламскими радикалами своим главным противником США является достаточным доказательством того, что мы имеем дело с серьезным и ответственным проектом. Проектом *альтернативной мировой империи*.

ЕС: колеблющаяся империя

Другим — гораздо менее определенным и более мягким — оказывается европейский путь. Объединенная Европа имеет две геополитические идентичности: с одной стороны, это окраина американской империи, служащая местом для размещения американских военных баз, а с другой — зародыш альтернативного геополитического образования с собственной системой интересов и приоритетов, которые вполне могут отличаться от американских (подчас существенно). Поэтому следует говорить не об одной Европе, но о двух, которые накладываются одна на другую.

Есть Европа атлантистская и Европа континентальная. Континентальная Европа, называемая также Старой Европой, чьим ядром, напомним, выступают Франция и Германия (к ним тяготеют Италия и Испания), представляет собой пока не реализовавшийся проект самостоятельной империи. Эта существующая как исторический набросок

Европейская империя давала о себе знать в период американского вторжения в Ирак, когда чуть было не состоялась ось Париж—Берлин—Москва в качестве зародыша самостоятельного геополитического образования, призванного сдержать установление однополярного американского мира.

Совсем недавно стараниями этой континентальной Европы было замедлено присоединение Украины и Грузии к НАТО. Слишком зависящая от США в стратегическом плане и разделяющая по большей части ценностные приоритеты (демократия, либерализм, рынок, права человека, технологическое развитие) с американцами, Европа не решается со всей прямотой оформить свои имперские проекты. О них мы только догадываемся. Кроме того, другая Европа — атлантистская, чьими опорными точками служат проамериканская Англия и страны Новой Европы, не обладающие европейским самосознанием и целиком зависящие от США, стремится сорвать план Европейской (преимущественно франко-германской) империи, сохранив ЕС в зоне прямого американского контроля.

Эта двойственность Европы сказывается во всем. Так, никак не удается сделать выбор между двумя имперскими проектами — конформистским американским и альтернативным (если угодно, «революционным») европейским, континентальным. Но при этом следует также учитывать, что большинство европейцев трезво осознает, что как минимум конкурентными — не говоря уже о стратегической независимости — они могут быть только в формате Евросоюза, и отнюдь не как национальные государства. Иными словами, то, что Европа вынуждена переходить к имперским формам политической организации, — давно решенный вопрос. По отдельности даже самые крупные страны Старой Европы не способны отстоять свои национальные интересы. И независимо от того, станет ли когда-то Евро-

па самостоятельной империей или будет оставаться периферией атлантизма, она обречена на интеграцию.

Российские «пораженцы»

Теперь надо сказать и о России. Как выработать нам, русским, правильное отношение к империи в конкретных условиях XXI в.? Эта проблема раскладывается на несколько составляющих. Во-первых, всё должно начинаться с ответа на вызов однополярного мира. Проще говоря: как мы относимся к американской империи?

Если мы отдаем себе отчет в том, что такое американская империя, то вынуждены решать уравнение суверенитета. Сам факт глобализации и построения американцами однополярного мира означает сокращение нашего суверенитета — вплоть до его конечного упразднения (с передачей основных стратегических функций имперскому центру). Либо суверенитет России, либо глобальная американская империя — такова дилемма.

В этом обозначаются две позиции. Одна состоит в том, чтобы *признать поражение СССР как нечто необратимое*, выбросить белый флаг (измены) и попытаться занять в новой американской империи наиболее комфортное место. Так считали реформаторы в эпоху Ельцина, так продолжают думать либерально-«демократические» силы (СПС, «Яблоко»), дикторы «Эхо Москвы», многие российские олигархи (яснее других это декларировал М. Ходорковский), участники радикальной оппозиции («Другая Россия», Касьянов, Каспаров и т. д.).

Надо сказать, что подобная позиция, несмотря на ее моральную ущербность (она ведь означает прямое предательство наших национальных интересов), оперирует с холодными реалиями. У США есть и идеология новой империи, и значительные ресурсы для ее реализации. У противников глобализма есть эмоции, экстравагантные модели типа Негри—Хардта и зловещий террористический проект

фундаменталистского ислама (надо сказать, малопривлекательный), но при этом почти нигде нет убедительных ресурсов, чтобы гарантированно сорвать американцам их планетарный проект. Так что российские «пораженцы» — если бы не их едва скрываемое злорадство и явная ненависть к России — вполне могли бы привлекаться для ответственного диалога о выработке стратегии будущего.

В любом случае в нашем обществе есть те, кто готов *уступить суверенитет* России глобальной американской империи и при этом внятно аргументировать свою позицию.

Антиимперские сторонники суверенитета России

В противоположном лагере *суверенистов* — другими словами, тех, кто не готов пожертвовать суверенитетом России, который явно выдвинулся в приоритеты российской политики в президентство Владимира Путина, — есть два полюса. Оба они отвечают по-разному на вызов империи и предлагают два ответных сценария.

Первый полюс, недавно четко озвученный мэром Москвы Юрием Лужковым в полемике с автором этих строк на форуме «Единой России» «Стратегия-2020», исходит из того, что Россия должна сохранять суверенитет, оставаясь в пределах национального государства. По всей видимости, такое же убеждение господствует в верхах путинской элиты, пытающейся противодействовать глобализму и стратегическому давлению НАТО и США в рамках продления Ялтинского статус-кво. С этим связаны и навязчивая идея поддержки ООН и повышения российской доли в ее финансировании, и многие другие международные шаги российского руководства. Здесь мы имеем дело с желанием игнорировать геополитические сдвиги, объективно произошедшие в международной системе отношений

после краха СССР и Варшавского договора. Отсюда и идея провозглашения России «европейской страной» (Д. Медведев, В. Путин). В этом читается упорное желание «заколдовать реальность», словами, жестами, знаками и двусмысленными речами отмахнуться от неприятной остроты вызова.

Американцы открыто говорят: мы строим мировую империю, где всем предлагается либо признать это как факт, смириться и встроиться в их имперский проект, либо пенять на себя (что именно последует в таком случае — показывает пример Ирака, Югославии и Афганистана — в очереди стоят другие страны «оси зла», в том числе и Россия). На это суверенисты, стремящиеся не нарушать статус-кво, отвечают: всё не так, империю никто не строит, ничего не произошло, не надо на нас давить, давайте лучше будем дружить и строить совместно демократический мир без двойных стандартов, уважая суверенитет всех государств, а о спорных случаях договариваться.

Тогда американцы снова уточняют: как раньше, теперь так не будет, поскольку мы были одной из двух империй, а теперь остались одни — попробуйте доказать противное, тогда и поговорим; поэтому заканчивайте валять дурака и сдавайтесь. «We win, you loose, sign here», — как предлагает говорить с Россией Ричард Перл.

На это сторонники «фантомных болей» проваленной империи отвечают: мы ничего не слышим из того, что вы нам говорите; мы не проиграли «холодную войну»; мы просто демократы (чуть особенные) и вполне договороспособные ребята (базы из Камрани и Лурдеса убрали, американцев в Центральную Азию после налета исламистов впустили, Милошевича в Гаагский трибунал доставить помогли, против ареста Караджича особенно не протестовали), зачем же вы с нами так?!

На это американские импероστроители снова отвеча-

ют: *вы почему считаете, что выполнение приказаний хозяина должно восприниматься как оказанная ему услуга*? Что вы сделали по нашей указке — хорошо, продолжайте в том же духе и не тормозите. Иными словами: проиграли партию, отдавайте ключи от города. Отказывайтесь от суверенитета. И здесь пятая колонна американских коллаборационистов уже изнутри подпевает — отказывайтесь-отказывайтесь, пока не поздно. И суверенисты замирают от внутреннего противоречия. В какой-то момент строителям империи надо что-то возразить по существу и с точки зрения идеологии, и с точки зрения ресурсов. Причем вначале идеологии, а потом ресурсов. В зависимости от выбранной модели асимметричного ответа будут подыскиваться и ресурсы.

Ясно, что идея России как национального государства, «европейской страны», «гражданского общества», со своеобразной демократией и вообще без какой бы то ни было идеологии или со слабой эрзац-идеологией «суверенной демократии» (где всё прилизано до нечленораздельности), в эпоху имперских проектов и мировой глобализации вообще никем всерьез рассматриваться не будет. Она не убедит и не мобилизует наше общество, но в то же время не остудит заокеанских архитекторов будущего.

В таком ответе хорошо то, что есть отторжение американского плана, заметно прочувствованное «нет», сказанное американской империи и однополярному миру (всё это наличествует в Мюнхенской речи Путина). Но в таком ответе плохо то, что за «нет» не следует никакого «да», никакого проекта — а общие места о праве, борьбе с коррупцией, инновациях и бизнесе просто из другой оперы. Нам навязчиво предлагают сыграть в шахматы на евразийской шахматной доске. Мы же, сделав пару ходов, переходим на логику шашек, а потом, без предупреждения, и к «чапаевцам».

Для такой категории суверенистов характерно настороженное или вовсе отрицательное отношение к имперским проектам, выдвигаемым от лица России, о чем и заявил однозначно мэр Москвы Юрий Лужков: «Говорить о том, что Россия должна стать „империей“, — ответил он на мое выступление, — вредно и неприемлемо».

Евразийская империя будущего

Теперь перейдем ко второму полюсу. К нему всё более склоняются не только традиционные русские и советские патриоты из антиельцинской оппозиции, но и некоторые российские интеллектуалы, проделавшие эволюцию от либерализма к державным позициям (М. Леонтьев, В. Третьяков и др.). Здесь располагаются те, кто отвергает десуверенизацию и глобальную американскую империю (как и другие суверенисты), но предлагает альтернативный, наступательный идеологический и геополитический проект.

Признавая необратимость изменений конца XX в., не заблуждаясь относительно завершения Ялтинского мира и дальнейшей бесполезности ООН, не строя иллюзий относительно реальной мощи и волевой решимости американцев создавать и далее мировое господство вопреки всем протестам «международной общественности» (которую Вашингтон ни в грош не ставит), этот полюс предлагает в ответ строить новую империю с ядром в России — как адекватный ответ на американский вызов. Это и есть *русский имперский проект*. Но в отличие от двуполярного мира или Российской империи он должен быть наполнен новым идеологическим содержанием.

Одной империи может противостоять только несколько империй, которые способны собрать свой потенциал в асимметричную конструкцию, чтобы на первом этапе

остановить, сорвать и предотвратить строительство однополярного мира, а на следующем — согласовать между несколькими имперскими полюсами границы обоюдных влияний в многополярном мире.

Сторонники русского имперского проекта считают, что ни территорий, ни политического, ни экономического, ни цивилизационного потенциала Российской Федерации для этого недостаточно. Чтобы выйти на рубежи реальной многополярности, Россия должна воссоздать свое влияние на постсоветском пространстве, интегрировав вокруг себя близкие нам цивилизационно страны и народы (в первую очередь страны СНГ). И параллельно этому способствовать формированию единого фронта всех тех альтернатив американской империи — от мягких до самых жестких, — которые существуют сегодня. В этом смысле важны контакты не только с исламским миром, но и с континентальной Европой, не только с Китаем, но и с поднимающей голову Латинской Америкой, нельзя забывать и о других странах — Азии и Африки.

Иными словами, Россия должна мыслить и действовать по-имперски, как мировая держава, которой до всего есть дело — и до прилегающих к ней территорий, и до самых отдаленных уголков планеты. И это должно начаться не «потом», когда Россия «укрепится внутри» (она под давлением США внутри в достаточной мере не укрепится никогда), а «сейчас», поскольку и темпы, и логика строительства зависят от того, что мы строим. Если империю — это один проект, если пытаемся спасти национальное государство — это совершенно иное. Переделать одно в другое не просто затратнее и труднее, но абсолютно невозможно. Гораздо проще, любой строитель это знает, разрушить всё и построить заново. Деятели 1980—1990-х гг. всё разрушили за нас. Так что самое время строить империю — с нуле-

вого цикла.

СНГ — котлован грядущей империи

Котлованом империи, нулевым циклом ее будет интеграция постсоветского пространства. Все постсоветские государства обладают только таким суверенитетом, который им предоставила слабость Москвы в 1990-е годы и потенциальная поддержка Вашингтона. В остальных аспектах это почти всегда «неудавшиеся государства». Сегодня НАТО, осмелев от ступора, в котором всё еще находится Кремль после геополитической катастрофы 1990-х, пытается сделать откол от России некоторых стран — в первую очередь Грузии и Украины — необратимым. В откладывании вопроса о приеме Киева и Тбилиси в НАТО мы имеем дело с временем, оплаченным Старой Европой для того, чтобы мы использовали его по назначению. Но после Цхинвала всё это имеет иное значение. Фактически отсрочка закончилась 8 августа 2008 г., после решения Москвы о вводе войск в Грузию.

Если бы Украина и Грузия вошли в состав американской империи — что только усилило бы позиции атлантистов в самой Европе (как верно посчитали Париж и Берлин, сделавшие дружелюбный геополитический жест в сторону России), — имперский проект для России оказался бы плотно заблокирован (об этом пишет открыто в своей книге «Великая шахматная доска» Збигнев Бжезинский). Ведь котлован будущей Евразийской империи совпадает в общих чертах с пространством СНГ.

Конечно, говоря о распространении российского влияния на постсоветское пространство, мы не настаиваем на прямой колонизации в старых традициях. Сегодняшние империи редко прибегают к подобным методам (хотя, как мы видим на примере Ирака или Косова, всё же и такое

случается; следовательно, их нельзя сбрасывать со счетов вовсе). Однако в нашем мире отработаны более тонкие и эффективные сетевые технологии, позволяющие добиться аналогичных результатов иными средствами — с использованием информационных ресурсов, общественных организаций, конфессиональных групп и социальных движений.

На Украине больше половины населения, выступающего против вступления страны в НАТО, принадлежит к Русской православной Церкви Московского Патриархата и ориентировано на сближение с Россией. Но политическая верхушка Киева продалась американской империи. Западные земли Украины цивилизационно также тяготеют к Европе. Но Восток и Крым однозначно — к России. Сейчас пошел отсчет времени для того, чтобы сорвать аннексию Украины атлантистской империей. Время — до декабря, хотя грузино-российский конфликт делает ситуацию еще более острой.

У России есть шанс и ресурсы. Но если не будет уверенности в исторической необходимости строить на пространстве СНГ котлован для нового имперского здания, то Москва может упустить и эту возможность.

Вместе с тем решимость принять имперский проект должна автоматически повлечь за собой и интенсивную работу с друзьями — странами членами ЕврАзЭС (в первую очередь Казахстаном и Белоруссией), чьи народы и лидеры поддерживают интеграцию. Противодействуя врагам, необходимо теснее сближаться с друзьями, закрывая глаза на разного рода шероховатости в наших отношениях.

Империя после Цхинвала

После событий августа 2008 г. ситуация на постсовет-

ском пространстве выдвинулась к новой, более острой фазе. *Битва за империю и наше влияние перешла от политико-экономических и сетевых сценариев к прямому вооруженному столкновению.* После того как Москва ответила на геноцид южноосетинского народа введением войск на территорию Грузии и признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, мы вступили в *новый имперский цикл*. Это ни в коем случае не снимает актуальности политико-дипломатических методов работы на пространстве СНГ, но показывает, что военно-стратегический фактор остается в определенных случаях решающим.

Когда Президент России Д. Медведев и члены Совета безопасности РФ приняли историческое и необратимое решение о введении российских войск в Грузию, а позже признали независимость Южной Осетии и Абхазии, мы перешли запретную черту, которая ранее гипнотизировала геополитическое сознание российского руководства. Путин, будучи президентом, шел на самые крайние меры для укрепления России как государства-нации (операция в Чечне, указ о назначении губернаторов и т. д.). Это было ярким контрастом по сравнению с разрушительной практикой правления Горбачева—Ельцина, но *не выходило за границы Российской Федерации*. После Цхинвала мы прорвали этот гипноз, ясно осознав, что безопасность России и ее граждан необходимо обеспечивать и за *ее пределами*. Скорее всего, Москва еще долго не решалась бы на подобные шаги, если бы не наглость Саакашвили, которому его американские патроны клятвенно пообещали, что вооруженный ответ со стороны России вообще исключен. Он поверил, попытался полностью уничтожить население Южной Осетии, чтобы потом приняться за Абхазию, но неожиданно столкнулся с тем, что Россия вышла из паралича и ведет себя как империя, поднимающаяся с колен.

Если быть последовательными, то нам следовало после нанесения грузинским войскам первого поражения про-

должить военную операцию, оккупировать Грузию и привести к власти временное пророссийское правительство. Через какое-то время войска можно было бы вывести, но параллельно создать прочную автономную государственность в Мингрелии, Аджарии и армянских районах Джавахетии, то есть заложить в Грузии такую политическую модель, чтобы она в ближайшие десятилетия при всем желании не смогла бы служить форпостом глобальной американской империи и воспрепятствовать тем самым нашему собственному империостроительству. Реакция Вашингтона была бы самой резкой и негативной, но первые дни войны показали, что дальше шантажа Вашингтон не пойдет, а *Россия уже потеряла в отношениях с Западом всё, что могла потерять*. Других рычагов воздействия на Москву нет, рубикон перейден — необратимо. В битве за Грузию мы вступили в новую эру: *шагнули на ту территорию, которая нашими врагами считалась навеки у нас отобранной*. Теперь важно удержать то, что мы приобрели.

Особо следует обратить внимание на позицию Киева. Президент Ющенко с самого начала повел себя *как прямой и ожесточенный враг России*: он не только поддержал Саакашвили, но и направил Грузии военную помощь, включая украинских военнослужащих, неоднократно пытался блокировать вход российских кораблей в Севастополь, отключал электроэнергию на нашей военно-морской базе. По сути, Ющенко вступил в войну с Россией на стороне Тбилиси. Это обостряет ситуацию вокруг Украины, которая, по словам Бжезинского, является *ключом к самой возможности России снова стать империей*. Теперь уже уповать на франко-германскую позицию относительно вступления Киева в НАТО не имеет никакого смысла, и ситуация с Украиной в любой момент может вступить в горячую фазу. Нельзя исключить, что нам предстоит битва за Крым и Восточную Украину.

Если совсем недавно даже самые горячие головы среди

российских ястребов допускали только внутренний конфликт на Украине и политическое, экономическое и энергетическое давление со стороны России, то сегодня вероятность прямого военного столкновения становится не такой уж и нереальной. При создании империи всегда надо платить: и тем, кто помогает Вашингтону строить их глобальную империю, и тем, кто хочет отстоять альтернативное устройство миропорядка, основанное на многополярности (стало быть, нам).

События августа показали, увы, сколь хрупок и ненадежен остов дружбы на постсоветском пространстве. Колебания Лукашенко в поддержке российской акции в Грузии в первые дни, осторожность Астаны в оценке происходящего, отказ представителей союзных государств в ОДКБ однозначно выступить единым фронтом с Россией с первых дней после грузинской атаки на Цхинвал — всё это показывает, насколько *недооценивали мы имперскую перспективу в работе с друзьями.*

Враги оказались агрессивнее, смелее и радикальней, дерзнув прямо атаковать Россию с применением силы (нападение на российских миротворцев в Южной Осетии). Друзья оказались пассивнее и осторожнее, чем предполагалось. Лучше всех в такой ситуации повели себя русские и, в первую очередь, наше политическое руководство.

До Цхинвала имперский проект России пребывал в состоянии *виртуальности*; что-то делалось, но, похоже, даже сами лидеры страны не верили в то, что эта подготовка когда-то дойдет до конкретных дел и резких шагов. Но дело свершилось, и отныне события необратимы.

Часы империи идут после Цхинвала в убыстренном ритме. Многие теоретические проблемы и рассуждения переходят в сферу прямых военных, политических и геополитических решений.

Мы вышли на новый виток строительства империи.

Нашей империи.

Дружественные империи — евразийские оси

Имперский проект для России предполагает активное развитие отношений с потенциальными партнерами по многополярности. Это прежде всего континентальные силы в Евросоюзе (кстати, им всё равно, «европейская» или «неевропейская» страна Россия, — им важно, чтобы она была сильна и могла эффективно уравновешивать США, а также снабжать Европу энергоресурсами). После ситуации в Грузии и признания Москвой Южной Осетии и Абхазии этот российско-европейский диалог будет чрезвычайно осложнен, поскольку Вашингтон задействует всю свою мощь для укрепления евро-атлантических связей. Впрочем, хотя вероятность сближения с европейским полюсом существенно отодвинулась, усилия в этом направлении следует продолжать. Ось Париж—Берлин—Москва сегодня призрачна как никогда, но из призраков, как мы знаем, иногда рождаются великие явления.

Не менее, а может и более, значимым является стратегическое сближение с Китаем, гигантской державой, также не намеренной безоговорочно капитулировать перед американской империей. Для Пекина поддержка российской операции в Грузии будет довольно проблематичной, поскольку у Китая много проблем с сепаратистами (Тибет, Синьцзянь). Но не надо забывать, что в случае Тайваня Пекин, напротив, примеривается поступить активно и наступательно.

Итак, поскольку сегодня очевидно, что мы не можем более руководствоваться ни принципом территориальной целостности, ни принципом права наций на самоопределение как *абстрактными категориями*, а должны четко определять в каждом конкретном случае баланс сил, интересы

мировых держав и факт военно-стратегического контроля над территорией, то Китай может быть спокоен, поддерживая независимость Южной Осетии и Абхазии, но не поддерживая, например, Косово, что в лице России найдет понимание и способность отличить в свою очередь ситуацию с Тибетом и Тайванем в самом Китае. А если Китай и Россия начнут действовать консолидированно, то американской гегемонии и присвоенному США праву единолично определять, какой принцип в каждом конкретном случае следует применить — принцип территориальной целостности или принцип самоопределения, — придет конец. Так Россия и Китай *смогут помогать друг другу создавать собственные империи* — не за счет друг друга, само собой разумеется, но за счет ограничения планетарного характера империи американской.

Чрезвычайно важны сейчас контакты с исламским миром — особенно с Ираном, но также и с Пакистаном, арабскими странами, мусульманами Тихоокеанского региона. Это не просто ресурсная опора, но и источник политической воли (которой так часто не хватало Кремлю до августа). Тегеран давно бросил прямой вызов Вашингтону и платит за это международной блокадой. Россия в данной ситуации заинтересована в том, чтобы помочь Ирану прорвать эту блокаду и чтобы иранская энергетика развивалась, а уровень вооружений повышался. Пакистан сейчас лихорадит, но антиамериканские настроения там растут с каждым днем. В Афганистане же США зависят от поддержки России и контролируемых ею сил «Северного альянса». Ясно, что в нынешних условиях это будет пересмотрено и Москве надо искать новых союзников в ситуации прямой конфронтации с США. Некоторые исламские движения, еще вчера бывшие противниками самой России, могут стать нашими союзниками в новых условиях. Политика — такая реальность, где нет вечных друзей и вечных врагов: тот, кто поможет нам строить нашу империю, —

друг. Кто встанет на иную сторону — противник. А врага, как известно, уничтожают (если он не сдается).

Латинская Америка всё громче заявляет о неприятии американского контроля. И кроме тех стран, которые находятся в авангарде этого процесса — Венесуэлы, Боливии и Кубы, — чрезвычайно важны шаги таких стран, как Бразилия, недавно сорвавшая США проект экономической интеграции двух Америк под эгидой Вашингтона.

Своим путем пытается идти Индия, переживающая мощный экономический и технологический подъем.

Каждая из перечисленных стран через противостояние американской гегемонии вносит свой вклад в копилку грядущей Русской (Евразийской) империи, оттягивает на себя внимание и силы Вашингтона. При этом Москва, обладая огромным дипломатическим опытом и неплохим потенциалом, вполне может выступать координатором в мировом ансамбле новых империй — в мировом масштабе. Для этого у нашей страны есть все необходимые навыки и традиции.

Евразийство как имперская идеология

Но самое главное в имперском проекте для России — идеология. Без идеологии и ясно осознанной миссии империй не бывает. Нам представляется, что оптимальной формой такой империи стало евразийство как политическая философия XXI в.

Среди всех видов империй Евразийской более всего соответствует *империя, построенная по цивилизационному признаку*. Народы постсоветского пространства веками жили вместе, разделяли основные культурные ценности, отличные как от европейских, так и от азиатских. Этот самобытный культурный ансамбль сложился вокруг русской культуры, русского языка и русской традиции — открытой

для всех остальных братских народов, строивших вместе с русскими и Российскую империю, и Советский Союз.

Евразийская цивилизация является общей и для белоруса, и для казаха, и для якута, и для чеченца, и для великоросса, и для молдаванина, и для осетина, и для абхазца. Множество народов и культур перемешались, обогащая друг друга, в евразийском обществе. Ядро его составляет русское начало, но без какого бы то ни было намека на главенство, исключительность и превосходство, без всякого этнического чванства. Достоевский называл русского человека «всечеловеком», подчеркивая его открытость, вселенскость его любви и необъятность добра.

Русские исторически всегда были империей, а значит, этот опыт не будет искусственным. Менялись идеологические установки — от православно-монархической модели до советской, — но воля народа объединять культурно и цивилизационно гигантские просторы Евразии оставалась неизменной.

Евразийство предлагает синтезировать все предшествующие имперские идеи — от Чингисхана до Москвы — Третьего Рима — и вывести на этом основании общий знаменатель: формулу импероcтроительной воли. Народы Северной Евразии объединяют история, культура, русский язык, общность судьбы, особенности трудовой психологии, сходная этическая и религиозная структура. Ведь смогли же европейцы объединиться после стольких жестоких войн? Для жителей будущей Евразийской империи это будет еще проще. Сочетание стратегического централизма и широкой автономии, а также самоуправления, что представляет собой характерный признак империи, тоже не придется создавать искусственно. Почти так и обстояло дело в Российской империи и даже отчасти в СССР. Нечто подобное сохранилось и в Российской Федерации, где проживает множество этносов и локальных культур. Ведь Российская Федерация —

тоже своего рода империя, только миниатюрная, противоестественная, основанная не на реальных культурных ареалах общей цивилизации, но на искусственных административных делениях, которые ровным счетом ничего не означали в эпоху Советского Союза, поскольку были условными, а не историческими, — делениями, введенными для упрощения территориально-административного управления и экономической организации. В странах СНГ, включая Россию, в тех границах, в каких они существуют, нет ни малейшего исторического смысла или геополитического содержания. Это совершенно условные границы, и на нерушимости их могут настаивать только те, кто, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», рассчитывает прибрать всё это к рукам порознь.

Теперь о миссии. Русские на протяжении всей истории жили ощущением ее исполнения. Именно поэтому они терпели столь легко исторические невзгоды и лишения. Наши предки ясно осознавали, что всё это необходимо ради торжества всемирной идеи — спасения мира, света, добра и справедливости. Это не простые слова — все они оплачены реками крови, невыносимыми трудами, великими историческими свершениями. Мы воевали не столько для приобретения материальных благ, сколько для утверждения того, что считали правдой, истиной и добром. Поэтому именно грядущая Евразийская империя со всем основанием может быть названа империей добра и света, которая призвана вступить в последний и решительный бой с американской империей лжи, эксплуатации, нравственного разложения и неравенства, «империей спектакля».

Евразийство как политическая философия наиболее всего соответствует требованиям построения грядущей империи. Эта философия имперская, философия яркая, русская и направленная в будущее, хотя и основанная на прочном фундаменте прошлого.

Часть 4
ЕВРАЗИЙСТВО КАК ВЕРСИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Глава 11
Евразийство (политическая поэма)

Евразийство как философия (что такое философия?)

Евразийство — это в первую очередь философия. Философия — это практически всё. Человек не может жить без философии. Порой он и не ведает того, но философия им движет. Если он не подозревает о подобном, то философия оперирует с ним как с объектом, она находится вне его. А вот человек, который активно и сознательно принимает какую-то философию, становится свободным от внешнего манипулирования, становится ее носителем. Он получает внутренний знак специального философского достоинства, и такого человека видно всегда издали, у него появляется некое невидимое сияние.

Единственное, что делает человека ценным, — философия, способность к философствованию, это и есть наше *видовое достоинство*, отличающее от животных. В отличие от сонма прекрасных тварей, человек может свободно философствовать, в чем проявляется его высшее достоинство.

Евразийство обращается к свободным людям, которые способны осознать собственную природу и взять в свои руки собственную судьбу. Без философии евразийство неполноценно. Да и невозможно.

Народ есть любовь

Первый принцип философии евразийства — *эротический патриотизм*. Согласно ему народ выступает как абсолют: он воспринимается евразийской философией в качестве высшей ценности. Но сразу возникает вопрос: а что такое народ? *Народ есть любовь*. Поэтому мы и говорим об эротическом патриотизме. Казалось бы, применение такого определения к понятию патриотизма и представление о народе как о любви нечто из ряда вон выходящее. Посмотрим, однако, на этимологию русского слова «народ». Под ним имеется в виду то, что «на-родилось», а это производная от «род», которое в прямом значении означает «рождение», появление человека на свет. Именно любовь и предшествует рождению, она играет решающую роль в этом. Иначе никакого человека не появится. Легко понять, что в истоках народа лежит притяжение мужчины и женщины друг к другу.

Великая сила любви — именно она движет теми волнами поколений, которые порождают всё больше и больше потомков, создают свои семьи, осуществляют продолжение своего рода. *Совокупность всех существ, порожденных актом любви, и образует народ*. Само понятие «народа» исполнено этой внутренней, подспудной силой любви. *Народа нет без любви, народ — это продукт любви, продукт любви между мужчинами и женщинами, имеющими жаркую тягу друг к другу*.

Из века в век, из поколения в поколение повторяются сходные ситуации: мужчины, принадлежащие к одному какому-то народу, любят женщин, которые к нему же и относятся. Конечно, бывает обмен с другими народами. Но в результате множится народ: иногда тот же самый, иногда новый...

Человечество — продукт глобальной любви народов к самим себе и к другим. Говоря о народе, мы понимаем

под ним не какую-либо абстракцию, но упругую и конкретную эротическую реальность. Мы постоянно ставим перед собой серьезные вопросы. О народе и себе. О своем народе и себе. Как я к нему отношусь? Откуда этот народ взялся? Каким пропишет свое будущее? Мы должны чувствовать его за нашими спинами, в нашей крови, в наших генах. Он в наших внутренностях и вокруг нас. Мы же являемся только священными передатчиками энергии нашего народа в будущее.

Народ *идет*. Он *стоит* за нами. Но он *идет* через нас. И он *подталкивает нас к любви*, к тому, чтобы еще поколения русских евразийских людей появлялись в мир и несли это фундаментальное чувство любви.

Русское тело

Почему народ — это абсолютное, главное, центральное, первое и последнее понятие евразийской философии? Потому, что он, как любовь, дает человеку всё: внешность, жизнь, язык, культуру. Всё, что мы имеем — от формы глаз и ушей, черепа до строения скелета, — сформировано любовью наших предков, т. е. народом.

Поток народной любви дал нам нашу телесность. Мы лишь эпизод в этом народном теле, которое предшествует нам в лице коллективного тела предков, сприсутствующем, кроме того, и в виде других русских людей. И когда один из нас задумывается о другом русском, он чувствует *матрицу народа*, *общую телесность*, принадлежность к ней и свою собственную в ней *со-растворенность*. Эта же телесность передается через нас в завтра. Мы носим в себе зародыши *будущей русской телесности* таким же образом, как человеческое тело, по учениям православных старцев, несет в себе зародыш *тела воскресения*, «*тела славы*». Это

вертикальная религиозная перспектива. Но фундаментом, цоколем евразийской философии, базовым элементом и основным смыслом является именно народ.

Как всеобщая телесность, он передает себя в будущее, покоряет время, историю и пространство. Народ дает нам тело, и это всеобщее, а не конкретное, частное русское тело. Частичка его дается нам в *аренду*, на время. Сегодня мы его имеем, а потом нет. Ведь было время, когда мы его не имели. И мы снова его отдаем, когда подходит роковая черта или внезапный инцидент обрывает нашу жизнь, — вот тела и нет. А народ *есть — до* нашего рождения и *после* нашей смерти; значит, он есть *всегда*. И *относительность* нашего индивидуального тела меркнет перед лицом *абсолютной, вечной и бесконечной телесности* собственного народа. Народ — это глобальное общее тело и *абсолютная ценность*.

Дар языка

Народ дает человеку язык. Что бы мы говорили сейчас, как бы думали и изъяснялись между собой, если бы не тот язык, который передал нам наш народ. *Род*ное, полученное от на*рода* тело способно давать человеку энергию для мышления, ведь это дрова души и нашего сознания. Но для работы сознания, для речи, для слова нам нужен язык. И его нам тоже передает народ. Этот язык, по замечанию Хайдеггера, — высшая поэма.

Простое произнесение произвольно выбранного русского слова — это настоящая магия, колоссальное духовное делание, поскольку в сказанном слышатся шелест и шорох тех фундаментальных вещей, тех мыслей, тех движений души, которые стоят за нами. И тех, что грядут после нас. Родной язык сообщает человеку гигантскую энергию, свой собственный интеллектуальный, моральный,

концептуальный стиль, накладывает несмываемый отпечаток на человеческую душу. *Без языка мы ничто.* Наша индивидуальность, наше существование без языка абсолютно пусты, никому не интересны. Чем бы мы были, если бы не могли говорить, если бы нам не дали этот абсолютный, великий и сверхпрекрасный русский язык?! Мы были бы просто немыми скотами... Но нам его вручили, и это сделал народ, за что мы ему обязаны. Наш язык выражает осмысленное, прекрасное, верное и правильное.

Но это *не просто дар*, нам его отдали в долг, который *мы должны вернуть.* И посему на *священном русском языке* мы должны внимательно, бдительно учиться говорить. В этом смысл евразийской философии (не случайно лидером первых евразийцев был лингвист, князь Трубецкой), и такова не только любовь к языку, это его культ, священное почитание, внимательнейшее отношение к тому, что сказано по-русски.

Вернуть то, что мы должны языку, — значит понять его, сохранить, говорить на нем про величие народа, слагать тому гимны. Не говорящий на русском языке о величии своего народа может языка и лишиться. Свобода русского слова — в песне и плаче о величии и страдании русского начала во Вселенной... Иные речи пусть звучат на других языках.

Русский человек засыпает и просыпается

Народ дал нам всё, что мы имеем. От него достались нам культура, слово русское, форма мысли, наши дома, земли, поэтому в философии евразийства народ и есть *абсолютная категория*. Об этом надо думать, вставая утром с постели. Просыпаясь, следует говорить: «Я русский человек». Нужно говорить это перед сном — вместе с молитвой, чисткой зубов, во время прогулки и т. п. Надо, засыпая,

подтверждать: «Вот засыпает русский человек». Лишь это имеет значение. Теперь он, русский человек, переходит из одного русского состояния — бодрствования — в другое русское состояние — в русское состояние сна. Так засыпает и просыпается само *Русское*, умное и телесное бытие всего бессмертного и бесконечного народа. Вот что значит «осваивать народ». Это не просто формально заявлять: «Я люблю свой народ, я патриот». *Нужно находиться в опьянении собственным народом.* «Почему?» — спросите вы. Потому что это *наш* народ. Он таков — стало быть, и мы такие. Мы не имеем права любить себя по отдельности. Себя надо любить через любовь ко всему русскому народу, через любовь к Русскому в себе. Только такая любовь возвышает, удовлетворяет и приносит плоды, все остальные любовные акты — стерильны.

Всё то же самое, что мы говорим о русских, с определенными поправками можно сказать и о других народах. Впрочем, пусть представители этих народов и говорят, а мы будем их слушать и одобрительно кивать. Мы же размышляем здесь и сейчас о русском человеке, о русском народе.

Русский человек как абсолют

Русский человек настолько абсолютен, что *мы не понимаем смысла существования других народов.* «Если это не русские люди, то кто же они тогда?» — искренне думаем мы. Когда мы видим какого-нибудь веселого, замечательного, например, араба, который не прочь выпить, похохотать, «отвернуть кран», мы признаем: «Вот настоящий *русский*». Даже не обязательно выпивать, достаточно просто увидеть: «Вот хороший человек идет». Ясно, что *русский*. Мы так это понимаем, мы и себя так понимаем. И это понимание идет не от внешности, хотя, конечно, наша русская

внешность — ценная вещь. Но и *нерусская внешность — ценная вещь*, поскольку она тоже немножко русская. Если мы видим особый прищур, знакомый юмор, какое-то специфическое подрагивание ресниц, мы с уверенностью говорим: «О, наши!» Какие наши?! Всё равно — наши.

Границы народа

Где кончается народ? Можно задать себе этот философский вопрос, если немного отдалиться от мысли о том, что он бесконечен, и обозреть грубую реальность в поисках *конца* народа. Но это не просто. Всё вытесняется пронзительным ощущением, что народ бесконечен и нет у него конца. Наш народ, точно, бесконечен, о других не знаем, не можем наверняка сказать... Но всё же, если уйти в схоластику: где кончается народ? Там, где начинается *другой* народ. Где кончается любовь? Там, где начинается *другая* любовь.

Мы не можем себе представить «нелюбви». *Мира без любви нет*. Он не протянет ни одной секунды — раздвоится и распадется. Его нет, потому что в нем не будет энергии, в нем просто всё мгновенно остынет. *Мир — это энергия любви*. Древние учили: «Камни любят друг друга. Цветы любят друг друга». Сейчас об эротизме цветов сказано очень много, ученые даже замеряют показатели половой активности растений. Понятно, что животные, люди любят друг друга. Но камни?.. Да, *любовь есть и у камней*. И жизнь камней, и эротическое напряжение минеральных энергий представляет собой гигантское поле. Они любят по-другому, поэтому мы не можем постичь эту запредельную, трансцендентную любовь. Может, камень любит какую-то травинку, какое-то растение. Любовь камня к дереву — платану, кипарису, — безусловно, представляет

несхватываемую нами, но удивительную, явно присутствующую в мире энергию. Поэтому, где кончается любовь, там начинается другая любовь. Где кончается народ? Там, где начинается другой народ. Хотя, с точки зрения русского человека, поскольку русский народ бесконечен, он не кончается нигде.

Есть *открытые* и *закрытые* народы. *Русский народ — открытый, и любовь наша открытая.* Она не ограничивается одним, другим, *она выбирает всех*. Мы любим, по-настоящему любим. Но это значит, что мы своим актом любви, русской любви, превосходим конкретного человека. Ну подумаешь — человек! Один, другой, третий... Главное — любовь, она важнее. Главное — открытость, гигантская энергия жизни народа. Естественно, всё, что порождается этой любовью, живет, будучи элементом этого народа: семья, дети, государство, которое создано как некий панцирь нашим народом.

Государство-ёж

Государство, на самом деле, очень паршивая вещь. Его создают не от хорошей жизни. Но беда в том, что народ не может всё время только любить, только заниматься любовью в своем внутреннем состоянии и находиться в своем экстатическом пространстве созерцания. Периодически на него кто-то покушается, кто-то нападает, наваливается. Вот для защиты от всего этого и нужно государство. Смысл настоящего русского национального государства в том, чтобы отмахиваться от других, как от назойливых, гадких мух. Оно должно быть агрессивным вовне, *жестким* по необходимости, как панцирь. А *внутри* — очень мягким, чтобы не нарушить, не побеспокоить тот процесс национальной духовной жизни, эротической жизни, которая посто-

янно невидимо течет в нашем народе. Вот в этом наше понимание государства.

Государство само по себе — это вредная, злая вещь, она слишком формальная, слишком холодная. В этой стали, в этих машинах, в этих жестоких инструментах пыток мало привлекательного. И мы бы хотели отослать государство. Оно должно быть таким ощетинившимся вовне — государством ежового типа. Колючее вовне, мягкое внутри, как пузико у ёжика, оно очень живое, трепетное, приятное.

Мы не способны понять даже себя — в этом наше величие

Итак, первый и самый главный пункт философии евразийства: *народ — абсолют.* Поэтому, когда вас спрашивают, что такое евразийство, вы спокойно говорите: «Это абсолютная любовь к собственному народу, любовь к любви, восприятие народа как высшей ценности. Нет ничего выше, чем наш народ». Других мы просто не знаем. Путаем мы всех. Мы не способны понять, ясно идентифицировать других. Есть другие народы, которые способны понять других, мы — нет. Мы даже себя-то познать не способны. Мы просто *Народ,* и всё.

Дух земли

Второй важнейший пункт философии евразийства — это понятие о *духе земли,* о *живом пространстве* и о *земле-душе.* В евразийстве пространство воспринимается как *абсолютно живая реальность.* Пространство — это не абстрактная категория, но конкретный срез живого мира. В пространстве есть минеральные, вегетативные и живот-

ные особи. И все они — его элементы. Иначе говоря, мы воспринимаем пространство как заведомо наполненное, никогда не пустое. Наше пространство всегда кишит жизнью и определяет ее. Оно говорит через эту жизнь о себе, дает знать. Поэтому и вибрирует. Это говорит дух земли, нашей земли, которая принадлежит нам и в которой движется по времени, в горизонтальном, распростертом состоянии, как ртуть, наш народ.

Пространство как форма жизни

Живое отношение к пространству как к жизни составляет суть евразийства. *Пространство воспринимается нами как форма жизни.* В свое время основатель геополитики Фридрих Ратцель написал книгу «Государство как форма жизни» («Staat als Lebensform»). Раз пространство это форма жизни, значит, оно не может быть застывшим. Оно противится искусственным границам, поскольку пространство не то, что возможно раз и навсегда зафиксировать, однозначно измерить. Здесь построить одно, а там другое, и так, мол, всё и останется. Нет. Всё, что надо, само собой правильным образом строится в той точке, где оно и должно появиться. Точно так же, как растут цветы или лежат веками, тысячелетиями огромные булыжники. Ведь они растут и лежат не просто так, *они здесь живут.* Они знают, что делают, их жизнь на этом конкретном месте, в этой конкретной точке русского пространства предопределена, это некая *философия местонахождения*, «месторазвития», как говорил Петр Савицкий. Это голос духа родной земли, который обращается через всех существ — ползающих, копошащихся, летающих, лазающих, падающих или валяющихся пьяными. Голос обращается к самому себе, утверждая некую великую истину жизненных, пространственных форм.

Пространство — разумное явление. В нем, в земле заложен разум. Этот разум говорит, вопиет о себе, и необходимо быть очень внимательным, чтобы его услышать. Когда мы говорим о пространстве, то обычно выражаемся так: «Вот это мое пространство, это твое пространство, это пространство принадлежит моей стране, это твоей стране». Мы относимся к пространству как к живому организму. Причем «мое» является не признаком обладания, а признаком родства. С землей, с живым пространством человека связывают родственные узы. Поэтому — мать-земля. Страна — отечество.

Живые границы

Для евразийского мировоззрения важно понятие «живые границы». *Границы есть там, где одно живое существо условно отделяется от другого*. Но нельзя провести границу по живому существу. Нельзя отделить три четверти зайца и четыре пятых белки и сделать из них страну, построить из них государство. Эти три четверти зайца и четыре пятых белки не государство.

Государство и его границы — тоже проекция духа земли. А если мы искусственно нарежем какие-то случайные элементы этих существ, этих живых пространственных единиц и скажем: «Вот, теперь это будет государством, назовем Украиной», — то осуществим насилие над законами жизни. Помилуйте, какая Украина?! Украина в своих современных границах просто не может существовать, потому что есть как минимум четыре живых существа, от которых взяли фрагменты, — три четверти зайца, половина гадюки, одна четверть белки и т. д. Например, Малороссия и у́же, и шире, чем Украина. На Украине есть еще несколько больших геополитических анклавов — Галиция, Волынь, Крым,

Новороссия, часть которой пребывает в границах РФ. Это очень важный момент!

Мы должны рассматривать пространства по их внутренней природе, а не по преходящей, эфемерной конъюнктуре. Поэтому мы, евразийцы, не можем говорить «Российская Федерация» — такой федерации нет, такого государства нет, это искусственная, эфемерная вещь, это тоже 3/4 белки, 4/5 жука, один камень и охапка веток. И это не может быть по-настоящему живой реальностью.

Живой реальностью были Российская империя, Советский Союз. И то, и другое — могучие, высшие формы жизни, вероятно, с довесками, что-то было прирезано лишнее и, наоборот, чего-то было недобрано. Но все-таки это были живые единицы. То, что мы имеем после распада Советского Союза, — это не живая вещь, это пространственный симулякр, и он умрет. Отрежьте у белки пару лапок и посмотрите, что она будет делать. Она не сможет достать себе орешек и сдохнет, как сдохнет вся постсоветская государственная модель. Прежде чем делить территории, необходимо спросить у этих территорий: «А хотите ли вы, земли, вы, реки, вы, заливы, вы, леса, вы, болота, хотите ли вы войти в незалежную Украину или нет?» Надо устраивать референдумы не среди болванов телезрителей, которые нелепы, точно шпунтики, и исторически безответственны. Надо спросить у стихий, надо спросить у гор, надо спросить у вод, спросить у дождей. И они пусть проголосуют. Надо подумать, какую форму референдума предложить стихиям, для того чтобы они могли высказать свое мнение по основным вопросам.

Сербская гора

Если мы внимательно, с любовью отнесемся к нашему пространству и поймем его голос, если научимся расшиф-

ровывать его звуки, то услышим, что и горы говорят. В 1992 г. в Сербии я однажды встретил отряд сербов, которых к тому моменту уже все предали. Когда мы остановились, то спросили их:

— Куда вы едете и зачем?

— Едем брать вот эту гору.

— Зачем вам эта гора, там ничего нет, или, может быть, это стратегически важная точка?

— Да нет, стратегически она совершенно не важна, там ничего нет абсолютно, ни воды, ни электричества, но это *наша сербская гора*. Эта гора не хочет в Хорватию, эта гора хочет оставаться в Сербии. Она зовет нас. Да, там стоят многочисленные отряды хорватов, а справа боснийцы-мусульмане. И мы поедем сейчас и умрем там.

Почему они туда ехали? Можно подумать: дураки, нелепые люди. Они что, не понимают, что жить хорошо, что можно пожрать, поспать, погулять, почитать, отогнать комара? Но они идут и вкладывают свою собственную жизнь в гору, потому что *гора их позвала*. Она сказала им: «Ребята, идите сюда, идите. Мне нужны ваши смерти. Ваша горячая сербская кровь должна окропить мои склоны». Гора им сказала, и они поняли, что она их зовет. И это *правильно*, и это не безумие.

Гора не нужна была никому, но гора-то *сербская*. Для всех сербов это понятно. Они очень живой, прекрасный — евразийский — народ. Поэтому сербы всё сразу понимают. Они говорят: «Эта гора — часть нашего коллектива, это наш товарищ, зовут ее так-то, и мы идем ей на выручку».

Итак, второй элемент евразийской философии — *дух земли, вера в дух земли, почитание духа земли, диалог с духом земли, культ духа земли*.

Вечность в твоих ладонях

Третий принцип евразийской философии называется *«вечность в твоих ладонях»,* или «объятие пустоты». Дело в том, что мы сильно, слишком сильно привязаны ко времени. «Сейчас», «потом», «до этого», «раньше»... На самом деле эти реальности, конечно, существуют, на них построены мышление, формальная логика, но вместе с тем и они, и само понятие «времени» отодвигают нас от главного. Сначала мы думаем: «Вот, мы еще молоды, еще рано». Потом мы уже взрослые и уже не молодые, хотя и не старые. Потом: «Вот, мы уже старые, немолодые, и даже уже не взрослые, а совсем пенсионеры». Но всё это иллюзия, потому что через такие временны́е формы мы теряем контакт с настоящим бытием. Время — это ловушка, которая пытается обмануть нас, увести от сути дела. Время прикрывает тот голос бытия, зов, который звучит в вечности.

Времени нет

Некоторые люди считают, что время есть, а вечности нет. А *на самом деле всё наоборот*. Евразийство утверждает, что вечность есть, а времени нет. Всё, о чем говорит евразийство, есть абсолютная истина, и это надо принимать без всяких критических размышлений. Принимать и повторять. Время — это иллюзия, только вечность имеет бытие. И поэтому интуиция вечности, дыхание вечности, мысль в категориях пространства, синхронизма, опыт вечности являются главным содержанием евразийского сознания. А если вечное есть, если это вечное *может* быть объектом нашего опыта, соответственно, оно здесь и сейчас и оно *должно* являться объектом нашего опыта.

Здесь рождается обобщающий принцип: «*Мы — сторонники Абсолютного, и мы против относительного*». На самом деле, конечно, относительное где-то есть. Конечно, и у времени есть шансы, есть свой маленький голос. Но это очень незначительная категория и очень маленькие права. Напротив, права Абсолюта, права вечности, культ вечности должны быть в центре нашего сознания, а всё остальное — на периферии. Но вечность не бывает содержательной так, как содержательны предметы во времени. Вечность в каком-то смысле пугает нас, потому что зачеркивает нас. Она нас снимает, сжигает, и отсюда выражение — «объятие пустоты». «Философ, обнимающий пустоту» — это название одного китайского алхимического трактата. Оно очень точно передает смысл опыта вечности. Но, если мы научимся манипулировать с вечностью, жить нам будет очень легко; жить и совершать невероятные подвиги, делать головокружительные карьеры, просто наслаждаться жизнью или бродить по миру и смотреть по сторонам, но только *по-евразийски — особенно* смотреть по сторонам.

Тогда будет всё совершенно иначе, нежели у тех людей, которые находятся внутри черной машины относительного, черной машины времени. Вечность дарована нам, русским людям, она нам дана, предложена, даже навязана. И хотим мы того или не хотим, мы должны ее *схватить*.

Схватить ее невозможно, оседлать ее невозможно, сделать ее инструментальной невозможно, но нет ничего проще, чем осуществить это.

Вот три главных философских принципа, три начала евразийской мысли, которые воплощаются в еще четырех дополнительных тезисах. Но эти три начала — главные.

Абсолютная Родина

Три главных принципа евразийства, изложенных выше, воплощаются в четвертый принцип — в Россию. Россия является *Абсолютной Родиной*. Россия — вместилище евразийского откровения, евразийского духа, евразийской жизни и евразийской плоти. Россия сама по себе есть народ, отсюда понятие «русский». Первый принцип евразийской философии — народ есть любовь; наш патриотизм — «эротический патриотизм». Россия есть пространство, это наша территория, и здесь воплощен дух земли — это второй принцип философии евразийства. Третий принцип: Россия — есть вечность. Почему Россия — это народ, мы уже говорили. Пространство она потому, что это государство и территория. Но почему Россия вечность? Потому что само понятие «Россия» может быть нами осмыслено, только если мы выйдем за пределы времени.

Россия — понятие онтологическое

Сегодня России нет. Ее никогда и не было, ее никогда и не будет в настоящем. Она всегда есть конструкция, идея, концепция, некая реальность, которая всегда принадлежит не настоящему, но она всегда есть, была и будет в некоем развоплощенном и вместе с тем воплощенном качестве. Россия была, есть и будет помимо нас. И опыт России — это опыт столкновения с реальностью, которая может быть и есть, когда нас нет. Поэтому, говоря «Россия», рассуждая о нашей истории и будущем, даже о нашем настоящем, мы невольно оперируем с *вечной* категорией, которая стоит по ту сторону нашего индивидуального опыта.

Индивидуализация сверхиндивидуального опыта

Задача евразийства — сделать опыт контакта с внеиндивидуальной, надындивидуальной реальностью *индивидуальным опытом*. Парадокс: вместить вечность во время, схватить Абсолютное и превратить его в достояние собственного сердца. Это главная задача *русского евразийства*.

Россия — *Абсолютная Родина*, Россия — это доктрина. Россия — это орден, Россия — это мистика, Россия — это культ. Только такое священное отношение должно быть к России.

Россия — священное понятие. Несвященной России не существует. Когда мы говорим «Россия», то произносим «священное». Всё остальное звучит иначе — другие слова напрашиваются. Франция, например, несвященное понятие даже для горячего французского патриота. А вот Россия — священное. *Евразийство есть религиозное служение России.*

Онтологическая карта мира (Сохраварди)

Теперь рассмотрим принцип «*Европа и Азия на карте бытия*». Два понятия — «Европа» и «Азия» — увязаны в евразийстве. С философской точки зрения, их можно объяснить на примере иранской философии — в духе школы Ишрака, «восточного познания» Сохраварди.

Сохраварди в своих произведениях описал карту географии бытия. Речь идет не о физической, но о метафизической географии. В этом бытии есть Восток и Запад, есть своя *онтологическая Азия* и своя *онтологическая Европа*. Сохраварди поясняет смысл этих понятий. Что такое «онтологическая Азия», Азия бытия? Азия — это вос-ток, место, где вос-ходит солнце. Это исток мира, место соприкосновения с вечностью. Восток — место, где находятся истоки наших

интуиций. В евразийстве «Азия» — в первую очередь понятие онтологическое, связанное с «чистым бытием». Это дом, где восходит солнце существования, солнце реальности — изначальной, свеженькой, солнце омытое, только что появившееся на небосклоне. Метафизическое солнце — один из важнейших, фундаментальных, энергетических источников солярного евразийского мировоззрения. Это «азиатская часть» евразийства.

Колодцы западного изгнания

А что же тогда на онтологической карте мира, по Сохраварди, на карте бытия, в этой священной метафизической географии — *Запад*? Сам Сохраварди называет его «страной колодцев изгнания». Это место истощения лучей бытия, полюс энтропии, территория потери внутреннего бытия и внутреннего содержания. Это *миры истощения, миры упадка*.

Согласно Сохраварди, первая задача человека в деле его пробуждения заключается в том, чтобы *человек, где бы он ни жил, осознал, что находится на духовном Западе*. В своем обычном состоянии человек находится как в гробу, в темнице мертвой непробужденной плоти, пребывая в полном неведении относительно возможностей своей собственной души, взыскующей возврата и пробуждения. Но, осознав свое катастрофическое положение, он должен вырваться из этой темницы Запада и начать свой путь к Востоку.

Путешествие в страну Востока

Самая главная задача человека, по Сохраварди, — путешествие в страну Востока из страны Запада. То есть покидание «пещер изгнания», «западных темниц», «колод-

цев изгнания» и возврат к истоку/востоку.

Совмещая метафизическую карту бытия с картой географической, мы обнаруживаем, что между Европой, где цивилизация на глазах заходит в онтологические тупики, онтологические норы, и Азией, где всё еще сохраняется традиционный уклад, лежит *Россия*. Россия одной своей стороной устремлена на Запад, другой, огромной, широчайшей, мощной частью встроена в Восток и является гигантским пластом Азии, неотъемлемой ее частью. *В этой онтологической России происходит чудесное превращение старого в новое.* Путь к онтологическому истоку лежит сквозь Россию. Россия и есть этот путь, путь нового рождения, маршрут духовного возврата. Духовного, но одновременно и физического, и исторического, и политического, и культурного, и интеллектуального, и психологического, и эстетического.

Всё это и есть глубинно понятое евразийство, евразийство как онтология, как философия, как метафизика. Евразийство не просто баланс какого-то Запада с каким-то Востоком, это не просто их диалог, как иногда мы говорим для внешних пользователей, это не просто уравновешивание полюсов. Суть евразийства в том, что это *путь с Запада на Восток*. И это тот путь, который осуществляется в России. С Запада на Восток, и *никак не наоборот.*

Интеграция Запада в Евразию (нисхождение в ад)

Запад — это предел энтропии. Мы можем его понять, но, понимая Запад, мы понимаем *структуру онтологического дна*. Мы понимаем, как оно там, у последней черты мира, во тьме кромешной, на границе существования. Это очень важный опыт, и, по Сохраварди, не познав этого опыта — опыта предельного истощения, мы не можем набрать энергию для *возврата*. Поэтому знание о Европе, лу-

ноглазой богине, похищенной Зевсом и отвезенной чёрт знает куда на Запад, — это очень важное знание, но *знание негативное*. Если угодно — общая демонология. Ведь именами демонов занимались не только сатанисты, этим вопросом, скорее, интересовались аббаты, добропорядочные католические богословы. Они выписывали демонические имена, знакомились с ними, но, конечно, не для того, чтобы вступить с ними в контакт, а чтобы иметь представление о мистической географии и ее картах, пейзажах, населении границы, пролегающей на самом дальнем рубеже бытия. Поэтому Европа для евразийцев — это абсолютно отрицательная категория, которую можно знать и любить так же, *как любят, например, заблудшие души в аду*.

Есть очень популярное на Руси повествование о схождении Богородицы во ад, куда Богородица приходит, чтобы спасти людей, которые там оказались. И уж вроде бы совсем их не за что спасать, но сила Ее любви выше, чем логика суда и наказания. Она прощает их, несмотря ни на что. Поэтому мы можем любить Европу только так, как чужих неизлечимых больных, как прокаженных, как мерзавцев, как преступников, как мразь. Мы можем любить ее, но это *особая евразийская любовь. Мы призваны перевести Запад в Восток*. Поэтому мы — армия Востока, армия рассветного познания, которая ведет свою битву за то, чтобы Восток полностью интегрировал себя в Запад для того, чтобы, по сути дела, Запада не было, а был один сплошной, абсолютный Восток. И только Россия способна это сделать, поскольку Россия причастна обеим этим реальностям.

Пурпурный архангел России

В писаниях всё того же Сохраварди есть интересное место, где повествуется о существовании священной горы,

называющейся «Каф», на вершине которой находится тайный город — «Хуркалья», где и происходит возврат из колодцев западного изгнания в страну Востока. На этой горе стоит ангел с очень странными крыльями. Одно крыло у него темное, а другое белое. Это атипичный ангел. Его называют еще «пурпурный архангел», так как смешение чистого света и пылающей тьмы дает пурпур.

Реальность «пурпурного архангела» — это реальность перехода от западного изгнания к восточному рассвету, к вечному рассвету Великой Священной Азии, которая и есть тайный ангел, тайная сущность России, ее историческая, духовная миссия, распространяющаяся на всё — на политику, культуру, социологию, нашу историю.

Духовное учение: призыв к покаянию

Евразийское учение — в первую очередь, учение духовное, в известном смысле оно пророческая школа. Это точка слияния великих рек мысли. Совершенно самодостаточная доктрина, которая дает людям всё: смысл жизни, энергию созидания и верную ориентацию любви.

Евразийство — это мысль с помощью сердца, это глубины сердечного мышления. Евразийство — это приглашение к *пророческому опыту*. Вспомним, кем были библейские пророки. Они укрепляли индентичность собственного народа, говоря: «Проснись, Израиль, проснись, народ. Ты совсем опустился, ты совершенно освинел, так нельзя. Сколько можно предаваться тому, чем ты занимаешься. Вернись к своей собственной сущности».

Мы, евразийцы, не то ли говорим?! Мы призываем: «Народ, русский человек, наши евразийские народы, что вы делаете? В каких свиней вы превратились! Достаточно. Пора поставить точку в падении. Русский, вставай!» Мы делаем то, что делали пророки: *мы возвращаем наш народ*

к нашей собственной идентичности.

Евразийская правда

Чем еще занимались пророки? Они бичевали недостатки существующей системы, говорили правду, и за это их часто не любили. И евразийцев не очень любят, потому что когда мы видим, где плохо, то и утверждаем, что это плохо, и если мы видим, где хорошо, говорим, что это хорошо. Но власти и большинству людей это не нравится. Они хотят, чтобы мы либо молчали, либо говорили только хорошее, как о мертвых. Мы же обо всем заявляем правильно, честно и жестко, и когда мы видим вещи, которые ненавидим, которые отвратительны нашему духу, которые идут против нас, то высказываем жесткие слова и даем суровые эпитеты. Поэтому в определенных ситуациях можем претерпевать гонения. Для того чтобы утверждать истину, надо всегда быть готовым оказаться гонимым. Хотя не всегда это неизбежно. Иногда пророков кормили, принимали, восхищались ими, носили на руках, а иногда побивали камнями. И то, и другое заложено в пророческом существовании, поэтому, если мы сознательные евразийцы, нужно спокойно переносить всё. Это не значит, что мы должны искать только то, за что бы в нас плевали, стреляли, за что бы сажали, не выпускали... Может быть, и нас где-то будут кормить, чествовать, носить на руках, а где-то в нас будут плевать, будут нас избивать и издеваться над нами. Но так же, как пророки, евразийцы должны нести *свою* истину, утверждать *свою* волю.

Евразийский анализ

Что еще делают пророки? *Они восстанавливают связь причины и следствия.* «Опомнись, Едом, опомнись, Сир, ты отошел от почитания истинного Бога, и поэтому покарал

тебя Господь, разрушил стены твои, города твои. Где царство Вавилонское, которое стояло мощно? Нет царства Вавилонского. Почему? Потому, что отказались они от единого Бога». В наше время этой функции соответствует политическая аналитика, политология глубин. Люди анализируют причины определенных явлений и показывают, как и по какой траектории они приводят к конкретным последствиям. Это элемент *евразийского анализа*.

Евразийский язык

Язык пророков весьма своеобразен: он поэтический, метафорический. Также и евразийство ищет категории своего языка и своего анализа скорее в поэзии или в возвышенной философии, нежели в быту и в преходящих, эфемерных мелочах — цифрах бюджета, именах политических однодневок, пустых быстротечных сенсаций. Но наши метафоры настолько четкие, эти притчи настолько понятны, что они, может быть, яснее, чем самое логичное рациональное объяснение.

Евразийский прогноз

Чем еще занимаются пророки? Они *говорят о будущем*: «И вижу я, как падет великая гора». Это *евразийские прогнозы*. Мы, евразийцы, делаем прогнозы на будущее точно так же — в стиле пророчеств. Мы говорим: «Скоро потрясутся основания России, и грозит нечисть взять реванш. Оранжевая саранча полетит на Россию. И снизу изнутри поднимутся темные гады, скованные на время мощью Советского Союза, мощью Российской государственности. Они поднимутся, ибо придут сроки пришествия этой мрази из всех щелей. И сейчас-то не слишком чиста наша Ро-

дина, но тут будет совсем плохо».

Евразийское учение духовное, пророческое. Одновременно оно предельно современное, поскольку те вещи, о которых мы говорим, названы несколько иными именами, мы употребляем отчасти другие термины. А вместе с тем они являются классическими определениями тех сфер занятий, которые интересуют интеллектуальную и политическую элиту.

Евразийская дисциплина — корень свободы

И последний элемент евразийской философии. Дабы определить себя, необходимо сказать, *кем мы не являемся*. Пока всё, что говорилось, было настолько энергичным, настолько глубоким, настолько абсолютным, что, казалось бы, не оставляло и места для какой-то оппозиции, для какого-то зла. Кажется, что всё сказанное настолько очевидно, настолько интересно, настолько правильно. И тому, о чем я говорил, есть масса доказательств в вас самих. Вы посмотрите на себя, пощупайте себя. Вы — русские люди, вы есть. Вы уже родились, еще не умерли. Вот это и есть высшее доказательство абсолютной справедливости всех вышеперечисленных построений. Вы и являетесь тем, что в суфийской доктрине называется «худжат», «доказательством» правоты евразийской идеи.

Не надо искать каких-то сложных построений, не надо лишних пустых разговоров. Сам факт существования русского человека и есть доказательство абсолютной триумфальной правоты евразийства. И дальше он живет как может или как хочет, тайно или явно, сознательно или бессознательно *подчиняясь нашей евразийской логике*.

Смысл евразийства в том, что эта тоталитарная, абсо-

лютная, жестко определяющая вас доктрина *становится корнем вашей свободы.* Она совпадает с вашим произволом. По-настоящему евразийским оказывается тот момент, когда вы выполняете неприятный приказ руководителя, осуществляя собственную прихоть. Когда приказ совпадает с прихотью, с вашим желанием, с вашим движением души. Вот это настоящее евразийство, когда абсолютная свобода сливается в неразрывном синтезе с абсолютной дисциплиной. В таком состоянии, безусловно, отпадает представление о негативе, образ врага уходит на дальний план. И это справедливо. Ведь вначале, чтобы состояться как организации, как некой силе, нужно говорить о позитивной программе. Всё, что было сказано ранее, — это позитивная программа. Но нужно уделять некоторое внимание и отрицательной программе. Отрицательное предъявляет нам себя само. Как только вы выходите в мир, вы тут же сталкиваетесь с неевразийской стихией. Так как же концептуально обобщить то, что *не наше*, то, что нам *враждебно*?

Атлантизм — абсолютное зло

Для определения всего нам враждебного мы предлагаем термин «атлантизм». Атлантисты — это полчища носителей доктрины «колодцев Запада», прямая антитеза нашей евразийской философии.

Атлантизм формально отрицает ценность народа, вместо него есть либо масса, либо индивидуумы. Он отрицает живую землю и укорененность людей на этой земле, провозглашая так называемое «асфальтовое кочевничество». Мало того что кочевничество (оно тоже может быть привязано к родным пейзажам, к землям, пространствам), но еще и *асфальтовое*, кочевничество в искусственном

пространстве. Виртуальное, постоянное перемещение по одинаковым Макдоналдсам в Тель-Авиве, в Вашингтоне, в Куско, в Москве, в Токио... Один и тот же Макдоналдс, и какая, чёрт, разница, что за человек там жует свой гамбургер. В виртуальном мире нет ничего настоящего, это асфальтовое кочевничество, игнорирующее живую землю. Это принцип атлантизма, внедряющегося со всех сторон.

MTV — персонификация мерзости запустения: императив релаксации

Посмотрите, MTV — это пример классической агитации. Канал профессионально сделан и интенсивно транслирует атлантистский код, в первую очередь на молодежь.

Атлантизм — это отрицание вечности, поскольку он основан на принципе «хоть день, да мой», на подлых императивах — «живи сейчас!», «не парься!», «расслабься!», «relax!». Но на самом деле это приказания. Вы что думаете, вам дали угощение? Ничего подобного, *вы получили приказ*. То, что вы воспринимаете от евразийцев, и мы говорим это сразу, не скрывая, — это указание: «Будьте выше, чем вы есть. Будьте благими, будьте светлыми, будьте чистыми, будьте мужественными, рожайте здоровых, мордатых, прекрасных детей, творите историю». Это наш *приказ*. Да, это приказ, и мы не скрываем этого. Атлантисты действуют более подло. Они говорят «расслабься!», а если ты не хочешь расслабляться, стоишь, занимаешься с гантелей, тогда как поступать: не качать гантели, что ли? И этот приказ «не парься», «расслабься», «relax», если повторять его часто, входит в подсознание, кодирует вас. Атлантизм кодирует нас всех, он дает нам тормоз в одном и подталкивает к другому, заставляет нас делать то, чего мы не хотим.

Может быть, и евразийство заставляет нас делать то,

чего мы не хотим. Мы вообще ничего не хотим, человек ленив. Но евразийство честно говорит: «Мы заставляем вас делать то, чего вы не хотите, потому что мы думаем за вас, мы берем за вас ответственность, и вы будете лучше, будете прекраснее, будете счастливы, даже вопреки вашей воле». «Мы сделаем вас счастливыми», — говорят евразийцы, откровенно показывая людям кулак. *И сделают.* А наши противники, атлантисты, действуют изворотливее. Они говорят: «Да ладно, всё нормально, всё хорошо. И так сойдет!» На самом деле они нас отвлекают. А вдруг вы не хотите «хорошо, нормально, так сойдет»? А вдруг вы хотите, наоборот, собраться. Вдруг вы хотите двигаться по пути преодоления. Но вам говорят: «Да ладно... Безопасный секс... Подумал немножко — и хватит. Пошли пивка выпьем». И здесь тоже приказ, тоталитарная установка, такая же, как наша. Я не могу сказать, что хуже. Она такая же тоталитарная, в той же мере насилует вашу волю. Только мы говорим о том, куда ведем, а они не говорят вам ничего. Потому что, если бы они обнажили сущность этой идеологической программы, все бы ужаснулись, и русские люди просто уничтожили бы этот канал.

Энтропическая онтология Дальнего Запада (за столпами Геракла)

Атлантизм ненавидит Россию, атлантизм стоит против Востока, атлантизм — это философия Дальнего Запада. В свое время древняя цивилизация поставила в Танжере, в Гибралтарском проливе, два столба, на которых было начертано «Nec plus ultra», что значит: «А дальше нельзя». «Дальше не надо», — написано было на этих столбах. Всяк, кто сунется, тот пожалеет. И пока эти столбы охраняли че-

ловечество, ворота онтологического Запада были запечатаны, закрыты этой надписью, двумя столбами, и всё было более или менее хорошо. Но какая-то сволочь все-таки туда пролезла. И когда она туда проникла, то сняла фундаментальную онтологическую печать.

Вы знаете, что означает знак доллара? Это два столба Геркулеса, которые на старых изображениях опоясывались лентой в виде буквы «S» с надписью «За эти столбы нельзя». Но на долларах писано не «Nec plus ultra», а «plus ultra». «Дальше можно», — написано там. *Можно*. И сегодня доллар означает движение *за* эти столбы, в запретную зону, на Дальний Запад, в Атлантику. Это означает, что от древних сетей освободилось морское чудовище Левиафан, которое долгое время держалось в узде. И когда корабли Колумба и других европейских авантюристов стартовали в ту сторону через Атлантический океан, они своим ритуальным жестом разрушили оковы, которые держали Левиафана, и *Левиафан восстал*. Это и есть атлантизм, философия Далекого Запада, онтологическое наступление колодцев изгнания. *Атлантизм — это всё, что противоположно нам.*

Полярность знаков

Когда вы видите, что люди отрицают любой элемент из того, что мы говорим, из того, что провозглашаем, и даже из того, что чувствуем, знайте, это враги, это атлантисты, и в определенном смысле они прекрасно понимают, что делают, кому служат и с кем они борются. Поэтому, как только мы приобретаем евразийский знак на своем челе, евразийское излучение вокруг своего существа, приобретаем ауру евразийства — это ставится маркером, как на товарах покупаемых в супермаркете; мы позиционируем себя в ми-

ре людей вполне однозначно. Конечно, этот знак может стереться, или вы сами можете удалить его, подобно татуировке, но это не так просто. Попробуйте вывести тату, соскоблив ее наждачной бумагой! Тем не менее, когда люди видят вас, они считывают этот знак. И он вызывает у многих ярость.

Так же и евразиец может угадывать сущность других по нюансам, по оговоркам, по внешнему виду; вот человек повернул кепку назад, надел широкие штаны, пошел. Что это значит? Он находится в состоянии одержимости духом атлантизма. Он служит Левиафану. Напевает рэп, самодовольно ковыряет в носу, расслабляется — всё понятно. Это Левиафан. Конечно, это еще не полное погружение в Левиафана, но это уже, в принципе, объект для пристального разбирательства. Когда нас будет больше, мы, безусловно, таким персонажам проходить просто так по нашим улицам не разрешим. Они должны будут собираться в особых местах, как в гетто для больных, и там уже спускать штаны свои, изображать MTV-шную рожу и с этими чудовищными досками на колесах прыгать. Это будет атлантистское, левиафановское гетто для роллеров, рэперов или скейтбордистов. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов — вот это самое наглое, самое антиевразийское явление. Нет ничего более отвратительного, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. Одним словом, атлантизм — это наш абсолютный враг. Больше здесь сказать нечего. Самое главное сказано. Кто не понял, ему уже ничего не поможет. Ничего.

Проблема «я»

Теперь о том, что такое евразийское представление о человеке. Наверное, уже легко понять, что, с нашей точ-

ки зрения, *человек есть воплощение народа и земли*. Другими словами, человека самого по себе нет, он условный фрагмент более глубоких реальностей. Поэтому между «я» и «ты» в рамках собственного народа не существует такого уж большого напряжения диалектики. Ну «я», ну «ты», по сути дела, если мы русские люди, какая разница, чего делить?! Это принципиальный вопрос — представление о собственной отделенности от других как о вещи неокончательной и весьма условной. Отсюда общинность, отсюда представление о том, что «человек» есть почти условное название.

Ну, хорошо, сегодня Вася, ну почему бы ему не быть Петей? Если он радуется, ест совместно, пляшет, ходит на рыбалку, смотрит на небо, идет на политическую акцию, пишет диплом, ну почему он, собственно, Вася? С чего он решил, что он Вася? Просто *русское* живет сквозь него, дышит сквозь него. *Наше представление о человеке не индивидуально*. Это не значит, что у нас нет индивидуальности. Наоборот, как только мы почувствуем себя русскими людьми — русский номер 15, русский номер 17, русская номер 19, — мы начнем впервые осознавать нашу подлинную индивидуальность. Но это будет происходить естественно и постепенно, а не искусственным образом, не в силу ложного насильственного программирования. Наше собственное «я» выскочит из нас, особенно в ответ на «русского номер 15», и скажет: «Нет, извините, я, конечно, не „Вася“, но я и не „Петя“. Вы назвали меня „Васей“ и считали „Васей“. Это было ошибкой, слишком поспешно. Вот теперь я стал русским номер 15, я рад, но у меня кое-что свое есть, то ли было, то ли завелось». И пусть это «свое» расскажет вам ваша душа, пусть она и назовет свое подлинное имя.

Нас чаще всего зовут неправильно. Раньше были специ-

альные ритуалы, чтобы давать ребенку правильное имя, справлялись со святцами, с погодой. У других народов есть другие ритуалы, поскольку *имя — это серьезно*. Это не просто так.

Имя — это серьезно

В советское время называли как попало. Электронами, Владленами... Могли назвать Радием. Конечно, это не наши имена — нас всех зовут по-другому. И сейчас именование происходит почти случайно. Вам дали какую-то бирку, вот вы и носитесь с ней. «Маша я, Маша». Какая Маша?! Когда мы отбрасываем это ложное имя, мы становимся русскими, обычными русскими, ну или какимнибудь другим здоровым народом, можем воду таскать. И вот тогда мы *через нашу нацию, через обезличенность, через слитность с нашим народом, с нашим собственным одушевленным телом, с нашим языком, с нашей культурой — и найдем свое собственное подлинное «я»*. И потом всем скажем: «Зовут меня Макарием, называйте меня с этих пор Макарием». И это будет Макарий так Макарий, действительно. Это будет искра вечности, а не Макарий. А сейчас пока рано. *Имя надо заслужить*. У нас нет имени, индивидуальность еще надо создать. И если ее не создать, тоже ничего страшного. Будет просто русский человек без имени, попитавшийся хорошо, по-русски подышавший, погулявший, поживший, накачавший силы, лицо солидное наевший. Всё прекрасное русское пройдет. Но, если русский номер 15 еще и обретет в себе высшее, настоящее «я», вообще замечательно. Мы только скажем: «Дорогой, вот тебе и карты в руки, будешь у нас руководителем, десятником или сотником в Евразийском движении». А нет, и так

хорошо.

Ересь индивидуализма

Против нашего евразийского учения о человеке как об этническом существе имеется зловредная атлантистская ересь об индивидууме. Атлантизм говорит так: «Это не человек и не русский, это только Вася. Как назвали его, таков он и есть. Только Вася, только индивидуум. Принадлежность к расе, к народу, к языку не имеет значения. Сегодня у него такой язык, завтра — другой, сегодня он живет здесь, завтра — там. Но всегда и во всех обстоятельствах он только индивидуум. У него есть карточка, чековая книжка, номер на лбу и на правой руке, штрих-код, ИНН. Вот и всё. А какой он национальности, какой культуры, часть чего он — это второстепенно. Он не часть ни чего, он есть целое». Такое представление о человеке — чисто атлантистское.

Человек — просто условность

Наше представление о человеке — евразийское, и учит оно, что человек есть условность, *просто условность*. И тогда он может расширять границы своего «я» до бесконечности. Например, вверх, чтобы сказать: «Я — дух». Или вширь, чтобы заявить: «Трое или пятеро людей живут во мне, вот Вася, вот Петя, вот две Маши, может, еще кто, или кого-то я зря сюда приплел...» Вот замечательная, широкая душа. Такая широкая жизнь будет! Такой прекрасный опыт. Это расширение человеческих границ и представление о «большом человеке» называется таким ученым термином, как максимальный гуманизм. Человек может расшириться и вниз и горестно провозгласить: «Ну и скот же я!» И тоже будет прав. Имеет право и на свинство.

Евразийское представление о человеке утверждает, что

человек есть воплощение своего народа и временное явление, непостоянная величина. Сейчас он «то» и «так», завтра немножко «по-другому». Послезавтра еще «что-то». А вот есть постоянные вещи — это народ и пространство. И вечность, которая живет сквозь нас.

Императив борьбы

Теперь раскроем евразийское представление о политике. Наша задача — бороться и победить атлантизм, сделать ценности евразийства тотальными и общеобязательными. Но именно это наша программа. Мы начинаем путь евразийской борьбы с позиции далеко не триумфальной. У нас огромный потенциал, поскольку евразийскими являются и страна, и пространство, и энергия народной души. Но вместе с тем состояние у нас сейчас далеко не блестящее, поэтому справиться с этой задачей очень трудно. Ставить же ее необходимо. Если у людей, даже в таком стесненном состоянии, не будет глобальных перспектив и глобальной воли, они ничего не сделают.

Говоря реалистично, надо просто бороться с атлантизмом, и если мы сможем бороться эффективно — уже одно это хорошо. В целом же надо стремиться и вовсе упразднить атлантизм и атлантистов. Если получится — замечательно. Не получится, по меньшей мере, разомнемся.

Мы уйдем за горизонт

Границ для нашей деятельности нет, и поэтому, когда говорят: «А где вы остановитесь?» — правильно отвечать: «Мы нигде не остановимся, никогда не остановимся, пото-

му что *евразийство — это открытая философия*». Закончим с одним, перейдем к следующему. Это великая идея, подобная Великой России, это великая Евразийская империя, и ее границ мы вообще не собираемся устанавливать. Пусть другие установят нам границы и, когда мы упремся о них лбом, нам скажут: «Дальше, ребята, вы уже не пройдете», — мы постараемся пройти еще дальше. И пройдем! Вот с такой мыслью и надо жить.

Поэтому для евразийской политики очень важно определение друзей и врагов. Простейшая вещь, но это надо помнить всегда: *у нас есть враги*. Безусловно, это атлантисты. У нас есть друзья — это мы сами и *те, кто на нас похож*. А на нас похожи очень многие, поскольку, если евразийство точно понять, станет ясно, что речь идет не о каком-то отдельном движении, какой-то отдельной философии, речь идет об огромных нациях. Речь идет о людях, о ваших родственниках, о ваших родителях. Евразийство — это действительно огромное духовное, эстетическое, философское, экзистенциальное и политическое направление.

Трава сквозь асфальт

Каково же евразийское представление о стратегии? Стратегия евразийства направлена на внедрение евразийских принципов повсюду, подобно тому как *трава растет сквозь асфальт*. Очень важно, что мы не концентрируемся на отдельном, конкретном моменте. Мы движемся во всех направлениях — это сферическое распространение евразийства. Поэтому, если евразийство наталкивается в одном месте на определенные трудности, тут же оно прорастает в другом — так растение пробивается через щель в асфальте: сначала росток, потом дерево. Потом этот огромный блок закатанного асфальта начинает трескаться, расходят-

ся корни — и нет больше асфальта.

Евразийский ковчег

Есть евразийская молодежь. Но должны быть и евразийские старички, и евразийские мужики, и евразийские бабы, и евразийские водители автобусов, и евразийские милиционеры, то есть у нас должен быть полный комплект всего евразийского. Если есть молодые, должны быть старые, если есть евразийские умные, должны быть евразийские глупые, если есть евразийские активные, должны быть евразийские пассивные. Надо собрать, как в Ноевом ковчеге, всех по паре. У нас должны быть представлены все, желательно в двух экземплярах. Как в Ноевом ковчеге собирали представителей разных видов, чтобы их перекинуть по ту сторону Всемирного потопа, так и в евразийстве должны быть режиссеры, актеры, военные, банкиры, велосипедисты, просто какие-то люди без определенных занятий...

Итак, надо стараться найти евразийцев — представителей всех типов общества. Есть в администрации президента евразийцы. Есть евразийцы в правительстве. Есть крупные банкиры, есть нищие, которые стоят на паперти и побираются, — тоже евразийцы.

Евразийская сеть

Чем дальше, тем лучше видна эта связь, которая связывает одного и другого, те нити, которые выстраивают между ними систему коммуникаций, *евразийскую систему коммуникаций*. И становится понятно, что всё это неспроста и что мы всё это готовили долго и еще какое-то время будем готовить. Но рано или поздно это даст о себе знать во

весь голос. Кто-то занимается евразийством профессионально, кто-то эпизодически. Но самое главное, что *евразийство — это внутреннее содержание души*. И наша задача — создать полноценную евразийскую сеть.

Язык евразийских дел

Надо самим усвоить евразийские слова и *перейти к языку евразийских дел*. Сейчас как раз та стадия, когда евразийство переходит от размышления, от словесного к действенному выражению. Сама собой напрашивается теория евразийского жеста. Это не какая-то законченная вещь. Необходимо сформировать евразийский жест, евразийский стиль поведения, евразийский стиль времяпрепровождения, евразийские акции. Где-то должно быть много евразийского народа. Где-то — всего два—три человека. Но этого уже достаточно, чтобы выйти и совершить евразийское действие. Главное, чтобы оно читалось как евразийское.

Упрощение евразийства

Необходимо расширение целевой аудитории через *упрощение формы евразийского послания*. То, что было изложено, — достаточно сложно. Это надо еще осмыслить, упростить, на родственниках и друзьях апробировать, как это попроще сказать. Найти слова. Эти вещи не могут быть заданы абстрактно. Можно лабораторно выработать какую-то упрощенную форму, но это будет несколько искусственно. *Упрощение должно пройти через вас*. Необходимо понимать. И тогда автоматически будут подбираться правильные слова, правильные термины, правильные аргу-

менты, правильные примеры для бестолковых. Этот естественный процесс обращения ко всё более и более бестолковым приведет к органичному упрощению евразийского послания.

Евразийство — это та глубокая энергия, которая способна легко вступать в контакты с другими идеологиями, идеями, взглядами просто потому, что это *не идеологии, не идеи, не взгляды*, потому что по сравнению с евразийством это «детский сад». Так мы говорим с детьми, когда они упорно, внимательно тянутся пальцами к розетке или с ножницами на маму угрожающе идут. Сразу видно, что они задумали что-то не то. Как с ними говорят? Можно сразу им начать читать лекцию о том, что такое 220 вольт, как там бегают электроны и что это кончается обугливанием... Ясно, что это неэффективно. Обычно их аккуратно сбивают с цели, либо отвлекают, либо суют в руки что-то менее опасное и перенаправляют на иной, более безопасный маршрут. Говорят: «Зачем тебе ножницы, давай я тебе шарик дам». Растерянный ребенок в этот миг не понимает, как у него выхватывают ножницы, поворачивают в другую сторону, и с шариком он уже движется к другой цели, гораздо более аппетитной и безопасной.

Точно так же должны выглядеть диалоги евразийцев с представителями всех остальных идеологий, с кем угодно. Кроме атлантистов. Атлантисты — враги. Правда, их, *убежденных*, понимающих атлантистов, мало. В основном это люди, временно находящиеся в состоянии помрачения. Соответственно, так надо по отношению к ним и действовать. Дать нашатырного спирта, привести в себя. А вот с людьми, которые исповедуют идеи не атлантистские, но какие-то экстравагантные, например консервативные или коммунистические, или национал-большевистские, то есть наши

же идеи нам излагают, с ними должен быть спокойный разговор, как с ребенком, который с ножницами не туда ползет. «Да? Вы так считаете? Хорошо». И постепенно этого человека надо приводить во вменяемое состояние.

Привлечение союзников

Поскольку для евразийца *все союзники, кроме атлантистов*, то диверсификация дискурса для него — принципиальный вопрос. Евразиец *должен уметь говорить на разных языках*. Пришел к рабочим и тут же заговорил о рабочем движении, о необходимости солнечного труда, о том, что олигархи сволочи, и т. д. Пришел к интеллигенции, стал говорить о величии русской культуры, о Пушкине, о том, что он в чем-то ошибался, но это не важно. Самое главное, нужно уметь вступить в диалог и через сиюминутную ситуативную модель продвинуть свой евразийский подход. По крайней мере, показать, что есть какие-то фундаментальные ценности, о которых вы знаете, а ваш собеседник нет, но о которых вы в этот момент пока с ним говорить еще воздерживаетесь, поэтому и говорите о Пушкине.

Евразийская сила

Евразийская сила — это предъявление обществу решимости участвовать в его судьбе. Она измеряется количеством сторонников, их качеством, информационной поддержкой, готовностью к действию, координацией усилий, способностью к автономной или организованной активности, умением оказывать влияние на ситуацию. Есть евразийская

организация, есть евразийская философия, есть масса евразийской литературы. Но главное — должны быть евразийская интуиция, евразийские мускулы, евразийская хватка, евразийские зубы для того, чтобы очень грамотно двигаться в этом мире, исполненном множества ловушек, коварных закоулков, темных и неосвященных подъездов, где вас поджидают враги. Задача евразийцев зайти в этой исторической, фундаментальной, эсхатологической игре *как можно дальше*.

Евразийские цели

Цели евразийства на сегодняшний момент таковы:

- по-настоящему стать силой, принять участие в том, что происходит со страной, повлиять на то, что происходит со страной в евразийском ключе;
- стать могущественной, ведущей силой нашей страны, осуществлять отправление властных функций как инструментария для реализации в конкретном бытии евразийских идей;
- снова превратить Россию в империю, создать на основе России величайшую державу, континентальную евразийскую империю и...
- участвовать в финальном преображении мира.

Не больше и не меньше.

Часть 5
ИДЕЙНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ ГРЯДУЩЕЙ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ

Глава 12
Структура социогенеза России

Формула социогенеза России: константы и переменные

При рассмотрении социальной специфики России, взятой на всем протяжении ее исторического пути, включая все этапы и все метаморфозы, мы можем выделить два набора критериев, на основании которых станет возможным корректный анализ ее содержания. Для актуальной ситуации это поможет в дешифровке *смыслов* происходящего, а в отношении будущего позволит делать более или менее достоверные *прогнозы*.

Эти критерии можно представить в виде следующей схематической последовательности из 4 логических шагов, в которой фигурируют как *константы*, так и *переменные*:

1) *этносы* (где славянское ядро — это константа, а неславянские этнические меньшинства — переменные) складываются в *народ* (константа),

2) *народ* (константа) производит *государство* (переменная),

3) *государство* (переменная) становится *цивилизацией* (константа),

4) *цивилизация* (константа) формирует *общество* (переменная).

Это можно назвать «*формулой социогенеза России*».

Итак, мы имеем набор констант и набор переменных.

Можно свести логические этапы российского социогенеза к двум рядам парадигм.

Константы	**Переменные**
Россы (славяне)	Этнические меньшинства
Народ	Государство
Русская цивилизация	Общество

Пояснения о константах

Этническое ядро — это совокупность этнических групп (племен, племенных союзов, родовых и соседских общин, родоплеменных образований и т. д.), которое формирует культурный тип народа — его язык, культуру, исторический облик, его традицию.

Народ есть исторический *субъект,* наделенный волей и целенаправленностью. В нем корень *преемственности.* Только наличие народа как константы делает возможной *историю* (в противном случае не ясно, *с кем* происходит то, что происходит, и *что* именно происходит, так как смысл истории народа лежит в его *собственном* глубинном содержании).

Народ имеет *ядро* (этническую константу) и *периферию* (этнические переменные).

Фиксация культурного типа народа в диалоге с внешними и внутренними *дифференциалами* (международный контекст и внутреннее этническое многообразие) дает

цивилизацию (неизменный набор основных ценностей — в частности, коллективный характер социальной и политической антропологии, созерцательность, метафора семьи, мессианство и т. д., различимые на всех этапах русской истории). Ее тип — *евразийский* (и по внешним признакам Россия находится географически между Европой и Азией, и по внутренним — сочетание европейского и азиатского стилей в культуре народа).

Константы связаны между собой, но далеко не тождественны. Между ними существует определенная последовательность и размерность: начальная (наименьшая по масштабности) константа — это этническое ядро, результирующая (наибольшая по масштабности) — цивилизация; народ находится между ними.

Этническое ядро дает изначальный *жизненный импульс* социогенезу. И этот импульс *сохраняется* на всех этапах его дальнейшего развертывания. Это ядро, будучи константой, наличествует постоянно и постоянно оживляет своей энергией бытие народа. Наглядно это видно в *языке* и преемственности *культурных кодов*. Частично — в фенотипе.

Народ — это этнос (или группа этносов), *вступивший в историю, осознавший время и поставивший себе в этом времени цель*. Народ — этнос, наделенный *миссией*. Этнос живет *в настоящем и в прошлом*. Когда он становится народом, у него открывается *будущее*. Народ добавляет к этносу структуру *упорядоченной воли*, переводит гармоничное этническое бытие в неравновесное историческое деятельное состояние. Этническая энергия в народе обретает фокусировку, из рассеянной становится сконцентрированной, *лучевой*.

Цивилизация — это *продукт масштабного воплощения упорядочивающих энергий народа в развитой, универсально понятной, духовной, материальной, политической, социальной и этической структуре*. Эта структура может утверж-

даться как внятный *социальный код* в среде разных народов и этносов, которые по тем или иным причинам будут интегрированы в эту цивилизацию. *Цивилизация выражает в себе универсальную масштабность миссии народа.*

Сразу оговоримся, что данные константы социогенеза применимы не ко всем обществам. Они достоверно описывают логику и этапы русской истории, у других народов и культур процессы социогенеза могут развиваться иначе. Это не всеобщее правило, но следствие индуктивного эмпирического анализа России и русского общества.

Пояснения о переменных

Переменными являются в русском социогенезе *этнические меньшинства*. Их количество, структура и номенклатура постоянно меняются. Одни приходят, другие уходят. Третьи помышляют о том, как выйти. Поэтому они и отнесены к разряду переменных. Одну этническую картину мы встречаем на первом этапе социогенеза, у истоков Киевской государственности. Другую — в расцвете Киевской Руси. Третью — на «удельном» этапе. Четвертую — в условиях «Золотой Орды». Пятую — в Московской Руси и параллельно ей развивавшейся Руси Литовской. Шестую — в Руси XVII века. Седьмую — в Империи Петра. Восьмую — в XIX веке. Девятую — в СССР. Десятую — сейчас. В каждой из этих картин фигурируют разные этносы. Список этносов, входящих в каждую из этих мозаик, был бы огромен, а изменения в нем — велики.

Этносы трансформируются, раскалываются, сливаются, отходят, приходят новые и т. д. И на всем протяжении этногенез вращается вокруг определенной, четко *фиксируемой оси*, состоящей из восточных славян, которые и формируют *нормативную этноидентичность всего целого*.

Следующей переменной является *государство*. Государство за тысячу лет русской истории не раз меняло и свое *название*, и свою *идеологию*, и свои *границы*, и свое *содержание*, и свою *политическую систему*, и свой *экономический* уклад, и свою *правовую* модель. Оно по-разному называлось и представляло собой разные реальности.

Государственность была постоянно, государство же менялось. Всякий раз государство заново запускал *народ*. Он есть воплощение государственности, но не государства. Государство есть продукт *отчуждения* от народа. Это механическая модель, надстраиваемая *над* органическим целым.

Государство — это конкретная и формализованная (через право, законы, власть, территории) система, которая представляет собой набор критериев, отвлеченных от непосредственно народной стихии. В этом государство близко цивилизации. Но в отличие от цивилизации государство и его порядки *преходящи и временны*, могут быть изменены и перестроены по стечению исторических обстоятельств или по воле народа. Цивилизация же неизменна и не зависит от коротких исторических циклов.

Каждое новое, созданное народом (константа) государство (от Киевской Руси до современной РФ) проецировало («вниз» или «назад») на народ *нормативную* модель на основе своих представлений о том, каким оно хотело видеть образцовое устройство. Это и есть *общество* (социум). *Общество есть продукт проекции государством на народ нормативного социального императива*. Общество всегда отчасти *народно* (спонтанно, органично — и в этом постоянно), отчасти *государственно* (искусственно, механистично — и в этом переменчиво). На каждом историческом этапе социогенеза мы имеем дело с *разным обществом*. Это является основанием для отнесения общества к переменным.

Переменные представляют собой крону, меняющуюся от сезона к сезону, тогда как постоянные можно уподобить вечно растущим корням.

Версии государства

Мы перечислили версии этнических картин. Другая переменная — государство — менялась по следующей цепочке исторических трансформаций:

Киевская Русь (приход аллогенной княжеской элиты — интеграция восточнославянских и финно-угорских племен — принятие христианства, централизация) — *удельная Русь* (дезинтеграция на княжества, децентрализация) — *вхождение в Орду* (татарская элита — продолжение раздробленности — постепенный подъем Москвы) — *Литовская Русь* (русско-литовская, позже польско-литовская элита, позже ситуация католического гнета с частичной утратой православной и русской идентичности) — *Московская Русь* (русская монархически религиозная элита — Святая Русь, Третий Рим — пик исторического самосознания) — *реформы Петра* (германская элита — светская Российская империя — империализм — колонизация) — *СССР* (преимущественно инородческая, часто еврейская, большевистская элита — советская идея — экспорт коммунизма в планетарном масштабе) — *РФ* (невнятная постсоветская элита — утрата мирового и регионального влияния — либеральная демократия).

Все эти государства, к которым можно добавить серию ранних городов-государств и зоны казацких «республик», имеют между собой мало общего, если сравнивать их друг с другом формально. Преемственность и историчность их обеспечивалась за счет констант, лежащих в *иной* области — за счет этнического ядра, народа и цивилизационных признаков.

Сводная схема

Поместим эти данные в общую таблицу.

Периоды русской истории	Государство	Элиты	Преобладающая страта (массы)
Киевский период	Киевская Русь	Великокняжеская дружина, земское боярство, вече	Свободные землепашцы
Удельная Русь	Восточно-славянские княжества, города, государства	Княжеские дружины, вече	Свободные землепашцы
Монголо-татарский период	Золотая Орда (Улус Джучи)	Монголо-татарская знать, русские князья	Свободные землепашцы
Литовская Русь	Литовское, позже Польско-Литовское княжество	Литовско-русская, польско-литовская знать	Угнетенное крестьянство, казачество
Московская Русь	Московское царство	Русский царь, боярство	Черносошенные (государственные) крестьяне, начало закрепощения
Петровская	Российская	Русский царь,	

Крепостные

Российская империя	империя	дворянство, рост иностранной знати	крестьяне
Романовская империя XIX века	Российская империя	Царь, дворянство	Крепостные крестьяне
Советский период	СССР	Большевики	Трудовой советский народ
Современный период	Российская Федерация	Чиновники, олигархи	Люмпены

Идеология (религия)	**Политика**	**Доминирующий в государстве этнос**
Язычество христианство, двоеверие	Централизация	Поляне и их соседи
Христианство, двоеверие	Раздробленность	
Ордынский порядок, православная идентичность	Подчинение монголам, усвоение имперских навыков	
Православная идентичность при католическом гнете	Сопротивление угнетателям, впитывание европейско-католических начал	Поляки, литовцы
Москва–Третий Рим, русское православие, универсальная миссия русских	Построение Всемирного православного царства	Великороссы
Секуляризация, вестернизация, модернизация	Светский империализм европейского образца	Великороссы
Православие, самодержавие, народность	Расширение влияния России и поиск идентичности, модернизация	Великороссы, малороссы, белорусы (россы)
Коммунизм, марксизм, атеизм	Построение социализма, коммунизма, мировая революция	Великороссы, малороссы, белорусы (рост тюркского фактора)
	Сохранение статус-кво	Великороссы

Версия общества

Другая переменная, общество, менялось по следующей исторической цепочке:

свободные славянские *общины* — *закрепощаемые* княжеской властью свободные славянские *общины* с постепенно возрастающим осознанием народного единства — закрепощаемые славянские *общины*, в процессе *христианизации* и воцерковления все более сознательные в отношении народной и религиозной *миссии* — перенимающие некоторые *ордынские* социальные институты (организация общества как войска) закрепощаемые славянские *общины*, сплоченные православием и ностальгией по потерянной государственной независимости (суверенитету) — *тотальное* общество с преобладанием *крестьян с ориентацией на тягловый идеал всеобщего* спасения через религию и государство с яркими *мессианскими* чертами — жестко *сословное* общество *светского* образца, лишенное религиозной миссии, с четким выделением социального типа *элиты* и социального типа *массы* окончательно закрепощенных (несвободных) крестьян (вплоть до различия языка, обычаев, формы одежды и т. д.) — *советское общество*, основанное на идеалах равенства, интернационализма, коммунистического мессианства, тоталитарное и мобилизованное — *либерально-демократическое общество*, индивидуализированное, расслабленное, вестернизированное, лишенное цели и смысла, ориентированное на личную карьеру, комфорт и материальное благополучие.

Политэкономические формы нерелевантны

Политэкономические формы соответствовали каждому из изданий общества и являлись эпифеноменом социаль-

ной структуры. Государство есть средоточие политики. Оно же влияет в огромной степени на регламентацию экономических процессов. Но часть политической воли сосредоточена в обществе, которое и является главным экономическим актором. Поэтому экономические периоды русской истории являются функциями от государственных и социальных периодов, а не чем-то самостоятельным. Марксистский детерминизм смены формаций к русской истории абсолютно неприменим, а продолжать по инерции привлекать его для исторического анализа совершенно иррелевантно и анахронично (ненаучно).

Необходимо поставить во главу угла и сделать приоритетным *социологический* подход к истории. Только он позволит корректно описать социогенетический процесс России.

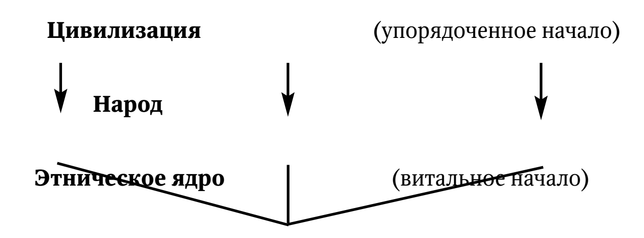
Русская ось

Обратимся снова к нашей первой формуле 4 логических шагов российского социогенеза. Теперь, определив, что мы понимаем под константами, а что под переменными, мы можем описать ее следующим образом.

Три константы образуют иерархическую структуру, которая имеет перманентный, архетипический характер; она — относительно — атемпоральна:

Этническое ядро русских — русский народ — русская цивилизация.

Можно представить ее как вертикаль, где внизу располагается *витальный*, жизненный полюс, а вверху — *рациональный* и концептуальный:



Русская ось констант

Эту схему можно назвать «русской осью». Вдоль этой оси циркулируют энергии жизни и культуры, средоточием которых является *народ*.

Цивилизация и государство

Но народ не порождает цивилизацию напрямую (по меньшей мере в нашей истории). Он создает *прежде* государственность или серию государственных форм, государств. Цивилизация является для всех этих государств *общим знаменателем*. Все они составные части этой цивилизации, несут на себе ее отпечаток. Это можно отразить на следующей схеме:

Русская цивилизация

Государство 1 Государство 2 Государство 3 — ... —Государство N

Русский народ

Этническое ядро

И на другой —

Государство 1	Государство 2	...	Государство N
Русская цивилизация	Русская цивилизация		Русская цивилизация

На этих схемах везде под «государством» следует понимать либо то или иное государство, созданное русским народом, либо государство, в котором он волей судьбы оказался (например, «Золотая Орда» или Польско-Литовское королевство).

Государство концептуально формализует общество. Поэтому можно говорить, что каждому государству, которое существует в русской истории, соответствует одна и та же цивилизация, проступающая сквозь него *по-разному*. Иногда это происходит *прямо* (как в Московской Руси, особенно в период правления Ивана IV), иногда *косвенно* (как в XIX веке или в СССР). В некоторых случаях государство может быть в *прямой оппозиции* этой цивилизации (как, например, в Смутное время или в эпоху Елизаветы и Анны Иоановны в XVIII веке). В любом случае *русское государство всегда так или иначе коррелировало с русской цивилизацией*, открывало тот или иной ее аспект.

Дробь общество/народ

С типами общества мы имеем следующую картину. На сей раз общим знаменателем является *народ*. Он остается константой независимо от того, какой тип общества утверждается как нормативный в условиях того или иного государственно-политического режима.

Это можно схематически представить так:

Государство 1	**Государство 2**	**...**	**Государство N**
Общество 1	**Общество 2**	**...**	**Общество N**
	Народ		

Или иначе —

Общество 1	**Общество 2**	**...**	**Общество N**
Народ	**Народ**		**Народ**

Эти схемы чрезвычайно важны для построения корректных моделей российского социогенеза. В частности, на второй схеме наглядно видно, что любой исторический социум России — как древний, так и настоящий (а с определенной долей вероятности и будущий) — может быть рассмотрен на двух уровнях: со стороны числителя и со стороны знаменателя условной «дроби» *общество/народ*. Со стороны числителя мы будем иметь дело с более *рациональной* и логически оформленной структурой, сопряженной с государством, правящей идеологией, правовой и административной системой, хозяйственным укладом и т. д., а со стороны знаменателя — с живой, спонтанной и волевой одновременно инстанцией, упорно направляющей социальную жизнь к реализации изначальной миссии и *перетолковывающей* эту миссию сквозь формальные социальные установки (подчас вопреки им). Особенно наглядно это видно в сравнении православно-монархической модели Российской империи XIX века с Советской Россией. Полярно противоположные общества (сословное и бесклассовое), существующие в рамках радикально различных типов государства, оживляются *общей мечтой* — в од-

ном случае оформленной в терминах православной эсхатологии и славянофильской философии, в другом — в терминах марксистской коммунистической утопии. *Оба общества фундаментально различны в числителе и тождественны в знаменателе.*

Социогенез и анализ актуального российского общества

Описанная нами в самых общих чертах модель социогенеза российского общества имеет большое значение для исторического анализа основных силовых линий развития России и русского народа. Еще более оперативна она для корректного описания и понимания процессов, протекающих в настоящем.

На данном историческом этапе на наших глазах происходят становление и закрепление *нового* (для русской истории) *типа государства* (РФ) — либерально-демократического, современного западного образца — и попытки искусственного конструирования, со стороны этого государства, *нового типа общества* — гражданского, либерального, индивидуалистического, гедонистического, эгоистического и потребительского, соответствующего западным социальным стандартам. Народ с его этническими составляющими стремится превратить государство в *буржуазную нацию*, то есть в *однородную массу*, объединенную гражданством, системой права и соучастием в общем политэкономическом процессе.

Такой тип государственности и социальности входит в противоречие с константами русской истории — с народом, его русским ядром, с русской цивилизацией, основанной на несовместимой, *контрарной* ценностной системе. На предыдущих этапах истории такие попытки навязать

народу тип общества, полностью противоположный его структуре, предпринимались только в периоды Смутного времени или «бироновщины» и заканчивались либо постепенным *возвратом* к константам, либо *коллапсом* государственности и началом нового цикла.

Однако длительность провальных экспериментов правящих государственных элит над народом заведомо определить невозможно. Смутное время длилось 15 лет (1598—1613), постпетровское правление не обрусевших европейцев — около 40 лет (от Елизаветы до второй половины царствования Екатерины Великой), Февральская революция продержалась полгода. Российская Федерация подходит ко второму десятку.

Противоречия между константами и переменными в сегодняшней России

Несовместимость формально декларируемого российской элитой курса на вестернизацию, либерализацию и модернизацию российского общества с набором констант можно описать несколько шире. Естественно, это противоречие затрагивает только переменные (это явствует из самого определения констант и переменных).

Современное российское государство и его Конституция строго калькируют западные образцы с точки зрения институтов власти, права, политической системы, экономического уклада. Переменная государства ориентируется на матрицу *иной* цивилизации, не русской и не евразийской, но, напротив, *западной и атлантистской*. Конечно, эта калька не абсолютна, и коды русской цивилизации продолжают свою работу. Но приходится при этом перетолковывать совершенно чуждый и внешний язык политической демократии и экономического либерализма на при-

вычные интуитивные формы. Ярче всего это видно в отношении фигуры Владимира Путина. Сам себя он мыслит, по его словам, как «менеджер», а с цивилизационной точки зрения, он — «царь» и полновластный легитимный правитель.

Другая переменная — этнические меньшинства. В 90-е годы, в период распада СССР и формирования Российской Федерации, мы были свидетелями того, как целая серия этносов бросилась врассыпную от России и поспешила создать свои собственные государства. Меньшинства попытались повторить это и в пределах России, что вылилось в парад внутрироссийских суверенитетов национальных республик (Татарстан, Башкортостан, Коми, Саха) и в кровавый конфликт в Чечне, который удалось погасить ценой огромных жертв. В эпоху ослабления народа этносы-попутчики предпочли максимально дистанцироваться от него (доказав тем самым *переменный* характер своего соучастия в общей истории).

И наконец, третья переменная — современное российское общество — кроится по западным образцам общества гражданского, абстрактного и никак не связанного (по меньшей мере, в теории) с народными корнями и этнокультурными закономерностями.

Получается, что существующий политический режим и набор переменных, с ним связанных (государство, этническая мозаика и гражданское общество), находится *в прямой оппозиции историческим константам*, которые — если их принять во внимание — продиктовали совершенно *иные* — жестко альтернативные — модели и для государства, и для этнической структуры, и для социального устройства.

Данный анализ вскрывает глубинное противоречие современной России на уровне социальных структур. Это противоречие давно привело бы к непоправимой ката-

строфе, если бы оно не уравновешивалось *непрерывной работой констант*, смягчающей разрушительные процессы на уровне переменных. Особенно это стало заметно при Путине, который разрядил ситуацию между либеральным западничеством элит и консервативными ожиданиями масс, частично и де-факто (но не де-юре) пойдя навстречу этим ожиданиям после строго антинародного, антиевразийского и антирусского периода правления Ельцина. Это дало всей социальной системе дополнительную устойчивость. Но при этом ни в коей мере *не сняло фундаментальных противоречий.*

Нынешний период, таким образом, есть *законсервированный* (отложенный, отсроченный) кризис, но далеко еще не обращение к консерватизму (константам) как к пути выхода из него. В эпоху президентства Медведева эти противоречия снова стали постепенно нарастать. Попытки осуществить новую волну либерализации, модернизации и вестернизации закономерно ведут к новому обострению.

«Партия констант» и «партия переменных»

Можно сказать, что в современном российском обществе есть две гипотетические неформальные «партии» — *«партия констант»* и *«партия переменных».*

«Партия переменных» стоит на стороне либерально-демократической государственности, гражданского общества и проведения такой этнической политики, в которой значение великорусского этнического ядра было бы занижено, а стремлениям этнических меньшинств к самоопределению был бы дан зеленый свет. Альтернативным сценарием той же самой «партии», ведущим пусть другим путем, но к той же цели, является создание *российской нации*

(которой никогда исторически не существовало и попытки создания которой привели бы к полной нивелировке этносов — и великоросского, и всех этнических меньшинств). Эта «партия» сегодня преобладает в политической *элите*.

«Партия констант» в элите представлена слабо и эпизодически, но имеет своей опорой *широкие слои населения*. Здесь мы сталкиваемся с интуитивным ощущением того, что Россия — это самостоятельная цивилизация («русская» или «евразийская» — так уверенно в последние 10 лет, без колебаний, отвечает более 70% россиян на сформулированный именно таким образом вопрос ВЦИОМа); что народ имеет историческую миссию, которую ему надлежит исполнить; и что этот народ в своем ядре опирается на великоросский этнос, сформировавший осевую идентичность — язык, культуру, психологический и духовный тип, но открытый тем этносам, которые готовы и желают связать с ним его судьбу и стать частью единого народа.

Путинская модель политического управления базируется на компромиссе между двумя «партиями», каждая видит в Путине своего представителя. С Дмитрием Медведевым ситуация несколько изменилась, так как его «имидж» более соответствует классическому представителю «партии переменных».

Прогноз будущего социальной системы России

Кратко сформулируем прогноз. Теоретически можно рассмотреть три варианта дальнейшего функционирования России как системы.

Первый случай описывает ситуацию, когда *верх возьмет «партия переменных»*. Это означает, что тенденции

либеральной демократии, модернизации, гражданского общества, вестернизации, экономического либерализма и этносепаратизма возобладают над сдерживающими силами русских констант. В такой ситуации нас ждет *крах российской государственности.*

Отдаляясь от констант, власть будет расшатывать почву у себя под ногами, а элиты снова, как в 90-е, вступят в фазу нагнетания конфликта с массами. Одно это в условиях экономического кризиса и нерешенности множества социальных задач, а также при учете полиэтнической системы Российской Федерации может стать путем к политическому коллапсу и распаду страны. В 90-е годы XX века с СССР произошла точно такая же трагедия, при том что система была более консолидирована и больше отвечала константам, чем заимствованная с Запада либерально-демократическая модель.

Сюда же следует добавить два дополнительных фактора: *давление со стороны США*, которые по стратегическим соображениям кровно заинтересованы в ослаблении России, а значит, будут затрачивать серьезные усилия на ее дальнейшую дестабилизацию, и *сам процесс глобализации*, который ведет к планетарному распространению западной модели общества и демонтажу национальных государств. Двигаясь по пути модернизации, Россия идет *прямо к собственной самоликвидации* (точно так же, как «ускорение» Горбачева только ускорило конец СССР). Самым «модернистским» («современным») является отказ от государственности как таковой и интеграция в «единое человечество» под управлением «мирового правительства».

---

[1] См. подробнее: *Дугин А. Г.* Философия политики. М.: Арктогея, 2004. (Теме сакральной политики здесь уделено несколько специальных глав.)

[2] См.: *Дугин А. Г.* Эволюция национальной идеи Руси (России) на разных исторических этапах // Основы Евразийства. М.: Арктогея, 2002. С. 716.

Второй вариант состоит в том, что политическая система остается прежней, но постепенно меняет смысл, насыщаясь все более и более элементами русской цивилизации. Можно назвать этот случай «*обрусением*» режима. Пока — по крайней мере, в период президентства Путина — события развертывались именно по этому сценарию, что обеспечивало системе определенную (хотя и относительную) устойчивость. Данная версия сводится к замораживанию всех процессов в обществе, которое консервируется как оно есть — в полубольном-полуздоровом состоянии.

И наконец, третий вариант, довольно маловероятный на сегодняшний день, теоретически состоит в победе «партии констант» и построении совершенно *иной* государственности, укорененной в евразийской цивилизации, с опорой на русский народ и те этносы, которые солидарны с его судьбой и с новой формулировкой исторической миссии для XXI века. Этот сценарий не гарантировал бы нам легкой жизни, но зато поставил бы наших современников на один уровень с предками, которые в течение долгих веков шли к *великой цели*. И шли не для того, чтобы их потомки отказались от ее достижения в самый последний момент.

Глава 13
Русский Левиафан (гроза державная)

Страх как трепет

Немецкий историк религий и теолог Рудольф Отто, описывая феномен сакрального (священного, das Heilige), подчеркивал, что в этом чувстве слиты противоположные человеческие эмоции — восхищение, восторг, любовь и ужас, трепет, паника. Причем всё это не разделяется на составляющие — страх нельзя отделить от радости и на-

слаждения.

В той степени, в какой у народа существует сакрализация власти, государства, политики и социальных институтов, этот сложный комплекс сильных эмоций распространяется и на них. Мы не можем выделить фактор страха как нечто изолированное. Ужас перед сакрализированной политической инстанцией неотделим от любви и почитания; следовательно, это феномен более сложный и, чтобы корректно исследовать его, необходимо предварительно описать структуру сакрального[1].

Безусловно, чаще всего политическая власть и государство в русской истории воспринимались как нечто сакральное, хотя в разные периоды эта сакральность имела различную природу[2]. Поэтому страх перед властью чаще всего выступал в сложном комплексе благоговения, любви и почитания. Лишь в некоторых случаях — например, у староверов и иных нонконформистских групп — структура страха оказывалась несколько иной, поскольку государство после раскола воспринималось ими в качестве «власти антихриста». Это тоже сакрализация, но в данном случае негативная.

Страх, имеющий отношение к сакральному, мы оставим в данном тексте вне рассмотрения и сосредоточимся на более простом явлении — на страхе как таковом в политическом контексте, о чем обычно говорится в запад-

---

[1] Любопытно, что современные американские неоконсерваторы, в частности Роберт Кейган, — прямые продолжатели именно политологической традиции Гоббса с ее антропологическим пессимизмом. Более того, по их мнению, различие между американской культурой и европейской состоит в том, что США основываются на Гоббсе и его концепции Левиафана, а Европа тяготеет к утопическим конструкциям «гражданского общества» в духе Канта, который исходил из того, что поведение людей по отношению друг к другу в обычном случае рационально и гуманистично, а эгоизм и агрессия есть отклонение от нормы.

ной политологии, традиционно оперирующей десакрализированными секулярными явлениями.

Гоббс и его чудовище

Один из главных теоретиков современного государства Томас Гоббс выразил суть своей теории в метафорическом названии главного философского труда о природе государства — «Левиафан».

Левиафан — это одно из двух чудовищ (морское, наряду с сухопутным Бегемотом), о которых речь идет в Библии, в «Книге Иова», и которыми Яхве пугает отчаявшегося праведника Иова, чтобы испытать его любовь и верность. Функция Левиафана в библейском контексте однозначна — запугивание, внушение безумного и ничем не обоснованного ужаса.

Применяя метафору Левиафана к современному государству, Гоббс подчеркивает тем самым его главную задачу — *внушать страх*. Итак, именно страх лежит в самой основе современного государства как феномена, будучи его центральной функцией. Государство — это то, что внушает страх. А поскольку оно есть явление политическое, то и страх, внушаемый им подданным, таков же.

Обращение к «Левиафану» немедленно привело нас к сути проблемы *политического страха*.

Выстраивая свою теорию государственности, Гоббс исходил из своеобразного понимания человеческой природы. С его точки зрения (которая в целом разделяется большинством мыслителей либеральной школы), человек, предоставленный самому себе, представляет предельно жестокое, эгоистичное, алчное и агрессивное существо, склонное к унижению, подавлению и уничтожению себе подобных. От-

сюда максима Гоббса «homo homini lupus est» — «человек человеку волк». Если людей не ограничивать в их естественных проявлениях, то начнется «война всех против всех». Чтобы не допустить этого, считает Гоббс, необходимо государство-Левиафан, внушающее ужас и защищающее человека от ему подобных — и в конечном счете от него самого.

Таким образом понятое государство лишено всякой сакральности и основано на вполне прагматическом и рациональном принципе: дабы человек не принес вреда другому человеку и упорядочил свое поведение, его надо запугать до смерти. Это и есть главная функция государства[1]. Здесь мы имеем дело с совершенно десакрализированным страхом — страхом утилитарным. Его мы и попытаемся исследовать в русской политической истории. Поэтому мы и вынесли в название статьи тезис о «русском Левиафане». Нас интересует политический страх в самом утилитарном его аспекте, в оптике конвенциональной западной политологии.

«Русский Бегемот»

В истории русской государственности следует разделять два накладывающихся друг на друга явления: *сакральная государственность с характерным для нее комплексом целостного отношения ужас—любовь* и *собственно «русский Левиафан»*, вполне рациональная инстанция, призванная через страх, подавление и репрессии сохранять и укреплять властный порядок. «Русский Левиафан» как концепция — это искусственная реконструкция, продукт изъятия из цельного явления власти рационально-прагматической устрашающей стороны. Будучи рациональным механизмом, «русский Левиафан» в своей деятельности обращен репрессивной мощью против

конкретных социально-политических проявлений людей. Он поддается рациональному исследованию и анатомизации. Сакральная же составляющая государственности ускользает от такого прямолинейного рассмотрения.

Здесь напрашивается продолжение символического сравнения. В «Книге Иова» и в других местах Библии Левиафан выступает в паре с другим чудовищем — Бегемотом. Бегемот — чудовище сухопутное, Левиафан — морское. Согласно метафорам геополитики, Левиафан представляет собой «морские державы» — такие как Карфаген, Афины, Англию, США, а Бегемот — «сухопутные»: Спарта, Рим, Германия, Россия. Концепция «Левиафана» у Гоббса, с одной стороны, и у современных геополитиков, с другой, имеет, безусловно, различные значения, и эта метафора используется по-разному. Но следует обратить внимание, что Россия в классификации геополитиков выступает сухопутной державой по преимуществу, что предопределяет ее цивилизационные особенности, основные параметры, стратегическую структуру и культурные ориентиры. Касается это и государственности. Поэтому сакральный аспект власти, трепетное к ней отношение — за гранью дуализма любви/ужаса — могут быть отнесены именно к специфике государства, распознанного как «Бегемот», в отличие от рационально-механического понимания государства у западных либеральных философов политики — таких как англичанин Гоббс, автор «Левиафана».

За что репрессируют? Четыре главные причины

Итак, против чего конкретно использует «русский Левиафан», государство как таковое, свой репрессивный аппарат?

Можно выделить различные по количеству и качеству

критерии, мы же остановимся на четырех, представляющихся нам наиболее существенными и выразительными.

1. *Инакомыслие*, открытая или тайная приверженность системе взглядов, существенно отличающихся от тех, которые приняты в качестве официальной идеологии, или противоположных ей.

Карательные меры против инакомыслящих необходимы «Левиафану» как инструмент сохранения устойчивости, преемственности и надежного функционирования власти. Инакомыслие, нонконформизм всегда ставят под сомнение оправданность идеологической системы, на которой власть основывается, а следовательно, служат питательной средой для настроений, противостоящих этой власти. Инакомыслие подрывает фундамент самого акта властвования независимо от того, против чего конкретно оно направлено.

Инакомыслие определяется в зависимости от официальной идеологической установки. Сама она может меняться, следовательно, изменятся и критерии инакомыслия. Приоритетной целью репрессий становятся такие формы инакомыслия, которые имеют «революционный» характер и опровергают основные моменты правящей идеологии.

В русской истории наиболее яркими примерами тому служат староверы и сектанты (начиная со второй половины XVI в.), революционные демократы, социалисты и народники во второй половине XIX — начале XX в., диссиденты советского времени. Здесь налицо и ясная идейная платформа власти, самого «Левиафана», и последовательное отвержение ее с предложением иной, альтернативной со стороны нонконформистских групп инакомыслящих.

В такой ситуации «русский Левиафан» действовал жестко и часто безжалостно, используя репрессивные средства для подавления внутреннего врага и устрашения насе-

ления, которое могло бы теоретически проникнуться к врагу симпатией и проявить внимание к его логике.

2. *Бунт*, своеволие, нежелание подчиняться установленному порядку.

Эта черта присуща человеческой психологии и является константой русской политической истории. Отдельный человек или какая-то группа или категория людей, подчас целый этнос, в какой-то момент осознают невозможность дальнейшего существования в рамках «Левиафана» и проявляют открытое неповиновение. Это неповиновение может выражаться в открытом восстании, в бунте, в захвате и разграблении имущества представителей государства или привилегированных слоев, а также в бегстве из-под юрисдикции государства в относительно свободные зоны — территории на окраинах страны.

Яркие проявления такой ситуации, основанной на своеволии и отторжении высших инстанций, мы видим в истории русских бунтов, в возникновении казачества, в отрядах разбойников — «разбойных людей».

Бунтарь отличается от инакомыслящего тем, что отвергает сам отчужденный порядок «Левиафана», сам механизм абстрагированной власти, а не только его идеологию или религиозную платформу. Восставший отказывает «Левиафану» как механизму «объективных репрессий», власти как объективности в праве на существование и нередко предлагает свои формы власти, суда и справедливости, основанные либо на общинном консенсусе, либо на прозрачной субъективности конкретной и близкой личности — вожака, атамана, вождя, предводителя.

Репрессивная система в таком коллективе восставших может быть не менее, если не более, жесткой, но сам принцип внушения страха и логика репрессий здесь в корне различны. «Левиафан» карает от имени объективной необходимости, которая, по определению, превышает уровень

компетентности простых граждан. Он внушает страх ради абстрактного порядка, выступая в качестве механической функции, действующей с настойчивой фатальностью независимо от каких-либо факторов. «Левиафан» исходит из нормативов абстрактной рациональности, никогда не совпадающей с отдельной или групповой рациональностью. В этом он представляет собой противоположность воле, и страх, внушаемый им, радикально отличен от того, который привносит суд мира (общины), казачьего круга или даже бандитского главаря.

Несправедливость репрессий возможна в самых разных ситуациях, но от лица «Левиафана» критерий несправедливости или справедливости вторичен — во внушении страха важна сама способность устрашить, осуществить наказание как факт. Бунт направлен именно против этого, а не против несправедливости власти или жестокости устрашающих репрессий. Он целит в саму стихию «Левиафана» как легитимизированного и рационального террора, противопоставляя ему сплошь и рядом террор нелегитимизированный и нерациональный. Бунтарь стремится перевернуть пропорции, из объекта страха со стороны «Левиафана» он становится субъектом страха, иначе говоря, тем, кто этот страх внушает.

Восстающий на «Левиафана», как Персей, сражающийся с Медузой Горгоной, ставит между собой и властью отполированный щит, который отражает волну страха, исходящую от государства, и направляет ее на него самого. Теперь уже он, в свою очередь, — как предводитель разбойников или вольных людей — внушает страх добропорядочным гражданам.

Эта игра с силами страха иногда может обретать политическое измерение. Яркий пример такой диалектики мы видим в недавних событиях в Чечне. Федеральный центр, принуждая чеченцев оставаться в составе России и подчи-

няться ее законам, использует инструмент устрашения. И воспринимается населением Чечни именно в подобном качестве. Но вместе с тем сами чеченцы, по праву восставших, сами становятся символами, внушающими страх, — вначале «мафией», «бандитами», а позже «террористами». Аналогичным образом устрашали добропорядочных граждан дореволюционной России разбойники, а также казацкие формирования.

3. *Заговор*, интриги, призванные свергнуть правящего царя, вождя или политическую группировку.

«Левиафан» как цельная реальность в случае заговора особенно не страдает, поскольку чаще всего сам механизм репрессий и структура властвования сохраняются в прежнем виде. Следовательно, заговор представляет собой угрозу не всей системе, но лишь конкретным властным группировкам и отдельной личности. Однако сама возможность заговора часто сильно влияет на психологию правителя или правящей группировки, устрашает их, внушает параноидальные комплексы, манию преследования, что иногда приводит к экстраполяции страха вовне. Ужас власти перед заговорами порождает волну репрессий против заговорщиков — реальных или мнимых. Так рождается очень важное для русской государственности и русской политики понятие — «измена».

«Левиафан» основан на принципе лояльности, преданности, в котором системный и личный факторы переплетаются. На самом деле понятие «преданности» в строгом понимании «Левиафана» отсутствует, поскольку эта структура призвана воплощать в себе внеличностный, отвлеченный, рационально-механический комплекс. Но в конкретной практике, и особенно в истории «русского Левиафана», тема личности правителя и преданности ему персонально проецируется с нижних этажей вольных органических иерархий

военных дружин, казацких отрядов или разбойных шаек на высшие ступени. Возникает смешение власти и государства как безличного механизма и как организации, создаваемой по признаку личной преданности.

Заговор служит в этой системе фокусом всей конструкции. В холодной логике «Левиафана» нет места заговору в чистом виде. Он рождается тогда, когда верхние уровни государства начинают отождествляться с конкретной персоной или группой людей. В этом случае рождается настоящее цунами параноидальных состояний, в цепи которых реальные заговоры перемежаются с мнимыми, а карательные меры против конкретных заговорщиков перерастают в масштабный и бесцельный террор. Такие примеры мы видим в эпоху второй половины царствования Ивана IV или при Сталине. Тонка игра в самом сердце «Левиафана». Отождествления/разотождествления механической природы государства как репрессивного аппарата и сильной личности вождя порождают особую форму запугивания, которая проецируется на широкие слои населения, даже по своему статусу никак не способные принимать серьезного участия в «измене» — хотя бы в силу своей удаленности от центра власти. И тем не менее фактор «измены», «заговора» в чистом виде оказывается одним из интенсивных моментов политического воплощения страха.

4. *Воровство*, экономические преступления.

Это явление теоретически ослабляет систему государства, поскольку подрывает его хозяйственную логику, его естественную ориентацию на упорядочивание сферы труда и распределения. Воровство — фон энтропии, ведь оно приводит к исчезновению материального продукта, созданного трудом и частично поддерживающего мощь «Левиафана» (через систему налогов и податей), без учета и контроля. Различные типы государств по-разному реаги-

руют на воровство — в некоторых случаях карательные меры в этой области применяются строго и наказания за экономические преступления вполне сопоставимы с наказаниями за тяжкие уголовные преступления — такие, например, как убийство.

Особенность «русского Левиафана» состоит в том, что воровство чаще всего карается более мягко и страх населения в этой сфере не слишком велик. С формальной точки зрения воровство, безусловно, приравнивается к преступлению, однако прямым вызовом государству не является. В этом отличие русской государственности от западноевропейской — германской или английской, где экономические преступления рассматриваются как покушение на самую суть государства и «Левиафан» отвечает на этот вызов жесткими репрессиями. Страх перед воровством у западных граждан значительно больше, чем у русских. И все же выше определенного предела воровство начинает представлять собой серьезную угрозу государству, поскольку демобилизует созидательное начало и уводит из-под жесткого централистского контроля важнейшие материальные ресурсы. Воры крадут у «Левиафана» его жиры.

Но здесь речь идет о тех формах кражи, которые осуществляются отдельными гражданами, не инкорпорированными в государственно-чиновничью систему и стремящимися поживиться как за ее счет, так и за счет отдельных частных граждан, наживающих свое благосостояние честным трудом.

Вместе с тем «русский Левиафан», и в этом его национальная специфика, часто выступает сам как субъект воровства, как своего рода воровская инстанция, энтропическая призма, стоящая между трудящимися и высшей властью и выводящая из циркуляции материальные ресурсы куда-то в сторону. Воровство как форма осуществления бюрократических функций — не характерная черта «Левиафана». Ско-

рее это феномен, схожий с переплетением личной власти и власти как механической функции на высшем уровне.

Чиновник в своем лице сочетает как абстрактный левиафанический принцип — воплощение безличностной, механической инстанции, так и конкретного человека, с его эгоистическими интересами, лукавством и жадностью. Будучи санкционированным «Левиафаном», русский чиновник уклоняется от того, чтобы обезличенно служить обезличенной системе, и воровство становится излюбленной формой умеренной оппозиции, проявлением своего рода маленького, робкого мздоимческого бунта против деперсонализированной машины государства. Взяточничество, коррупция и воровство чиновников — это форма саботажа эффективной деятельности государства. А потому вовсе не такое уж простое явление.

Русский чиновник-вор — типаж национальный и, как всё русское, двусмысленный, со своей особенной ироничной экзистенциальной стратегией. Жест персонального воровства демонстрирует: я нарочно смешиваю понятия абстрактного государственного механизма и конкретных личных, эгоистических интересов, тем самым отчасти «гуманизирую» холод чудовища «Левиафана», делаю его ближе к людям, поскольку через меня проявляются пусть низменные, но вполне человеческие черты, а не отчужденная фатальность карательной машины. Так русская коррупция показывает своего рода переход конкретного чиновника-взяточника с позиции субъекта страха, иными словами, того, кто этот страх внушает, на позицию объекта запугивания — того, кто этот страх испытывает (вместе с простыми людьми).

Пропорции страха в разные эпохи русской истории

В разные периоды русской истории государство осо-

бенно усиливало давление на конкретные пункты, в разных сочетаниях и с разной интенсивностью.

Иван Грозный обрушил мощь репрессий на «измену», параноидальный стиль его правления направил острие страха против «заговорщиков», против власти удельных князей и крупных бояр из своего окружения. В основном карались представители элиты, правящего класса. Инакомыслие во времена его царствования особенно не проявлялось, народные бунты и волнения подавлялись в том же режиме, как и до него, а за воровство наказывали умеренно — чаще всего оно становилось поводом для репрессий по линии «измены».

В эпоху раскола, патриарха Никона, Алексея Михайловича и сразу после него на первый план вышли репрессии за инакомыслие и океаны страха были обрушены на сторонников старой веры. В тот период и в последующем столетии староверы стали закваской и идеологией для массовых народных волнений и бунтов — от Разина до Пугачева. Воровство же тогда процветало как наименее опасная и наиболее понятная для власти форма энтропии.

XVIII в. и первую половину XIX в. «русский Левиафан» провел, борясь с бунтами и заговорами. А со второй половины XIX в. и вплоть до Октябрьской революции главной угрозой стало инакомыслие в форме революционных организаций.

В XX в. и особенно при Сталине «Левиафан» достиг своей кульминации и каждое из четырех основных проявлений антигосударственной деятельности каралось самым жесточайшим образом. Сталинизм представляет собой высшую архетипическую точку российской государственности, понятой «левиафанически»: вот тут-то как раз и карали безжалостно за инакомыслие (реальное или мнимое), за бунты (или за помыслы о бунтах), за заговоры (или за подозрение в заговоре), за воровство (в малых и крупных размерах). Это был настоящий праздник политического

страха, невиданного никогда доселе, где «русский Левиафан» полностью показал свою мощь и свои возможности.

Отступление о свободолюбивом и непокорном русском народе

Часто приходится слышать, что русский народ обладает рабскими чертами, что он склонен потакать репрессиям и мириться с произволом властей. Я придерживаюсь прямо противоположной точки зрения. Я убежден, что русский народ в своей душе предельно свободолюбив, непокорен, абсолютно не склонен к дисциплине, горд, созерцателен (если угодно, ленив — сакрально ленив), не терпит над собой никакой высшей инстанции, зачарован своей собственной таинственностью, жгучей душевной красотой, пронизан черным светом, бьющим из русской почвы, укромно прячущимся от лунных лучей и распрямляющимся как стальная пружина от моря до моря, от океана до океана по собственной прихоти — легко, играючи, беспечно, обреченно и празднично. Это народ ветра и огня, с запахом сена и пронизанными звездными провалами синих ночей, народ, несущий в своей утробе Бога, нежного, как хлеб и молоко, упругого, как мускулистая речная отмытая сладкими водами волшебная рыба.

Русский народ не собирается никому подчиняться, и если он признает власть «Левиафана», то только понарошку, почти в шутку, потому что этот народ очень веселый. Жаль, что нашего юмора другие не понимают, находя его слишком кровавым, слишком жестоким. Для русского — ничего не слишком.

И вот чтобы этот народ не брызнул через край, не прекратил бы вовсе работать, зачарованный звездами и своим таким ровным и таким белым телом, не испарился бы в водовороте великих прозрений, не сгорел бы в зарницах нездешнего духа, не умер бы в восторге сладостно-сонливой

метафизической изобильной лени, ему внедрили «Левиафана», поставили чудовище пасти этот народ каленым жезлом — чтобы русская жизнь не казалась ему таким будоражащим, хмельным медом.

Рабство, покладистость, законопослушание, уважение к власти, исполнительность, покорность, дисциплина, повиновение, словом, «политический страх» — все это коренным образом чуждо русскому человеку, который сам себе чудовище и поэтому не боится никого, кроме самого себя, а впрочем, и самого себя не боится — не то еще русский человек видел. Хотя бы во сне.

«Русский Левиафан» сегодня

Как обстоит дело с «русским Левиафаном» сегодня? Силен ли он? Внушает ли он тот «политический страх», который должен внушать?

Я убежден, что, несмотря на причитания определенных сил в современной России, «русский Левиафан» дышит на ладан, по сути, его торс распался, и сил больше не осталось. Он глубоко успел укорениться в коллективном бессознательном — это генетический опыт прошлых эпох и прежде всего времени солнечных репрессий сталинизма, когда настал его звездный час. Но, учитывая бесконечное свободолюбие русского человека, такой след в душе и теле быстро исчезает. «Левиафан» изжит, его цикл завершен, сегодняшняя власть никому не внушает никакого страха. Остался только «призрак Левиафана», его психический фантом, смутное воспоминание о том, что он когда-то существовал и что он был достаточно силен — давил, рвал на части, скрежетал клыками, махал гигантскими лапами, своего не упускал. Через левое плечо с посвистом и внутренним удовольствием смотрел на него русский человек. И сейчас смотрит, но перед глазами только красные круги

от непристойно долгих новогодних праздников. Место «Левиафана» пусто.

Нынешняя российская государственность виртуальна. Это плоские имиджи кинопроектора на экране. Это струйки недостертой памяти. И больше ничего. Совсем ничего.

Разберем по пунктам нынешнюю ситуацию в России.

Инакомыслие. Ни малейшего признака репрессий за инакомыслие нет и в помине. Начать с того, что у современной российской власти нет «мыслия», которое можно было бы опровергнуть. У нее нет никаких постулатов, никаких внятных идей, никаких серьезных и вдумчивых программ, никакой идеологии, никакой политической философии. Всё, что в ней можно оспаривать, это технологии. Но таким образом создается уже какая-то совсем выродившаяся интеллектуальная форма «инакомыслия в технологической сфере». Удачно или неудачно у власти получаются перформансы — их еще можно обсуждать. Но ее мысли, идеи — нет. В отношении такой власти полноценный идеологический нонконформизм просто невозможен. Любое утверждение — за и против — проваливается в болото. Вам никто не возражает, с вами никто не соглашается. «Мысль» как таковая вежливо отправлена на помойку или куда подальше. Это именно такая свобода, которая самой мысли категорически не нужна. Лучше, если ее будут жечь каленым железом, вздергивать на дыбу либо оглашать во дворцах или с амвонов. Если на мысль никто не обращает внимания, она оскудевает, начинает сомневаться в самой себе, бледнеет и вянет как чахоточная сирота.

Конечно, «Левиафан» может обойтись и вообще без всякой мысли — как сегодня. Но это не признак его силы. Скорее, настоящая ситуация показывает, что это уже никакой более не «русский Левиафан», а лапа другого, нерусского «Левиафана». Либо русский «Левиафан» куда-то уполз.

Бунты и восстания. Тут, действительно, еще немного страшно. *Пока* страшно. Чеченцы и сторонники Лимонова попробовали «русского Левиафана» дернуть за хвост, проявив прямую, вызывающую, наглую и обидную непокорность. Чем только они не называли чудовище, как только над ним не издевались. И некоторая реакция проявилась. Чувствуется былая мощь. Но никакой репрессивной мобилизации нет, скорее — агония, судороги. Маленький, обалдевший от самого себя кавказский народ уже скоро десять лет как противостоит регулярной федеральной армии, отутюжившей всё пространство бомбами, без разбора своих и чужих. Кучка нервных подростков во главе с престарелым писателем-порнографом, «асфальтовым кочевником» мировых столиц, устраивает систематические хулиганские выходки — и с ними какой год не могут справиться бравые армии спецслужбистов. Неужели это и есть «Левиафан»? Помилуйте, это пародия на него. Зверь-то голый. Его чешуя облезла, а когти сточились. Я не про то, плакать теперь или смеяться, я про фактическое положение дел. Прямые бунты и издевательское неповиновение власть еще не прощает. А не «прямые» и не «издевательское» прощает.

«Заговор», наконец. Заговоры в России есть, были и будут всегда. Завязываются они с завидной регулярностью, и в настоящий момент, когда вы читаете эти строки, группа очень опасных и коварных персонажей — многие из них принадлежат к самым высотам власти — плетет против России и ее президента опасные и дерзкие интриги. Потирая руки, они приговаривают: «Это мы устроим в 2010 г., а это вот на год раньше, а когда наши заокеанские коллеги надавили в 2008 г. на Назарбаева и Лукашенко, мы сделали то-то и то-то; для этого в 2008 г. надо было осуществить то-то и то-то, а если не получилось, тогда мы пойдем на крайние меры — но не позднее 2009 г.». Шорох приглушенных голосов и зловещие тени сплетаются в навязчивый шум

в ушах, тонко питающий нервную паранойю власти, — внутренний голос не смолкает: «Измена! Одна измена вокруг!»

Да, именно *измена*. И это не ново. Но сегодня заговорщики чувствуют себя настолько свободно, что максимум чего они еще боятся, так это перевод на другую должность — с повышением. Те, кто не участвует в заговоре, просто политически не существуют. Причем чем ближе к президенту заговорщики, тем им уютней и безопасней творить свои черные дела. Огромный глаз дракона только моргает.

Воровство. Но это уже не тема, а праздник современной российской политологии. Когда раньше писали, что «в России воруют все», это была метафора. Что такое «все», можно понять только сегодня. Воровство стало внутренним содержанием политического процесса. Ни одно действие не осуществляется без «распила», «отката» или «кидалова». Аферизм в современной России превратился в синоним «эффективной политики» или успешной «политтехнологи». Кража — единственная вещь, которая составляет нечто конкретное в современной государственности. Остальное — «ботаника», иначе говоря, «дымовая завеса». Повышение зарплат трудящимся, понижение зарплат трудящимся, принятие закона, отмена закона, добавление льгот, убавление льгот — всё, что происходит, либо должно приносить «чисто конкретные» дивиденды «конкретным» чиновникам, либо ни одна из тем просто не будет обсуждаться. Если припрет, наймут какого-нибудь «профессора», который за копейки всё нарисует для отчетности, и пошли дальше — снова-здорово.

«Русский Левиафан» был всегда снисходителен к воровству. Но не до такой же степени! Ведь скоро за это будут награждать. Медаль «почетный вор России» присуждается Пал Палычу (Иван Иванычу, Василь Васильичу) за кражу в особо крупных размерах.

Главное, что в этом невозможно никого обвинить, — просто «русский Левиафан», откровенно говоря, издыхает. Факт очевиден. Остались только призрак, память, какой-то нечленораздельный клип.

Ресурс «политического страха» в России исчерпан. И как только последние тени расползутся, все увидят: свято место на сей раз пусто.

Что делать?

Первое, что приходит в голову относительно прогнозов. Ну, заканчивается цикл российской государственности; да и ладно, ничего, как-нибудь... Не бог весть какая ценность этот «Левиафан», тем более сам концепт заимствован из англосаксонской, чуждой нам культуры, из далекого от нас политологического контекста. Однако мириться с этим не хочется, если морально мы не готовы, тем более что перед нами не ярмарка чужих проектов, а какая-то тупиковая мировая ночь — с цунами, всемирным потеплением и концом света.

Существуют — не могут не быть — выходы

Один выход в том, чтобы немедленно создать *новую опричнину*. Из оголтелых, доведенных до отчаяния всеобщим развалом служилых людей сверстать на скорую руку государственнический орден с суровой дисциплиной, со скорой расправой за измену, шкурничество и предательство, с братскими идеалами спасения страны перед надвигающейся катастрофой, которая — как теперь понимают все — была лишь ненадолго отложена нынешней властью. Это своего рода «Орден Левиафана», как в итальянском филь-

ме «Пустыня Тартари», где последние бойцы гарнизона, брошенные центром, защищают далекий и никому более не нужный рубеж. Стойко выполняя последний долг, сползая в ночь небытия с широко открытыми глазами, напряженными и суровыми мужскими лицами.

И если такой путь будет выбран, то необходимо привести в действие все существующие приводные ремни «политического страха». А поскольку страх на глазах испаряется, то следует взяться за дело с утроенной силой. Тихим Ходорковским в уютном свитере от «Армани» за аккуратной решеткой никто никого не напугает. Пугать, в данном случае, так пугать. И здесь не надо строить иллюзий. Если на это — настоящий, а не игрушечный, виртуальный террор — власть идти не готова, лучше и не затевать. От попыток, подобной 1991 г., становится истерически стыдно. Сжал кулак — бей наотмашь. Не можешь ударить — гуляй по набережной. Не знаю, есть ли на это силы. Самим потенциальным опричникам видней. Это у них надо спрашивать. Одно ясно — поднять «Левиафана», валяющегося вверх тормашками в луже исторической беспомощности, будет ой как не просто. Ему, как Молоху, жертвы приносят только с парно́й, незасохшей кровью.

А вот выход *евразийский*: обращаем внимание на «Бегемота», на тот отброшенный сакральный синтез, который мы намеренно отказались рассматривать в этом эссе. Там, в контексте сухопутного могущества, само понятие власти — а равно и «политического страха» — совсем иное. И если возрождать «Бегемота», то надо восстанавливать не механизм и не машину репрессий, а тончайший, едва уловимый сакральный смысл — содержание, богословскую цель, эсхатологический проект, глубинную и животворящую религиозную идею, которая тайно питала русский народ в его пути по истории (как в Библии сказано про откровение Божие пророку Илии на горе Хорив: «После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После

землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра».

На это русские люди откликнутся по-другому — не ленью, саботажем и безразличием, а энтузиазмом последней битвы, жаром огненного крещения, рывком к последним границам национальных небес. Это последний ресурс мобилизации, но лежит он не в области технологии, а в теологии, философии истории, философии политики.

Глава 14
Модернизация под знаком вопроса

Нужна ли России модернизация? Первая реакция — конечно нужна, как же без нее? С некоторой точки зрения такая поспешность в ответе на этот вопрос весьма похвальна, как и любая поспешность и готовность. Но неглубока. Едва ли мы по-настоящему задумывались над тем, что такое модернизация и каковы ее корни, какова ее природа, каковы ее разновидности. Попробуем рассмотреть этот вопрос иначе — какая модернизация нужна России?

Сегодня мало кто понимает, что термин «модернизация» состоит из двух частей. С одной стороны, существует модернизация техническая. Этот аспект модернизации больше всего бросается в глаза — она воплощена в новых приборах, летательных аппаратах, средствах связи, средствах получения денег, новых материалах, новых информационных технологиях и фундаментальных нанотехнологиях. Объектом этой модернизации являются инструменты, средства, которые облегчают человеку жизнь, делают мир комфортнее, удобнее, быстрее, эффективнее, веселее, делают его интерфейс, как говорят компьютерщики, более дружественным к пользователю. И этот интерфейс, безусловно, зависит от технической модернизации.

Но есть и другая сторона модернизации, которая, как правило, исторически тесно связана с первой. Это модернизация моральная, культурная и социальная. Если объектом первой модернизации являются инструменты, то во втором случае — народ, общество, государство, мораль, нравственность, устои, культура. В этом случае модернизация имеет совершенно иное значение. Например, модернизация нравов — это отказ от традиционных ценностей: сначала отказ от церковных браков, потом отказ от браков, которые оформляются какой-то гражданской инстанцией, дальше следует разрешение однополых браков, ну а потом, совершенно логично, — полная отмена института брака и полигамия, становящаяся социальной нормой.

Это единственный путь модернизации семьи, другой модернизации семьи не существует. Если мы хотим модернизировать институт семьи, значит, нам придется разлагать ее традиционные нормы и принимать новые. Точно по тому же пути происходит модернизация культурная. Традиционно основой культуры являлось религиозное искусство. Религиозная живопись, литература, религиозное пение — модернизируя это, мы прошли период светской культуры, потом авангардной, завершив все постмодернистскими фрагментами мира, организованными случайным образом, которые тоже теперь являются элементами культуры.

Моральная модернизация приводит к распаду традиционных отношений между людьми. Каждый человек становится сам за себя и не признает никаких общественных или социальных нормативов. Таким образом, модернизация в этих сферах означает отказ от консервативных устоев, от традиционных форм нравственности, от традиционного мировоззрения, религиозных норм, от ценностей семьи, коллектива, народа, этноса, общины, то есть всего того, что составляет коллективную идентичность людей.

Эта модернизация и сопровождает модернизацию техническую. Называется и то, и другое одними и теми же определениями — прогресс, совершенствование, развитие. Под этими привычными для нас словами содержится два довольно различных значения. Слово модернизация происходит от слова «модерн», то есть «современный». Но это не просто то, что происходит в наше время. Модерн — это не «современный», это «новый». Модерн начался тогда, когда люди решили расстаться с консервативным прошлым, порвать с традицией, когда люди решили смотреть не назад, не на богоносных отцов, не на устои своего племени, своего этноса, своего государства, а когда они стали смотреть вперед, в противоположную сторону. Вот тогда и начался Модерн.

Как бы странно для нас, в силу различий русского и европейского словаря, ни звучало слово «современность», но современность имеет начало. На смену традиционному обществу пришла модернизация, пришло так называемое Новое время. Оно наступило, когда люди отказались от традиционных устоев.

С этого периода и начинает свой отсчет модернизация — с эпохи Возрождения XIV века. А с XVII века — в преддверии Просвещения — наступает пик модернизации западноевропейского мира. В этой модернизации было заложено оба аспекта.

С одной стороны, технологический, материальный. С другой — моральный, социальный, культурный, поскольку, например, производство паровых машин исторически, психологически, идеологически и культурно теснейшим образом связанно с периодом борьбы с религией, с маргинализацией позиций Церкви в обществе, с секуляризацией и освобождением человека от тех связей, которые его в традиционном обществе соединяли со множеством различных институтов, привычек, устоев, нравственных ограничений.

Все это разрушалось модернизацией. Происходило разрушение человеческого сознания, которое в традиционном обществе обращено к утверждению собственной идентичности, к поддержанию тех норм, которые были заложены в основах традиции, — это касается и семейной жизни, и социальной, общественной организации общества. Все это подверглось осмеянию, разрушению. Освобождение от этого комплекса раскрыло новые возможности, которые реализовались в сфере техники и в сфере морали очень по-разному. В сфере техники они созидательны, потому что создаются все новые и новые аппараты. В моральной сфере все наоборот — модернизация действует деструктивно, она разрушает нравственные устои человека, она разрушает представление о человеке.

Однако и сама идея человека серьезно трансформировалась с эпохи Просвещения. В традиционном обществе человек рассматривался как раб Божий. Сегодня бы сказали, что это дикость, потому что человек — не раб, он свободен. Но рабом Божьим он назывался потому, что был свободен от всего остального. Он был работником только Бога. Таким образом, Церковь прививала людям подлинную свободу. Более того, учение о том, что человек был создан Богом из ничего, а не из самого Бога, обрекало человека на абсолютную свободу.

В рамках этой свободы человек мог выбрать — быть ему рабом Бога и господином всего остального — страстей, греха, либо быть рабом греха, рабом дьявола, рабом сиюминутных страстей, но оставаться при этом свободным от Бога. Это моральный выбор. В традиционном обществе считалось, что правильно быть рабом Бога и неправильно быть рабом страстей. В эпоху модернизации, особенно в эпоху Просвещения, эту мораль решили изменить. Человек теперь понимается однозначно как свободный от Бога, а не от страстей, не от грехов, не от дьявола. Так он сделал первый шаг к модернизации.

Все знают расхожую формулу Ницше «Бог умер». Однако многие не знают, как заканчивается эта фраза: «<...> вы убили его. Вы и я». Люди, пожелавшие прогресса и модернизации, убили Бога. За возможность своего материального и ничем не ограниченного в моральной и социальной сферах развития люди заплатили смертью Бога. Это очень честный и правильный взгляд Ницше, который не то чтобы сожалеет или обвиняет кого-то, он просто называет вещи своими именами. Для того чтобы появился человек модернизированный, необходимо было сбросить Бога с его пьедестала. В этом — богоборческая сущность гуманизма, о котором говорили многие философы XIX и XX веков. В процессе модернизации действительно появился автономный человек, который стал называть себя «свободным». Таким образом, элементом модернизации неизбежно является богоборчество. И это еще не предел.

Когда появился этот свободный, автономный человек, который стал насаждать свою особую гуманистическую культуру с опорой на собственные силы и полностью развил свою техническую мощь, свои социальные институты, свою богопротивную либеральную демократию и другие находки социально-культурной модернизации, в этот самый момент философы-постмодернисты и разоблачили Модерн, объявив, что теперь человек стал Богом. Но с точки зрения Постмодерна, обожествленный человек также создает репрессивные иерархии.

И вот тогда возникла идея убить уже самого человека. Один известный французский философ — Бернар-Анри Леви — провозгласил смерть человека, другой философ — Ролан Барт — провозгласил смерть автора. Общество без людей и текст без автора стали нормой современной постмодернистской культуры. Итак, человек сначала убил Бога, а потом, в поиске все новой и новой модернизации, нового освобождения, дошел до того, что стал в тягость самому се-

бе. Возникла идея ризомы, неопределенного полуклубня, киборга, клона. Логичный конец модернизации.

Часто постсовременные типажи просматриваются у Тарантино, в «Бешеных псах» или «Криминальном чтиве». Люди представляют собой не законченные личности, которые идут по своему пути, отстаивают свою собственную историю, имеют сюжет, но, наоборот, представляют собой часть. Но это часть самого себя. Это постчеловек — необходимый элемент модернизации. Ведь Постмодерн — это то, что приходит после модернизации, после того, как модернизация осуществлена. В тех странах, где цикл Модерна закончен, началась активная постмодернизация: прошла индустриализация, началась постиндустриализация, прошла модернизация, началась постмодернизация. Сейчас в это хотят втащить и Россию. Но ничего хорошего в этом нет, кроме развития технических средств. На одну чашу весов кладутся светящиеся витрины, неоновые лампы, экраны, бытовая техника, а на другую чашу — жизнь человека, его судьба, его душа, его любовь, его страсть, его воздух, прикосновение к природе, к детям, великие исторические проекты, которые люди перед собой ставили.

В истории России мы видим, что модернизация у нас никогда не шла снизу, ее нам всегда навязывали. Здесь вспоминается одна фраза Пушкина, который сказал, что в России единственный европеец — это государство. Вся модернизация шла к нам с Запада с помощью насильственного внедрения жесткими методами. Первый и самый фундаментальный этап модернизации случился при Петре I, когда на целое столетие Россия была выбита из национальных критериев. Нам навязывались чуждые нравы, одежды, представления, и за счет этого действительно была достигнута некоторая техническая модернизация.

Вторая — более чудовищная и в то же время более впечатляющая — волна модернизации была в XX веке, когда

большевики принялись уничтожать все традиционное, консервативное, легитимное, ставя на освобожденном месте свои технически безупречные эксперименты — полеты в космос, строительство новых домов, ядерное оружие, исчезновение деревни, исчезновение верующих, — огромные успехи были достигнуты. Хотя коммунисты чуть позже и приостановили свою модернизацию, первые десятилетия она шла полным ходом. Но дальше ее стали ограничивать в сфере морали, поняв, что человечество может так окончательно исчезнуть.

Техническая модернизация в Советском Союзе была впечатляющей. Не менее впечатляющим был распад нравов, разрушение культуры, социальных институтов традиционного общества, уничтожение крестьянства, репрессии. Множеством жизней мы заплатили за модернизацию. Эта модернизация тоже была сверху — к власти пришла кучка фанатиков и, опираясь на веру в лучшее, навязала нам эту модель модернизации.

Конечно, многое было поправлено народным духом, конечно, консервативный элемент дал все-таки о себе знать. Но мы платили не только кровью, не только морально, мы заплатили за модернизацию миллионами людей, сожженных в ее топке, миллионы загнобили, сгноили. И в первую очередь это были традиционные классы традиционного общества — крестьянство, духовенство, дворянство. Для того чтобы достичь технических успехов, коммунистам пришлось проделать то же, что однажды до них уже проделал Петр I, замостив русскими телами гнилой болотный город на окраине России.

Да, это был важный форпост, с технической точки зрения это очень важно, но какой ценой! Он разрушил нашу историю, наши принципы, наши традиции. Людям в XVIII веке запрещалось ходить в русской одежде и носить бороды в городах. За модернизацию Россия платила иден-

тичностью. Если мы двинемся в этом направлении еще раз так же безоглядно, мы окончательно ее утратим.

Термин «модернизация» необходимо расколдовать. Ведь когда кто-то произносит «модернизация», то все сразу «за», а тот, кто «против», тот — ретроград, несовременный человек, архаик, отсталый. Но точно с тем же самым подозрением надо относиться и к тем людям, которые выступают однозначно «за» модернизацию, так как модернизация — это смерть Бога, а затем и смерть человека, смерть автора, ризома, киборги, клоны, генетические операции. Сейчас их еще как-то сдерживают, комиссия ЕС предлагает даже ограничить опыты над генетическим кодом людей, так как это очень опасная вещь. Но это говорит лишь о том, что где-то такие опыты ведутся.

Логика модернизации в том, что ее хотят сдержать, но она не сдерживается, а впереди нас ждет так называемая раскрепощенная техника. Люди становятся похожими на роботов — это еще не роботы, это пока обычные люди, но постепенно людям планируется вживлять все больше и больше механических имплантатов, протезов, компьютерных процессоров, микрочипов, которые будут помогать их органам работать. Это хорошо для инвалидов, но человечество на этом не остановится — человечество никогда не останавливалось и не поступало разумно. И если оно встает на путь модернизации, значит, оно идет по этому пути до конца. Человек никогда не понимает этих границ, он всегда выходит за их пределы — в хорошем и в плохом. Его поступки никогда не попадают в золотую середину.

И уже совсем скоро наши дети будут путаться между репликантом и живым человеком. Поэтому очень важно отделить модернизацию от того безусловного восторга, с которым мы ее обычно воспринимаем. Если России и нужна модернизация, то какая-то своя, национальная, с учетом всех наших условий. Мы должны разделять тех-

ническую и моральную стороны модернизации, так как в религиозном, моральном и культурном аспектах модернизация — это просто разрушение, извращение. Если мы разделим эти два понятия, уже будет хорошо.

Наша модернизация, несмотря на то что это все-таки была модернизация, впитала в себя много национальных черт, и это интересное явление надо понять — как русская стихия повлияла на эту модернизацию, как она попыталась отклонить ее от того направления, по которому шла западная цивилизация. И здесь перед нами всегда вставал вопрос: что для нас важнее — утверждение идентичности или развитие?

С точки зрения русских архетипов, идентичность важнее, ибо если мы утратим идентичность, то и некому, и некого будет модернизировать, как западный мир, который, утратив Бога, впал в кромешный ад Постмодерна. Поэтому нет такой цены, за которую мы могли бы отдать нашу русскую идентичность, ее мы не должны утратить ни при каких обстоятельствах. В выборе между русским и развитием мы всегда должны выбирать русское. Сможем подчинить себе Постмодерн — отлично! Если нет, то мы должны отбросить Постмодерн и двигаться своим путем.

Тематика того, как сочетать идентичность и развитие, многими мыслителями ставилась всерьез. Американский политолог Сэмюэль Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» выдвинул формулу «модернизация без вестернизации». С его точки зрения, многие азиатские страны идут по этому пути. Поэтому наша модернизация должна идти не по пути с западным миром, не на Запад, не в Европу. Что-то мы будем там брать, а что-то выбрасывать, но в целом он нам не нужен, он абсолютно другой, у него другая история, другая экзистенция, другая структура, поэтому он идет своим собственным путем. Мне кажется, он идет в бездну.

Кто-то готов пожертвовать ради идентичности технологическим развитием. Есть люди, которые считают, что техника нейтральна, хотя исторический опыт показывает, что за развитие техники мы обязательно платим культурной, духовной идентичностью. Техническую модернизацию нужно отделять от культурной. России нужна своя собственная модернизация, русская модернизация, или модернизация с русским лицом. А еще России нужна консервативная революция. Это усилит нас технически и укрепит нашу идентичность, наше консервативное вечное начало. Россия либо должна быть великой, либо ее не будет.

Глава 15
Интересы и ценности после Цхинвала

Оживление дискуссии

В западной прессе после событий в Цхинвале и русско-грузинского конфликта поднялась новая волна дискуссий относительно интересов и ценностей. Пропаганда действовала в основном по законам войны, и в ход пускались любые формулировки, лишь бы очернить Россию, демонизировать наше поведение в Грузии и, наоборот, представить Саакашвили жертвой. Однако сквозь поток информационных войн пробивались более честные вопросы. Возникли попытки проанализировать, как грузино-осетинский конфликт связан, например, с ситуацией в Югославии, вторжением США в Ирак, что является, а что не является прецедентом. И на общем фоне антироссийской истерии раздались первые голоса, поставившие под вопрос баланс интересов и ценностей. Это оказалось в центре дискуссии, набирая обороты в ситуации, когда начала спадать напряженность военной пропаганды вместе с ее клише и дезин-

формацией, направленными на лобовое очернение противника. Стало быть, как же российская решительность в Грузии влияет на баланс интересов и ценностей?

Интересы и правила

Дискуссия о соотношении ценностей и интересов в XXI в. развернулась в западноевропейской и американской прессе. Все признают тот очевидный факт, что у великих и региональных держав существуют свои интересы. И они, равно как интересы отдельной группы, компании или страны, сталкиваются с интересами других групп и других стран. Таково свойство интересов: они по определению эгоистичны. Часто порождают конфликты и ведут к повышению напряженности. Собственно, это особенность человеческой психологии: каждый стремится расширить зону своего контроля за счет остальных. Весь вопрос в том, как найти формулу, чтобы легитимно отстаивать свои интересы, признавая при этом некие общие правила. Вот эти правила, их структура, содержание и составляют самый существенный вопрос в международных отношениях. Они призваны регулировать столкновение интересов. Но сами эти правила берутся не с потолка; они закрепляют реальный баланс сил, призывая всех игроков действовать в рамках статус-кво.

После распада СССР эти правила стали стремительно меняться параллельно тому, как изменился расклад сил. Двуполярные правила уступили место создающемуся на наших глазах однополярному миру, а значит, модель регулирования конфликтных интересов начала складываться заново с первоочередной отсылкой к США. В такой ситуации интересы самих Соединенных Штатов стали постепенно отождествляться с «общественным благом» и поддержанием миропорядка. Это смещение баланса сил внесло существенную корректировку в понимание того, что счи-

тать интересами легитимными и нелегитимными.

Яснее всего в этом вопросе выражались американские неоконсерваторы, которые вообще отождествили американские интересы с мировыми, отводя всем остальным лишь свободу двигаться в фарватере американской политики и адаптировать к ней свои собственные интересы. Легитимными в однополярной модели мира ими признавались те локальные или региональные интересы, которые, как минимум, не противоречат американским. Все же прочие отнесены к нелегитимным. По праву силы и по факту победы в «холодной войне», в чем сами американцы и их союзники были уверены.

Если ранее легитимными признавались интересы СССР и стран Варшавского договора, которые можно было оспаривать только на «ничейной территории» Третьего мира, а также частично легитимными — действия неприсоединившихся стран, умело маневрирующих между двумя полюсами, то теперь вся ситуация резко изменилась и право суждения о правомерности или неправомерности интересов всецело присвоили себе США.

От интересов к ценностям

Теперь о ценностях. В западноевропейской и американской прессе всё чаще в последние годы озвучивается идея того, *что ценности относятся к сфере, какой в XXI в. дóлжно возобладать над областью интересов*. Как правило, под «ценностями» здесь понимались ценности западного мира: права человека, демократия, свободный рынок, либерализм, глобальная безопасность, экология. Их совокупность объявлялась «универсальной». И следовательно, их должны принимать и разделять все страны и народы, включая те, интересы которых находятся по отношению

к ним в жестком конфликте.

Согласно такому подходу, *ценности сближают, а интересы разделяют*. Под эгидой общих ценностей всем тем, кто их придерживается, было предложено поступиться интересами — политическими, экономическими, стратегическими, геополитическими. Безусловные ценности человеческой жизни, социального развития, свободы и демократии, священной частной собственности и т. д. должны перевести соперничество в сфере интересов в новые формы, когда окажутся недопустимыми многие методы, с помощью которых на протяжении долгих веков истории различные государства отстаивали свои интересы. В первую очередь речь шла об ограничении военных методов и иных форм насилия.

США объявили свои интересы универсальными ценностями

Но почти сразу обнаружилось, что это благодушное предложение всем руководствоваться в первую очередь ценностями, а потом уж и интересами вызвало у многих скепсис. Стало понятно, что, уверяя всех в приверженности именно ценностям, главный арбитр однополярного мира — США — совершенно цинично реализовывал свои собственные интересы. Получилось так, что американцы не только сделали свои собственные национальные интересы единственными по-настоящему легитимными, но и объявили их мерилом универсальной системы ценностей. Иными словами, таковыми были названы прежде всего американские ценности, а интересы США были возведены в некий общечеловеческий закон. Такое отождествление сводило на нет весь моральный пафос дискуссии о торжестве ценностей над интересами, поскольку сами

американцы-то как раз и не собирались подавать примера действий в подобного рода ключе. Не было ни одного случая, когда бы они поставили «ценности» выше собственных интересов. Напротив, продолжали действовать эгоистично и цинично — например, отказываясь от подписания Киотского протокола и других документов по экологии.

Вместо того чтобы сказать, что Америка просто хочет контролировать природные ресурсы на Ближнем Востоке и поэтому исходя из стратегического положения оккупировала Ирак — как это было бы в XIX в., когда все мыслили категориями интересов, а не ценностей, — Вашингтон заявляет совсем о другом. Американцы официально называют циничное и неоправданное ни правовым, ни логическим образом вторжение ценностным явлением, ссылаясь на «продвижение демократии» и наказание «террористического режима Саддама Хусейна».

Еще до событий в Цхинвале стало наглядно проявляться следующее обстоятельство: американцы призвали всех следовать «универсальным ценностям» и поступаться своими интересами, а сами не только им не следуют, но, наоборот, возводят собственные национальные эгоистические интересы в ранг высших ценностей. Этот парадокс был замечен почти сразу, и многие люди, которым не изменяет чувство здравого смысла, принялись критиковать эту позицию. В том числе и европейцы, сказавшие американцам, что если нужно руководствоваться общими ценностями, то следует всем вместе поступаться и интересами. Это видно на примере из экологической сферы — речь идет о Киотских соглашениях.

Западные ценности не являются универсальными, у других народов иные ценности

Но есть и еще одно соображение. Почему, собственно говоря, человечество приняло ценности свободы и демократии, прав человека, рыночной экономики, социального прогресса и технологического развития за универсальные? Это фундаментальный вопрос, который практически никогда не задается западной прессой. Ведь если мы посмотрим на количество людей, живущих сегодня на планете, то увидим: подавляющее большинство из них придерживаются совершенно *иных* ценностей. Рынок и демократия, например, не вытекают из социальной и политической истории индусского общества, где до сих пор сохраняется кастовая система. И таких людей миллиард. Совершенно не свойственны они китайской традиции, а в Китае живет еще один миллиард. Еще один миллиард мусульман также имеет совершенно свой взгляд на то, что считать высшей ценностью (здесь важнее всего будут богобоязненность и следование религиозным предписаниям, а потом уже всё остальное). То же можно сказать о народах Африки, о народах Востока в целом и в том числе о России, поскольку ценности рынка, либеральной демократии и социального прогресса в том смысле, каким наделяет их Запад, для русской истории и русского общества отнюдь не являются чем-то само собой разумеющимся, поскольку на подавляющем большинстве исторических этапов (как до революции, так и после нее) русские придерживались совершенно иных ценностных установок.

Ценности, кажущиеся «общепонятными» современному европейцу или американцу, для современного китайца, индуса или русского совершенно не являются таковыми. Они могут быть симпатичными или отталкивающими, но главное: *они не универсальны*. Ничто в истории большей части человечества, за вычетом опыта западных стран, не свидетельствует о том, что эти ценности росли повсюду

самостоятельно, а не были навязаны колониальным образом, практически силой.

Россия не европейская страна, а евразийская цивилизация

Существуют две исторические и смысловые подмены: 1) под видом универсальных подаются западноевропейские ценности; 2) под видом их отстаивания американцы руководствуются своими интересами. Оказывается, вся дискуссия об интересах и ценностях заведомо имеет пропагандистский характер, будучи попыткой внедрить в сознание человечества две абсолютно ложные идеи. Первая — о том, что западная система ценностей всеобщая и неизменная. Когда Путин и Медведев заявляли: «Россия — это европейская страна», это было свидетельством того, что они попали под гипноз идеи об универсальности западных ценностей. Однако на самом деле Россия не европейская страна, а *евразийская цивилизация*.

Тема ценностей даже на начальной, еще нейтральной, стадии заведомо несла в себе некий завуалированный расизм. Действительно, разве это не расизм, когда за эталон берется только какая-то одна часть человечества — «продвинутая», «прогрессивная», «цивилизованная», а все остальные исторические опыты и социально-политические системы приравниваются к чему-то «несовершенному», «отсталому», «варварскому»?

Вторая подмена еще более цинична. Было объявлено, что *универсальные ценности — это американские интересы*. Я напомню, где лежат истоки такой претензии. Они кроются в доктрине Вудро Вильсона, президента США, который в начале XX в. и в период Первой мировой войны объявил *главной задачей США распространение демократии во всем мире*. Утверждалось, что американское государство есть

оптимальная модель развития человечества и поэтому США не просто могут, но должны вмешиваться в мировую политику и устанавливать в ней свои собственные принципы. Так, еще в 1920-е годы для реализации этой идеи был создан «Совет по международным отношениям» (*Council on Foreign Relations — CFR*) и по сути дела вызрела идея создания Мирового правительства, согласно которой необходимо было утвердить американскую модель в качестве единственной для всех и тем самым подчинить американской идеологической конструкции другие страны и народы.

Идея отождествления ценностей и интересов США с универсальными ценностями имеет долгую, почти вековую историю, на протяжении которой американцы неуклонно шли к созданию Мирового правительства.

И что же последовало на практике из этой дискуссии о ценностях? Страны и народы, в том числе и Старой Европы, чьи интересы не совсем совпадают с американскими, должны признать ценностную систему США и подчинить свои интересы именно этим ценностям, которые по сути тождественны американским интересам. Если называть вещи своими именами, то перед нами просто идея прямой и жесткой колонизации. Это утверждение правоты и универсальности одной страны, одного полюса, гипердержавы, когда остальные государства следуют в ее фарватере, признавая, что только она одна является «путем к спасению», «развитию», «свободе» и т. д. Те, кто не согласен с этим, демонизируются и заносятся в черный список «врагов человечества», иногда захватываются, как Афганистан или Ирак.

Цхинвал поставил точку в дискуссии о ценностях

Все подмены и парадоксы дискуссии о ценностях и ин-

тересах ярко обнажились в цхинвальских событиях. Грузинский лидер Саакашвили напал на Россию. Именно на Россию, ведь грузинские войска стреляли в наших миротворцев и подвергли спланированному геноциду наших граждан в лице стариков, детей и женщин Южной Осетии. Несмотря на этот факт, Запад и США делают вид, что ничего не произошло, и продолжают стоять горой за Саакашвили, который якобы «героически бьется с русской агрессией». Согласно такой модели, Саакашвили, с одной стороны, соответствует американским интересам, поскольку предлагает разместить американские военные базы на территории Грузии, а с другой стороны, если принимать в расчет ценности, выступает будто бы «носителем демократии» против якобы «авторитарного российского режима». И тот факт, что «хороший», с точки зрения американских *ценностей* и «выгодный» с точки зрения американских *интересов*, Саакашвили ведет себя самым диким образом, уничтожает мирных граждан, добивает в затылок раненых миротворцев, не останавливает американцев перед тем, чтобы полностью встать на его сторону.

После того как Россия спасает народы Южной Осетии и Абхазии от геноцида, жестко и симметрично отвечая на прямой военный вызов, она признает их политическое право создать собственные государства. Здесь возникает вопрос: как квалифицировать такое поведение России с точки зрения ценностей и интересов?

В первую очередь, совершенно очевидно, что в своей реакции на атаку на Цхинвал Москва руководствовалась именно универсальными ценностями. Но оказалось, что *понимание этих ценностей у нас и стран Запада фундаментально расходится*. Давайте называть вещи своими именами: Россия считает, что ценность права людей на жизнь — наивысшая, и если на наших глазах осуществляется настоящий геноцид целого народа, то она *обязана* вмешаться, тем более когда речь идет о гражданах Российской Феде-

рации и конфликт возникает на периферии наших границ. И, несмотря на то что США и западное сообщество не признают массовое истребление осетин геноцидом, а обстрел мирного города из установок «Град» и тяжелой артиллерии — преступлением, Россия бросает вызов этим двойным стандартам. Если геноцид — это не геноцид, убийство мирных жителей не убийство, а преступление не преступление, тогда мы вообще ставим под вопрос существование универсальных ценностей, о чем и сказала Россия в августе 2008 г. Если вы, Запад, со своей моралью зашли так далеко, что игнорируете самые очевидные вещи, то, извините, нам с вами не по пути. И в этом отношении Россия не поступилась своими ценностями.

В Южной Осетии и Абхазии впервые за долгие десятилетия прозападного гипноза Россия стала действовать исходя из своего персонального понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо, что можно, а чего нельзя, что является допустимым, а что недопустимо, невозможно и преступно. И вот тут мы столкнулись с очень важной реальностью. Наше понимание того, какова же высшая ценность (например, право человека на жизнь, право народа на жизнь), оказалось идущим вразрез с совершенно иной точкой зрения США и Запада. Ведь если речь идет о праве на жизнь тех народов, которые ориентируются на Россию, а не на США, то это право не имеет никакого веса. Потому-то и обстрел Цхинвала не является преступлением.

Мы отстояли свои ценности — значит, мы правы

Итак, мы разошлись с США и Западом в понимании ценностей. Это фундаментальный вопрос. Мы адекватно прореагировали на нарушение того, что для нас само собой очевидно, — права людей на существование. И тут мы были как никогда последовательны: признали право на жизнь не

только южных осетин или абхазов, но и албанцев, хорватов или боснийцев, а также сербов — не важно, живут ли они в Сербии или в анклавах уже других государств. Москва настаивала на том, что сербы не должны подвергаться геноциду со стороны албанцев и хорватов, а также на том, что и косовские албанцы не должны подвергаться геноциду со стороны сербов. И этнические чистки, осуществлявшиеся сербами (если таковые имели место), Россия осудила точно так же, как и этнические чистки, направленные против самих сербов. Мы не выгораживали кого бы то ни было любой ценой, а хотели справедливости, поэтому достаточно мягко и аккуратно оппонировали США по вопросу Югославии. Но американцы, со своей стороны, насиловали эту ценностную систему в своих собственных интересах.

Итак, Россия после Цхинвала окончательно порвала с гипнозом якобы «универсальной» системы ценностей. Это существенный момент.

В августе 2008 г. Россия вышла из этого химерического консенсуса, из гипнотического сообщества людей, разделяющих «универсальные» западные ценности, — в первую очередь потому, что Запад сам подломил их конструкцию, ярко обозначив, что в этих ценностях *ничего универсального нет*. Событие, значение которого невозможно переоценить, поскольку оно чревато масштабными последствиями. *Для России отныне не существует единой мировой ценностной системы.* В нашем понимании того, что является ценностью, а что нет, что является высшей ценностью, а что второстепенной, мы теперь будем *опираться только на самих себя*.

Наше общество снова открывает сокровище национальной традиции как в ее монархическом, так и в советском издании. Русские, особенно сознательные русские, всегда ясно понимали, что ценности нашего общества, растущие из православной традиции и отечественной истории, существенно отличаются от западных. И лишь в 1990-е годы нам попытались привить иллюзорную идею об универ-

сальности политико-экономического пути, социальном прогрессе, технологическом развитии, которые будто бы может обеспечить только ориентация на Запад. Сейчас, после Цхинвала, мы лицом к лицу столкнулись с тем, что всё это оказалось *ложью*. Никакой общей системы ценностей нет. Есть западная, американская, есть русская, китайская, иранская, индусская системы ценностей. И они поразному трактуют самые простые вещи. Например, геноцид мирных граждан.

Соответственно, теперь, с ценностной точки зрения, любые события будут восприниматься нами как отдельный случай. И впредь не должно быть никакой демагогии относительно универсализма ценностей, никаких проектов сторонников «Мирового правительства» в России, никаких агиток, настаивающих на том, что Запад является безусловной и безальтернативной вехой на пути нашего развития, или на том, что «Россия — европейская страна». Если мы европейская страна, тогда Запад «неевропейский», тогда мы отнимем у него право называть себя Европой. И придем к географическому нонсенсу.

Гораздо проще сделать другой вывод: *Россия — это самобытная евразийская цивилизация*. Наша ценностная система особенная: в ней массовое убийство мирных осетин — преступление, которого мы категорически не потерпим. Поняв, какую позицию заняли западные страны по отношению к трагедии в Цхинвале, мы окончательно поставили точку в вопросе, европейская ли страна Россия. Она не может быть таковой, если европейские страны заключили консенсус относительно событий в Грузии, признав нас «агрессором», а творцов геноцида «невинными жертвами».

Мы отстояли свои интересы — значит, мы сильны

Теперь о второй стороне вопроса — об интересах: защи-

тила ли Россия в Абхазии и Осетии свои интересы? Надо сказать, что да. Это было не первичное, не главное, но тем не менее произошло. Да, мы защитили свои интересы перед лицом тех, кто хотел за наш счет утвердить свои. То есть поступили безупречно во всех смыслах, отстаивая *и свои ценности, и свои интересы.* С точки зрения системы ценностей, мы надеемся на понимание нашей позиции другими участниками международного процесса, поскольку американские двойные стандарты в мире признают и поддерживают далеко не все. Что касается защиты наших интересов, это следует принять всем остальным как свершившийся факт и доказательство нашей силы. Оправдывать это не требуется, следует просто принять к сведению.

С другой стороны, мы показали, что с той логикой, по которой только американские интересы должны приравниваться к универсальным ценностям, а всё, что им противоречит, «преступно», покончено.

В Цхинвале мы защищали свои ценности и свои интересы и повели себя именно как самостоятельная цивилизация, поскольку *выработать систему ценностей может только цивилизация.*

В Грузии в августе 2008 г. произошло не просто размежевание с США и их сторонниками на уровне интересов, что вторично, но самое главное — полностью обнажился неснимаемый конфликт на уровне ценностей: *конфликт между ними и нами.*

Конец западничества в России

Кто такие «они», находящиеся по ту сторону баррикад? Это те, которые еще совсем недавно считались «носителями универсальных ценностей». Если мы раньше с ними спорили на уровне интересов, говоря, что не хотим сдавать наши позиции по таким-то вопросам, то сейчас конфликт

с Западом приобретает совершенно иной, более глубинный и качественный характер (который, впрочем, оживлял наше общество и формировал нашу политику в течение всей национальной истории в той или иной форме). Теперь самое время окончательно развеять иллюзии относительно универсальности Запада. Ситуация более чем благоприятная, поскольку, по моему убеждению, в Грузии ничего не закончилось. Это только начало фундаментального конфликта, который захватит самые разные сферы жизни — социальную, политическую, экономическую, культурную, возможно, даже и военную. Итак, поскольку всё только начинается, чрезвычайно важно, чтобы мы осознали: *в Цхинвале для России была похоронена идея об универсальности западных ценностей*. Отныне мы будем по-другому относиться к оформлению международной политики, с которой нам придется иметь дело в случае самых разных стран.

Опыт, который мы оплатили своей кровью в Цхинвале, откроет нам глаза на многие вещи — и на отношение Запада к Ирану, и на отношение Запада к Сирии, Северной Корее, к Палестинской автономии, к Китаю. Мы начнем совершенно иначе воспринимать многие вещи. Закончился гипноз «Мирового правительства», более не действует суггестия, внушение наших западников, по сути дела — пятой колонны. На людей, которые после событий в Цхинвале отстаивают универсальные ценности, уже нельзя смотреть как на заблуждающихся. Это предатели. Они, возможно, ошибались, имея такую позицию до произошедшего, но сейчас должны за нее отвечать. Они должны быть поставлены вне закона. Были такие люди, которые приветствовали захват Наполеоном или Гитлером России. Были власовцы, перешедшие на сторону Гитлера, но мы знаем, что с ними делали. Хочу напомнить и пакт Риббентропа–Молотова, иначе говоря — пакт о ненападении, когда существовали иллюзии советского руководства относительно возможности мира с нацистской Германией. Но после 22 июня 1941 г. эти иллюзии ока-

зались развеяны и германофилов, сторонников дружбы СССР и Германии, просто-напросто не могло остаться. Так же и в наши дни: до 8 августа 2008 г. у нас могли быть западники, но после этой даты их быть теперь не может.

СОДЕРЖАНИЕ

Научно-популярное издание

Дугин Александр Гельевич

ЧЕТВЕРТАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
РОССИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ XXI ВЕКАџ

Ответственный редактор *Игнат Веснин*
Художественный редактор *Егор Саламашенко*
Технический редактор *Елена Траскевич*
Корректор *Валентина Важенко*
Верстка *Любови Копченовой*

Подписано в печать 10.07.2009.
Формат издания 84×108 $^1/_{32}$. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 1000 экз.
Изд. № 90276. Заказ № .

Издательство «Амфора».
Торгово-издательский дом «Амфора».
197110, Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.
E-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано по технологии CtP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д. 21/1.
Телефон/факс: (812) 495-56-10.